

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКВЕЛЛА

4/2017

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 4/2017

**Нью-Йорк
2017**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2017 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call 917-922-4153 и 646 -270-9615
or send an email to lbm28w@aol.com и guydmf@yahoo.com

All rights reserved

ISBN: 978-1976072635

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Ирина БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
Марк ВЕЙЦМАН	(Израиль)
Геннадий КАЦОВ	(США)
Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
Семен РЕЗНИК	(США)
Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
Евсей ЦЕЙТЛИН	(США)
Ларс ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
Эллайда ТРУБЕЦКАЯ	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 7

О НАС ПИШУТ..... 10

ПРОЗА

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

Брат мой Каин13

ЕКАТЕРИНА САЛМАНОВА

Мисс Вудкок идет ва-банк
(окончание).....60

БОРИС САНДЛЕР

Художник и резник.....86

ПОЭЗИЯ

МАРК ВЕЙЦМАН

Серебряный призер106

ВЛАДИМИР БАТШЕВ

Поэты первой волны эмиграции114

ЮЛИЙ ЗЫСЛИН

Венок русским поэтам136

ЛАРИСА ИЦКОВИЧ	
Новые стихи	145

СТРАНИЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВИКТОР НОРД	
Символ Бродвея Дэвид Меррик (окончание).	149

ПОЛЕМИКА

ВЛАДИМИР ФРУМКИН	
Диссиденты-охранители путинского режима	172

ЮБИЛЕИ

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	
Можно ли расчистить песок забвенья? К 80-летию Эрнста Зальцберга	182

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ГЕННАДИЙ ЕВГРАФОВ	
«Кто устоял в сей жизни трудной...»	191

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ВЛАДИМИР ФРУМКИН	
Придворные музы (окончание).	206

РЕЛИГИЯ

МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	
Неофиты: лидеры, богословы, диссиденты	226

ИМЕНА В НАУКЕ

СЕМЕН РЕЗНИК

Николай Вавилов и его время246

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

Воитель за правду272

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!

Вы держите в руках четвертый номер международного литературного журнала «ВРЕМЕНА» – последний в этом году. Надеемся, вы уже смогли определить его направление, приоритеты, почувствовать качество работ наших авторов. Если так, легче вести разговор о настоящем и ближайшем будущем нашего с вами издания. Именно так – нашего с вами, потому что без вашего заинтересованного участия в качестве подписчиков и читателей трудно двигаться вперед.

Цели и задачи журнала остаются прежними: предоставление трибуны для публикаций талантливых авторов, пишущих по-русски и живущих в разных уголках планеты, а не только в Америке. Журнал-то международный... Это особенно важно, ибо количество «русских» литературных изданий, выходящих на бумаге, неуклонно сокращается. Увы, такова тенденция – выпускать их финансово все тяжелее. И уходят издатели массово в Сеть, в Интернет, что намного дешевле...

Заметим: мы не получаем грантов и вообще, какой-либо материальной помощи. Наш проект – благотворительный, филантропический, держится исключительно за счет поддержки издателя Леона Михлина и вашей, друзья, небольшой оплаты за подписку.

Еще одно направление нашей деятельности – публикация острой прозы и публицистики российских авторов, которых не печатают в России, боясь гнева властей предрержащих. Вы наверняка обратили внимание на такие тексты в журнале...

«ВРЕМЕНА» заметили, рецензенты оценили высокий профессиональный уровень напечатанных вещей. Так, известный литературный критик Анатолий Либерман положительно отозвался о первых номерах в европейски известном журнале «МОСТЫ», вы-

ходящем в Германии. С текстом вы можете познакомиться в этом номере нашего издания под рубрикой «О нас пишут».

Весьма важна обратная связь с читателями. Нам звонят, присылают письма, с нами обсуждают публикации, высказывают критику, пожелания. Подборку таких высказываний мы намерены напечатать в первом номере будущего, 2018 года.

Активно работает редакционный совет журнала, куда входят известные писатели, поэты, публицисты из разных стран. Помощь этих людей неоценима... Всем им огромное спасибо.

Наш журнал – подписной, но отдельные номера можно купить в крупнейшем русском книжном магазине Америки – «Санкт-Петербург» (Нью-Йорк). Любое пожелание жителей различных штатов стать подписчиками мы тут же удовлетворяем – стоит лишь позвонить нам и дать свои координаты.

В течение года прошли презентации – в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне, Бостоне... Такое прямое общение дает замечательную возможность услышать мнения читателей, лучше увидеть достоинства и недостатки издания.

Коротко о наших планах.

Будет создан сайт журнала, присутствие в Сети позволит резко расширить читательскую аудиторию.

Планируем активно выйти в Европу, где уже немало желающих читать «ВРЕМЕНА». Как известно, эмиграция из России в европейские страны растет, по большей части покидают родину образованные молодые и среднего возраста люди; процесс этот вынужденный, обусловленный неприятием действий путинского режима. Уезжающие не порывают связи с русской культурой, наш журнал вполне может быть ими востребован. Мы хотим создать в Германии филиал нашего издания, печатать там часть тиража и рассылать подписчикам по европейским адресам. Посмотрим, что из этого получится.

Теперь – о подписке. Хочется верить, что существующие подписчики, а их уже немало, останутся с нами. Надеемся на приобретение новых читателей.

Подписка на 2018 год по-прежнему стоит 50 долларов (4 номера).

На чеке надо указать цифру 50 долларов (почтовые расходы включены) и дать название компании издателя заглавными буквами: PGLL LLC. Чек вложить к конверт и отправить по адресу:

David Guy

97-07 63 Road Apt.11H Rego Park, NY 11374

Контактный телефон: 646-270-9615

Разработаны определенные скидки. Условия можно обсудить по телефону.

Леон Михлин, издатель

Давид Гай, редактор

О НАС ПИШУТ

«ВРЕМЕНА»

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Нью-Йорк, 2017

Журнал «Времена» начал выходить в этом году. До меня пока дошли только первых два номера (в них соответственно 253 и 298 страниц). «Мосты» и «Литературный европеец» тоже появились на моей памяти, и я с радостью приветствовал их, и вот теперь «ребенка милого рожденье» вновь приветствует моя несколько запоздалая рецензия.

В журнале есть почти всё, что ожидается: художественная и документальная проза, стихи (оригинальные и переводные – переводы с белорусского и идиш превосходны; есть и перевод прозы с идиш), публицистика, интервью и немного юмора. Нет пока иллюстраций и критики (но уже во втором номере появились развернутые аннотации на недавно вышедшие книги, в основном переведенные на русский).

Я не вполне уверен, что значит слово общественно-политический, но непосредственно к политике имеет отношение только редакционная статья в первом номере «100 дней президента Трампа: что ждет Америку и мир?» Все предсказания – тлен и суета; проживем – увидим. А в остальном политика бессменно с нами и вокруг нас. Из романа Валерия Бочкова мы узнаём, что будет происходить в Москве после захвата ее мусульманами. Тема для современной литературы не новая (вспоминается трагикомедия Виталия Раздольского) и гораздо более актуальная, чем придуманное Уэльсом нашествие марсиан. Не знаю, как в Москве, на Западе это событие встретят предупреждениями против исламофобии.

В двух номерах печатается роман Ольги Кучкиной «Ночь стюардессы». Это стилизованный рассказ первой жены Путина об их жиз-

ни и расставании. Никто в России этот роман напечатать не рискнул, хотя он крайне сдержан и по содержанию, и по тону: никаких разоблачений, никакой клубнички; хороший литературный язык. Волевой гебист преодолел свое низкое происхождение и невзрачную внешность и сделал умопомрачительную карьеру, а путь к неограниченной власти и несметному богатству всегда лежит по трупам.

О достоверности деталей, взятых, как сказано автором, из открытых источников, судить трудно, но не соответствует действительности, что Путин, обладая абсолютным музыкальным слухом, почти без акцента говорит по-немецки, по-английски и по-французски. Свободно по хорошо известным причинам говорит он только по-немецки (с акцентом); к тому же между музыкальным и фонетическим слухом корреляция необязательна. Благодаря такту и сдержанности повествование Кучкиной выглядит вполне реалистично.

В финале жена сама уходит от сатрапа сталинского разлива (так в жизни и было?), произнеся обличительную речь, и это единственная недостоверная сцена. Видимо, велико было искушение завершить негромкий роман на фортиссимо.

Тоже в двух номерах напечатан документальный рассказ Давида Гая о жизни и подвиге Мирослава (Славы, потом Стивена, «Абрека») Зильбермана, украинского иммигранта, ставшего американским пилотом. В потерпевшем аварию самолете он держал штурвал так долго, как это понадобилось, чтобы успели выброситься члены экипажа, а сам погиб. Гай изучил все обстоятельства, связанные с эмиграцией и карьерой Стивена, и встретился с людьми, хорошо его знавшими. Портрет получился убедительный и запоминающийся.

Ужасна картина поголовного истребления евреев в Литве. К ней обратился Иосиф Мандельбраут. Если бы за этот кошмар были ответственны оккупанты, можно было бы сказать: «Как всюду». Но зверствовали, развлекаясь убийствами стариков и малых детей и вода на эти «представления» своих сыновей и дочерей, местные жители. Пещерная жестокость, как называет ее Мандельбраут. Бесновались не только неграмотные крестьяне, но и городские жители ослепленной многолетним антисемитизмом страны. С тех пор не наступило ни похмелье, ни покаянье. Скорее наоборот: попытка свалить вину, о которой сквозь зубы стали говорить совсем недавно, на других. (А пока в Вильнюсе высится одинокая синагога с над-

писью, что помещение сдается в наем.) Но и там были герои, под страхом смерти спасавшие евреев.

А незадолго до того во Франкфурте-на-Майне жил хозяин знаменитой оптической фабрики доктор Лейтц (у него выделялся фотоаппарат «Лейка», по имени Лейтца в России так забавно и названный), спасший десятки людей, но даже после войны чуравшийся всякой рекламы. Ему героически помогала дочь (рассказ Фрейдина). Поименно ли мы помним всех – и злодеев, и героев?

Было бы нелепо пересказывать здесь новеллы, импрессионистические зарисовки, фантастику и воспоминания с местом действия от Парижа до Нью-Йорка. Замечу лишь, что издатель Леон Михлин и редактор Давид Гай привлекли профессиональных авторов, и, если журнал продержится на таком же уровне, успех ему обеспечен.

Хорошо закончить краткую (чересчур краткую) аннотацию на лирической ноте. Приведу несколько строф. «Огонь как будто бы притушен. / Зима пятнадцатого года. / Все чаще приступы удушья / и колебания погоды» (Дмитрий Бураго). «Лет двадцать прошло, как не муж и жена, / все это давно уже послано на... / Жаль просто, что стали такими, как все, / прости нас, Ки-Вест, вытри тени со стен» (Гари Лайт). «Я счастлив за нее, что мне не повезло / и что другой ей оказался ближе... / И счастлив за себя, что я несчастлив здесь. / ... Что я несчастлив здесь, а не в Париже» (Валерий Скобло). «Дождь долго капал, и за столько дней / Мне удалось в своей тиши привыкнуть, / Что пешеход в окне нелепо выгнут, / А почерк на стекле в ночи видней. / Стекали строчки, но в каком-то сне / Я этот текст прочел в одном из писем: / Прозрачный лист был знаками исписан, / В нем обращался пешеход ко мне. // ... /Какой ведь никакой, а всё же выход, / Хотя мы с ним сроднились, и почти / Он смог от одиночества спасти... / Так дождь ушел. И снег в том месте выпал» (Геннадий Кацов).

Анатолий ЛИБЕРМАН, журнал «Мосты» (Германия), #55, 2017

Анатолий Симонович Либерман — известный лингвист, литературовед, поэт, переводчик, критик. Профессор Миннесотского университета.

Валерий БОЧКОВ

БРАТ МОЙ КАИН

Журнальный вариант нового романа

В первом номере журнала «ВРЕМЕНА» за 2017 год были опубликованы начальные главы нового романа известного писателя Валерия Бочкова «Брат мой Каин» (правда, под другим названием – «Генерал моей памяти»). Роман завершает трилогию. В первых двух – «Харон» и «Коронация зверя» – автор, живущий в США, рассказывает, что могло бы стать с Россией, если бы президента убили. Кто бы неминуемо пришёл к власти. Что бы делало смиренное стадо псевдопатриотов, именуемых гражданами. И что бы попыталась сделать жалкая кучка несогласных с данным положением вещей.

Наша публикация вызвала большой читательский интерес. «Вы нас заинтриговали, обязательно продолжите печатать роман», – просили редакцию. И вот в № 4 (2017) мы печатаем журнальный вариант «...Каина», продолжая фрагмент текста из первого номера и далее следуя всем основным сюжетным ходам и линиям.

В центре повествования – рожденная в России Катерина Каширская, внучка генерала, волей судьбы в 90-е годы оказавшаяся в Америке, получившая здесь высшее образование и ставшая журналисткой одного из ведущих американских телеканалов. Она в качестве военного репортера работает в мятежной Москве, захваченной бандитами и террористами, попадает к ним в руки и становится объектом немислимого эксперимента, связанного с ядерным Апокалипсисом.

Заметим, к слову, что журнал «Времена» – первое русскоязычное издание, напечатавшее роман-антиутопию Валерия Бочкова. Увидит ли он свет в путинской России? Хочется надеяться, однако остаются большие сомнения...

1

На моей визитке значился гордый и туманный титул «Главный референт и ответственный координатор специальных проектов». В Москве я продолжала выполнять обязанности переводчика, организовывать интервью и заказывать столики в ресторанах, ездить на встречи с политиками и там демонстрировать свои круглые коленки и точёные щиколотки. Иногда шеф-редактор Стив Мор доверял мне съёмки какой-нибудь ерунды, вроде репортажа про церковную кикимору или интервью с полусумасшедшим экстрасенсом Гринбергом, предрекавшим в России полную реставрацию монархии.

Обернулось же совсем иным.

В ужасе следили соседи за взрывами русской ухарской удали, фантазмагии кремлёвской пропаганды наполнили новым смыслом слово «ложь», российская глубинка с покорной оторопью вникала безумным эскападам столицы. Ох, задурела Москва, ох задурела. Старухи сплёвывали через плечо и крестились – добром это не кончится.

Отгремели лихие парады, лопнули вонючими пузырями ряженные удалцы – герои Таврии и донецких баталий, стало неловко за верховного главнокомандующего – тирана с гладким лицом старого евнуха. Былая дерзость обернулась глупостью. Решительность оказалась обычным русским хамством. Запад брезгливо мыл руки, стараясь поскорее забыть про давешние лобзания.

Чудесные дворцы из хрусталя и гранита застыли недостроенными, миллиардные состояния, припрятанные по заморским банкам, вдруг стали недоступны. Пустыми стояли только что отремонтированные виллы на Сардинии и Лазурном Берегу, пустовали особняки и в Челси, никто не любовался божественной россыпью огней ночного Манхэттена из пентхауза на Парк-авеню. В чёрный список Интерпола вошла вся первая сотня российской политической элиты. Страстные сторонники президента, вчерашние друзья и патриоты уже шушукались за его спиной. Чутьё чекиста и дворовый опыт питерских окраин подсказывали – бей первым! Бей в кровь!

Враги окопались в столице, в Думе, в Президентском совете. Врагов оказалось гораздо больше, чем можно было предположить. Под маской сенаторов прятались матёрые казнокрады, в миноборо-

ны засели генералы-предатели, депутат Трящёв передавал секретные сведения напрямую в штаб НАТО, лидер фракции «Земля» Саломатин сливал бюджетные миллиарды в оффшорные компании на Мальдивских островах. Конституционный суд оказался непотребным вертепом – под судейскими мантиями прятались педофилы и наркоманы. Даже генпрокурор, честнейший Иван Кравчук, даже он не избежал обвинений и за день до ареста был найден с перерезанным горлом в собственном бассейне.

Возмущённый народ требовал возмездия – справедливого, но строгого.

Идя навстречу пожеланиям граждан, президент восстановил смертную казнь. Трудящиеся писали и звонили в Кремль, предлагали, советовали. Многие негодовали. Секретариат президента открыл «горячую линию» – теперь каждый россиянин в любое время дня и ночи мог сообщить о наболевшем напрямую президенту.

Начались открытые судебные процессы, их проводили в центральных московских театрах. Даже в консерватории и цирке. Переполненные залы были набиты истеричными женщинами и суровыми мужчинами. Разгневанные россияне предлагали заменить гуманный расстрел исконно русскими казнями – публичными четвертованием или усекновением головы. И транслировать экзекуцию напрямую по первой программе.

Президент чутко прислушивался к мнению своего народа.

Три раза в неделю после новостей стала выходить часовая передача «Приговор будет коротким», которую вёл заслуженный юрист Лев Завадский. Завадский начинал каждую программу с просьбы убрать от экранов детей. О подсудимых он говорил с отвращением, брезгливо кривя влажные губы. Появлялись мутные кадры хроники, снятые скрытой камерой. Свирепый Завадский, в чёрной тройке и распахнутой кроваво-алой рубахе, сжимал бледные кулаки и с ненавистью комментировал происходящее на экране. Преступники получали взятки в туманных кабинетах, предавались разврату на зыбких яхтах, совершали незаконные сделки. Торговали оружием и наркотиками в мировом масштабе. «Шакалы и гиены», «коварные скорпионы», «язвы на теле родины» – так называл их Завадский, он считался ярким эссеистом и время от времени публиковал свои произведения в «Новом мире» под псевдонимом Анжелины Зло-

биной. Программу завершал сегмент «Лобное место», собственно, ради этого программу и смотрели. Преступника вели на эшафот, напяливали на голову чёрный мешок, благообразный батюшка с золотым распятием на животе плевал ему вслед со словами «Гори в геенне огненной, сатанинское племя!». Палач накидывал петлю на шею и ловко вышибал скамейку.

Сердце Москвы замирало в ужасе от предчувствия чего-то невозможно страшного. Казалось, разверзлась бездна и спасенья нет. Подходило к концу невыносимое лето, стояла адская жара, в Подмосковье горели торфяные болота. Столица задыхалась. Дворцы, церкви и мосты тонули в сизой пелене, на обморочный город опускались сумерки, наступал вечер. Но и вечер не приносил спасенья. Раскалённое солнце, похожее на огромный персидский щит, заваливалось за Воробьёвы горы и умирало в косматых грязных облаках, напоследок освещая дымное небо багровым заревом. Золотом вспыхивали купола храмов, кресты, окна домов – казалось, всё вокруг охвачено пламенем. В слоистом дыме вставали миражи затейливых восточных минаретов, набухали персиковые тыквы мечетей, многие слышали протяжную песню муэдзина – как вой, как плач, как предвестье грядущей беды. Свет гас, день умирал. Город обречённо погружался в коричневую мглу. Вдоль набережных зажигались слепые фонари, они отражались жёлтыми иглами в тягучей, будто дёготь, воде. Опускалась чёрная потная ночь.

В последнюю ночь августа наконец свершилось то самое – немыслимое и страшное: на своей подмосковной даче был убит президент Тихон Пилепин, властитель, намертво прилипший к трону России и безраздельно правивший страной на протяжении последних двух десятков лет. Тиран тихий и лукавый, политик тщеславный и ничтожный, его настиг банальный рок неудачливого русского ценосца. Как и тех, других, до него – ту мрачную вереницу божьих помазанников, уходящую в дымную византийскую тьму, тайно придушенных в скомканных постелях, зарезанных в пыльных будуарах, убитых метким ударом табакерки в висок или выстрелом в затылок, заколотых солдатским штыком или вельможным стилетом, Тихона Пилепина не судил беспощадный трибунал, прокурор не зачитывал бесконечный лист преступлений тирана, не было и торжественно мрачного эшафота, затянутого гробовым крепом с красными лен-

тами, не было гильотины, украшенной алыми розами или большого костра на главной площади. Не было обмирающей, жадно глазастой толпы, отцы не подсаживали детей на плечи – гляди, сынок, вот какой конец ждёт каждого тирана, и сердобольная старушка не подкидывала хворост в огонь – нет, ничего этого не было. Была тьма, грязь и смерть: равнодушный Харон взял монету, оттолкнулся веслом и направил ладью по смоляной воде к другому берегу.

Той же ночью авиация мятежников нанесла ракетный удар по кремлёвским казармам, где квартировали «золотомордые» – национальная гвардия президента, залп был выпущен по зданию Управления федеральной безопасности на Лубянке. Одна из ракет угодила в «Детский мир». После этой оплошности дела пошли наперекосяк.

Убийство президента, мятеж, бестолковые заявления ряженого генерала, суэта телевизионных врунов – народ проснулся и почувал кровь. В неразберихе слышался шум приближающейся грозы. Как мы могли так долго терпеть? Мы что – не люди! Слепая ярость искала выхода. Народ выплеснулся на улицы, со злорадной страстью начал громить, ломать, крушить. Пришло, пришло время посчитаться! Электрички, набитые лихими парнями и девчатами, – кто с кастетом, кто с финкой, а у кого и волына, – понеслись в столицу. За всё ответят, гады!

Давно, давно ненависть копилась, застилала кровавой пеленой глаза. Телевизионный яд изо дня в день проникал в мозг, трескучие фразы медийных шутов накрепко засели в головах и уже сами слетали с языка. Враг был известен – коварная Европа и жадная Америка. Пиндостан и Гейропа! Да ещё наши собственные иуды – продажные шкуры, пятая колонна, недобитые олигархи. Ворьё и кровопийцы – во, гляди, сволочи, дворцов понастроили, яхт накупили, – всё за наш счёт! Жируют за счёт простого народа, курвы! Жируете? Устриц жрёте с шампанским? На нашем горбу в рай собрались? – на-ка, выкуси!

Воровское словечко «западло» из наречия превратилось в существительное и стало обозначать врага – иностранца, западника, предателя. Появился лозунг «Убей западло!», его скандировали тысячи глоток на гулких площадях, кривые буквы были написаны на стенах домов, на транспарантах, свисающих с мостов.

Со звериными рыком, с матерными песнями, пьяные от воли

и от водки врывались толпы в ненавистные посольства. В кровавом кураже били стёкла и поджигали вражьи автосалоны. Потные медные лица, хохочущие рты, крепкие кулаки в саже и крови. Мы вам покажем «Феррари», гниды! Будут вам бентли-фуентли, сволочи! Обезумевшие и оглушённые, потерявшие рассудок от ужаса и ярости люди, уже вовсе не похожие на людей, убивали иностранцев. Вешали, резали, сжигали живьём. Моего шеф-редактора Стива Мора, доброго лысого дядьку, выбросили из окна его кабинета с одиннадцатого этажа. Практикантку Тиффани, стажировавшуюся в службе новостей после Колумбийского университета, раздели и привязали к столу; её насиловали весь день, а после перерезали горло. Она была хрупкой мулаткой с шоколадной кожей родом из Чикаго, в октябре ей исполнилось бы двадцать два года.

Моя белая кожа, московский акцент и невероятное везение помогли вырваться из Москвы, добраться до Латвии и из Риги вылететь в Америку. Уже в Нью-Йорке я узнала, что власть в России захватил некто Глеб Сильвестров. Депутат, амбициозный лидер мелкой фракции остро национального толка, брутальный молодец с тяжёлым подбородком и честным взглядом. Хваткий журналист, когда-то он прославился хлёсткими репортажами, одно время вёл свою программу, где бил не в бровь, а в глаз, лихо резал правду-матку и бесстрашно срывал маски. Женщины, особенно в провинции, обмирали от его страстного баритона и красивого, по-мужски грубого лица, с едва заметным шрамом на лбу, который он получил спасая девочку во время наводнения в Эквадоре. Или, может, какой-то ещё дальней стране.

Сильвестров был крут и прям. Он объявил себя диктатором и спасителем отечества. Народ ликовал. Действие конституции временно отменялось.

– Я – железный кулак России!

Хмурый, с медным лицом и коротким седым ёжиком, он напоминал римского центуриона.

– Все за всё ответят! – Сильвестров сжимал увесистый загорелый кулак. – Все!

Кого он имел в виду, стало ясно в тот же день. Диктатора поддержала Таманская дивизия, танки перекрыли главные магистра-

ли столицы. В армии давно работали агитаторы думской фракции Сильвестрова. На мокрой броне сидели неприветливые ребята в чёрных комбинезонах. В аэропортах стояли блок-посты, чёрные люди с десантными автоматами проверяли документы. За двое суток был арестован весь кабинет министров и половина депутатов Думы. Чрезвычайным указом Сильвестров учредил Народные Трибуналы. Начались суды и казни.

– Русские! Я верну вам великую Россию! – диктатор был яростен и красив. – Я – лавина, несущаяся с гор! Вместе мы сметём мусор и гниль, грязь и тлен. Страшный век настал для врагов моей отчизны! Гибельный век! Я – предсмертный гимн, я – реквием!

С того берега, прямо напротив Кремля, пёр в небо чёрный столб жирного дыма – вторые сутки горело английское посольство. По Раушской набережной ветер гнал бумаги с коронами и королевскими гербами. Прохожий поднимал листок, зло плевал в корону – вот тебе, курва, владычица морей! – и, скомкав, бросал на тротуар. По городу шли грабежи, полиция переделалась в штатское и растворилась. Москва погружалась в хаос. На Красной площади стучали молотки, там строили эшафоты.

– Я выжгу измену калёным железом! – ровно в девять вечера Сильвестров появлялся в телевизоре с ежедневным обращением к народу России. – Вырву с корнем! Подлецы и мятежники заплатят жизнью. Недобитые олигархи и ворьё из Думы при поддержке американских стервятников совершили покушение на президента и попытались захватить власть. Наш президент сражался до последнего, он умер как герой. Погиб с оружием в руках. Память о нём навечно останется в наших сердцах. Память о нём взывает к мести. Мечь наша будет страшна! Я клянусь вам – мир содрогнётся от ужаса!

Обращение крутили весь следующий день, перебивая русскими песнями и фильмами про войну советских времён. Народ тревожно прилипал к экрану, впитывал леденящие душу слова, вглядывался в решительное лицо с неумолимыми глазами цвета стали. Господи, неужели дождались! Жги их, Глебушка, жги, сволочей проклятых!

Идея вселенской справедливости, столь милая русской душе, отошла на второй план – какая уж тут справедливость к чертям собачьим! – а вот отомстить кровопийцам мечталось страстно, до

зубовного скрежета. Поднять на вилы хозяев жизни. Зажравшихся депутатов с олигархами. Ужо попили кровушки нашей, сволота!

Курганы и бескрайние поля, пылающие деревни с заревом в пол-неба, топот копыт и летящие с визгом орды, чад костров и отрубленные головы на кольях, – всё это пряталось в нашей дикой расколотой памяти не так уж и глубоко, как нам когда-то казалось.

2

Из нашего московского корпункта спастись удалось мне одной. Эту новость сообщила моя начальница Лизбет Ван-Хорн через три недели после того, как я угодила в психушку. По её настороженному тону, по замысловато подобранному букету тропических цветов, по коробке конфет, упакованных как алмазные подвески королевы, я сделала вывод о своём новом статусе – статусе журналиста-героя. Накануне меня перевели в светлую палату с видом на серебристый кусок Атлантического океана и щедрый отрезок осеннего ультрамарина с вереницей деревенских облаков. До этого я наслаждалась пейзажем с бруклинской свалкой и плоскими крышами гаражей, залитых чёрным матовым варом, на которых окрестное юношество беспечно курило траву и лениво совокуплялось.

Лизбет Ван-Хорн не терпелось подстегнуть рейтинг канала и поскорее использовать меня. Всё верно – пока не пропал интерес к русскому апокалипсису. Дорого яичко к Христову дню, или как справедливо утверждал Гамлет: «Timing is everything». Продолжительность жизни среднестатистической новости – сутки. Как у мотылька. Чуть дольше живут новости с большим количеством жертв. Наводнение или цунами, пожар в отеле или землетрясение. Рухнувший мост или упавший в центре города кран. Авиакатастрофа. Эти могут протянуть дня три. Рекордсменами остаются массовые убийства и террористические акты. Добротная кровавая бойня может работать почти неделю: первый день – шокирующий репортаж с места трагедии (съёмки с вертолёта, хроника камер наблюдения, видео с телефонов очевидцев). Чудесно, если убийца хорошо вооружён, захватил заложников или пытается спастись бегством – об этом можно только мечтать, – трагедия разворачивается в реальном времени. Именно об этом грезят в своих грязных эротических снах

все телерепортёры. Репортаж о погоне за жутким монстром в реальном времени.

Впрочем, войны и революции тоже хороши. Энергичная война, особенно с резнёй мирных жителей может застрять дней на десять. При условии новых, а главное, кровавых зверств.

Лизбет Ван-Хорн знала об этом не хуже меня. Я была её ложкой к обеду, её яичком к Пасхе. Её возможностью пнуть наш рейтинг. Лизбет горячилась, егзила как гончая перед охотой, ругалась с доктором – грозила, умоляла, льстила. Доктор стоял стеной. Ван-Хорн удалось тайком снять короткое интервью. Я говорила тихо и неубедительно – из моего кукольного царства мне самой не очень-то верилось в те истории: стаи ворон над дымной Москвой-рекой, гроздь повешенных на баржах, пришвартованных у парка Горького. Ревущая толпа, валящая вниз по Тверской прямо на Кремль. Страшный звериный вой, белые глаза, чёрные пасти. Полная дама в тонких очках, похожая на учительницу, радостно кричала мне в лицо: «Груди вам, паскудам, вырезать, груди! Как в инквизицию!»

Те картины всплывали в памяти отстранённо, будто мне показывали кино – непонятное и совсем неинтересное. Я видела это кино много раз. Трафаретный кошмар перестаёт пугать и становится банальной пошлостью. Ужасная скука...

Меня выписали через два месяца.

И вскоре вновь направили в мятежную Москву. Я почему-то не противилась.

3

...Глаза привыкли к темноте, проступили стены, низкий потолок. Комната была тесной и вытянутой как пенал. Под самым потолком сквозь вентиляционные решётки сочился дохлый свет. Окон не было, наверное, меня сунули в подвал. Где-то наверху бил колокол, ещё доносился чей-то голос. Слов было не разобрать. Голос, хриплый и одновременно по-детски высокий, казалось, принадлежал карлику, такими в мультфильмах озвучивают всякую мелкую нечисть – троллей и гремлинов. Иногда он заливался сиплым карка-

ющим смехом. Меня трясло от холода. В подвале, как и полагается, было промозгло и всю гуляли сквозняки.

Я подышала в ладони, спрятала их под мышками. Страшный карлик наверху зашёлся сатанинским хохотом. С клёкотом, будто захлёбываясь. Потом слышались шаги, грохнул засов и дверь открылась. Вошли двое. Короткий толстяк и второй, длинный, нагруженный каким-то хламом.

– А чё в темноте сидишь? – толстяк пошарил по стене и щёлкнул выключателем. – Вот...

Под самым потолком зажглась жёлтая пыльная лампочка. Коротышка оказался Яшамом Эмвази, знаменитым продюсером, оператором и режиссёром шедевра исламской военной кинопропаганды «Звон мечей».

Я встала. Яшам остановился передо мной, оглядел, будто оценивая.

– Видела ваш фильм, – сказала. – Впечатляет!

– Спасибо, – он довольно хмыкнул. – От профессионала приятно вдвойне.

Он повернулся к помощнику, что-то начал говорить на пушту. Тот, сложив киноаппаратуру в угол, возился со штативом для камеры. Карлик снова захохотал.

– Кто это? – спросила я.

– Василий Иванович. Жуть. Как вурдалак ржёт – да?

Яшам, коренастый и пузатый, с нечёсанными вороныными кудрями до плеч, в золотых амулетах на мохнатой груди, напоминал нечто среднее между греческим пиратом и опустившимся цыганским бароном.

– Думаю, на фоне стены. С боковым светом, – он что-то приказал ассистенту, тот кивнул и быстро ушёл. – Драматично, с глубокими тенями. Через фильтр.

Ассистент вернулся с софитом, размотал толстый провод, включил. Белый круг ослепительного света выхватил кусок кирпичной стены. Я зажмурилась.

– Как Нью-Йорк? – спросил Яшам. – Давно там не были?

Вопрос прозвучал сюрреалистично – представить, что существует какой-то Нью-Йорк было почти невозможно.

– Я учился на Манхэттене. Рядом с Вашингтон-сквер. Какая

там? – Двадцать Восьмая улица? От Бродвея, сразу за «Мэйси»... На оператора... – Яшам отодвинул софит чуть дальше. – Там где этот здоровенный магазин книжный... как его?

– «Стрэнд».

– Ага, «Стрэнд». Точно... Встаньте сюда, пожалуйста.

Я подошла к стене, повернулась и сразу ослепла. Щурясь, прикрыла глаза ладошкой.

– Не смотрите на лампу, – Яшам поднёс к моему лицу экспонометр. – В сторону смотрите. Вон, на Омара...

Он кивнул на ассистента. Тот привинчивал камеру к штативу.

– Меня после диплома в Фокс-Ньюс взяли, вторым помощником, у нас контора рядом с вашей была, в Рокфеллер-Плаза... На тридцать втором этаже.

– Яшам... – тихо сказала я.

– Тогда Джил Маккензи только начинала, помните, была программа, как её... «Реальность Маккензи», помните её?

– Яшам... – попыталась перебить я громче.

– А какой рейтинг, мать твою! Какой рейтинг! Сразу после выборов, как из пушки... Очуметь можно, всего за месяц в праймтайм...

– Яшам! – заорала я. – Какого чёрта!.. Тамерлан ведь отлично знает, отлично! – что никто за меня не будет платить выкуп. Ни мой канал, ни правительство! Никто!

Он запнулся, озадаченно поскрёб бороду. Карлик за стеной захохотал, будто залаял. Я снова вспомнила о стальной рояльной струне, которой перепилили горло Вилли Буту неделю назад. Обычно они ждут неделю, от силы дней десять. Заложник сам называет сумму выкупа – вот так, прямо в камеру. На фоне кирпичной стены или зелёного флага. Сколько таких роликов я видела...

– Я – Катерина Каширская, журналист и шеф информационного бюро американского телеканала Си-Эн-Эйч в Москве... – деревянным голосом произнесла я, глядя в мёртвый глаз камеры. – Обращаюсь к правительству, президенту и руководству моей компании спасти мою жизнь и заплатить... десять миллионов долларов за моё освобождение. В противном случае... – я запнулась и замолчала.

В противном случае – ах какой верный оборот! – в противном, даже отвратительном и омерзительном случае. Уж если речь идёт о

стальной струне, ни одно из прилагательных не покажется излишне драматичным.

Яшам щёлкнул пальцами и остановил камеру. Рубиновый глазок погас.

– Отлично! Дам паузу, зум на лицо, крупный план и выход в чёрное. Отлично-отлично! Прекрасная фактура. Спасибо!

Они ушли. Собрали аппаратуру, смотали провода и ушли. Я долго смотрела на дверь, потом добрела до выключателя и погасила свет. Да, так лучше, хоть и не намного. Мелко трясся подбородок, я прижала ладони к лицу, теперь дрожь колотила всё тело. Прислонилась спиной к стене, бессильно сползла по шершавым кирпичам. Скрючившись, обняла колени, до боли вжалась в них подбородком. Зажмурилась – ничего не изменилось, чёрная пустота осталась чёрной.

4

Разбудил меня грохот засова. Дверь раскрылась, человек в тюрбане, не заходя в подвал, что-то буркнул на пушту. Включил фонарик и направил мне в лицо. С трудом поднялась, ноги затекли смертельно, оказывается, я заснула сидя на корточках. Вышла, тюрбан молча подтолкнул меня в спину. Я огрызнулась единственным ругательством, которое я знала на пушту.

Мы прошли низким коридором, жёлтый круг фонаря пьяно шатался по полу от стены к стене в такт шагам. Поднялись по тёмной лестнице, – крутые ступени, высокие и неудобные, похоже, были рассчитаны на каких-то великанов. Остановились у высоких дверей с медными ручками, тюрбан аккуратно постучал согнутым пальцем. Никто не отозвался, тюрбан нерешительно приоткрыл дверь и втолкнул меня.

В просторной полутёмной комнате, похожей на кабинет начальника среднего калибра, вдоль стены стояли конторские стулья, обтянутые дерматином. Вдоль другой – глиняные горшки разной величины и формы. Над ними криво висел серый русский пейзаж с тусклыми берёзами и скучной рекой. Я подошла и поправила раму. Откуда-то крепко воняло жареным луком.

В трёх узких сводчатых окнах малиновым сиропом разливался

густой закат. Ртутная трепетная прожилка, – живой отблеск мёртвого солнца, тянулась сквозь все три окна. Как струна – подумала я. И увидела приоткрытую дверь в дальнем углу.

За дверью была кухня. Яркая и белая, со стальной вытяжкой, похожей на бок космической ракеты, с цинковым холодильником и сверкающей нержавеющей плитой на дюжину конфорок. В чугунной сковороде, брызгая маслом, жарился лук. У плиты стоял бритый наголо мужчина в небесно-голубом спортивном костюме. Он повернулся, я узнала Тамерлана. Тамерлана аль-Ашари – истинного и праведного халифа, потомка Омейядской династии. На истинном и праведном халифе был кухонный фартук, бабский, в красный горошек.

– Ненавижу тефлон, – бросил Тамерлан через плечо. – Настоящий курбак готовят только на чугуне.

Он энергично помешал лук деревянной поварёшкой. Ловко подхватил сковороду, вывалил золотистый лук в глубокую пиалу.

– Главное – не пережарить. Сжёт лук – весь курбак насмарку.

На его загорелом черепе, удивительно гладком и шарообразном, отражались сразу несколько галогеновых ламп. Тамерлан подмигнул мне, подмигнул без улыбки, поставил сковородку обратно на плиту.

– Вот дурак! – раздалось из угла.

Я вздрогнула, повернулась. В углу на спинке высокого барного стула сидел попугай. Настоящий амазонский красный ара. В цепкой когтистой лапе он держал огрызок яблока.

– Водки выпей! – почти ласково предложил мне попугай, кокетливо наклонив голову.

– Василий Иваныч, – представил птицу Тамерлан. Он ловко резал, нет, шинковал морковку на разделочном столе. – Знаете, чей?

Я для приличия пожалала плечами, попугай меня не интересовал.

– Тихона Пилепина, – Тамерлан усмехнулся. – Последнего правителя всея Руси. Да-а... Ничтожество, сокрушившее империю. Хотя каждая империя имеет срок годности. И эта тоже...

Он налил в сковороду оливкового масла из бутылки. Масло тут же задымилось, Тамерлан выругался, подхватил сковороду.

– Э-э, прозевал! – он вылил чадающее масло в раковину. – Вот растяпа...

Открутил кран, подставил сковородку. Вода зашипела, пар об-лаком взвился под потолок.

– Вот дурак! – не упустил своего Василий Иванович.

– Тут ты прав, брат. Бывает, – добродушно ответил ему халиф. – А знаете, как меня в детстве звали? Дома? – Это уже ко мне.

Его отец был русским, полковником горного мотострелково-го батальона, потом комендантом Ляура, мать таджичкой – это я помнила.

– Гоша, – ответил Тамерлан. – Приезжала бабка моя из Липецка, баба Света, учила меня блины жарить. Мне так нравилось... Пекли с ней пироги с персиками и хурмой, открытые, с плетёнкой поверху... Все думали, поваром стану... Поваром! Нет, ты представляешь?

– Нет, – честно ответила я. – Не представляю.

Мне вспомнилась хроника, где несостоявшийся повар, потный и бородатый душман, косил женщин из танкового пулемёта. Мне не нравились его откровения, не нравился незаметный переход на «ты». Из всего этого можно было сделать лишь один вывод, и этот вывод мне тоже не нравился.

Сковородка снова нагрелась. Тамерлан налил масла, чуть погоя, засыпал морковь. Вытащил из холодильника железную миску с пёстрыми овощами – тугие красные перцы, сочные помидоры, фиолетовый баклажан.

– Не, ну ты погляди, погляди только! Чудо! – Он гордо поднял, похожий на сердце, перец. – Чудо!

Перец действительно был хорош. Тамерлан сноровисто стуча стальным лезвием ножа, начал мелко и очень быстро рубить его на тонкие кольца. Как машина, точно и споро.

– Нож – половина успеха. Золлинген – отличная сталь.

Нож как бритва располосовал помидоры на дольки.

– Кстати, – халиф принялся за баклажан. – Ты знаешь, что Тамерлан по-русски значит «стальной»?

Нет, я не знала.

Тамерлан вывалил все овощи в сковороду, энергично перемешал. Добавил масла, совсем чуть-чуть. Достал с полки жестяную банку, открыв крышку, сунул мне под нос.

– А? – торжествующе спросил. – Аромат каков?

В банке была какая-то пряная смесь, я вдохнула, уловила дух кайенского перца и имбиря.

– Имбирь?

– Имбирь, – передразнил он меня. – Пятнадцать ингредиентов! Ну и имбирь, конечно. Мой личный рецепт. Своими руками в каменной ступке, никаких миксеров. Шафран – это непременно, но не простой, с рынка – в тот добавляют мел, куркума – тропический шафран, индийский. Потом тмин, кардамон... Мелисса, майоран и мускатный орех – с этим надо очень осторожно, а то появится парфюмерный привкус, вроде одеколona. Что ещё? Лавровый лист, анис, барбарис. Хотя барбарис можно заменить лимоном. В самом конце потереть чуть цедры, уже когда добавляешь зелень...

Он снова перемешал овощи, нагнулся, заглянув под сковороду, уменьшил огонь. Зажёг ещё одну конфорку, совсем маленькую. Раскрыл шкаф, вытащил казан. Придирчиво глянул внутрь, зачем-то дунул, поставил казан на огонь.

– Это вегетарианское блюдо? – спросила я первое, что пришло в голову, он как раз вывалил овощи в казан.

– Курбак?! – Тамерлан засмеялся, чёртов попугай закаркал следом. – Настоящий курбак готовился из конины. Когда ещё мы были кочевниками, – сакские племена, кстати тоже пришли из Индии, как и скифы.

– А-а, так что мы, считай, братья?

– Все люди братья, – он снова засмеялся, резко и неприятно, потом серьёзно добавил. – Почти все.

– Вот дурак! – встрял в беседу Василий Иванович.

– А вот северные племена – кшатрии, – Тамерлан продолжил свою кулинарно-историческую лекцию. – Которые кочевали в предгорье Гималаев до гор Гиндукуш. В «Махабхарате» их причисляют к шудрам и называют «выродившимися воинами», так вот эти кшатрии готовили курбак из...

Он запнулся, повернулся к плите, заглянул в казан. А я уже почти догадалась, из какого мяса готовили эти «выродившиеся» свой проклятый курбак.

– Так! – он влез пальцами в банку, бросил три щедрых щепотки апельсиновой струхи в казан. – Специи надо добавлять перед самым концом, – не раньше и не позже.

- Почему? – быстро спросила я, меня начало мутить.
- Если рано, то жар убьёт весь дух...
- А позже если, – я сглотнула и сжала губы.
- Они не успеют отдать аромат...

Он раскрыл холодильник и достал кусок розового мяса. Бережно положил румяную мякоть на разделочную доску. Нежностью цвета мясо напоминало свиную вырезку, но мне было ясно, что свинины тут просто не может быть.

– Вот... – Тамерлан ласково похлопал ладошкой по вырезке, звук получился чмокающий и гадкий. – То что нужно...

– Вы забыли лук! – выдохнула я тыча пальцем в пиалу с жареным луком.

– Нет, лук мы сверху положим. На мясо. Чтоб сок мясной с луковым перемешался.

Тамерлан выбрал нож с узким и хищным лезвием. Плавным жестом примерился и начал резать мясо на длинные тонкие ломти. Я судорожно сглотнула, во рту было сухо. Не отрываясь, Тамерлан, вдруг начал декламировать. Неспешно и весомо, точно отливая каждое слово из тяжёлого, благородного металла:

*Над головой вселенная вращалась,
Судьбы предначертанье открывалось.
Не подобает от любви страдать
Тому, кто миром должен обладать.
Сегодня пир, а завтра – пусть война,
Носить корону – не ребячье дело.*

Мой взгляд прилип к стальной бритве ножа, к мокрым розовым кускам, кровавому соку, вытекающему из-под мяса на доску. Я почти выкрикнула:

– Ну зачем?! Какого чёрта? Десять миллионов! Ты ж знаешь, прекрасно знаешь... – я задохнулась, меня мутило. – Ведь никто, никто не будет тебе никаких миллионов платить! Никто! И ты знаешь, и я знаю! Так какого чёрта? Какого беса... зачем...

– Зачем! Зачем! Вот дурак! – каркнул попугай.

– Заткнись, курица крашеная! – заорала я и, схватив со стола обрезок баклажана, пульнула им в птицу.

Конечно, промахнулась. Попугай взмахнул крыльями, увернулся и точно истребитель, просвистев мимо, вылетел из кухни. Из соседней комнаты донеслось его возмущённое карканье – он щёлкал клювом и матерился. Тамерлан перестал резать мясо и с удивлением глядел на меня.

– Ну что уставился?! – рявкнула я и одним жестом смела всё с разделочного стола. – Гоша!!

Миска, пиала, овощи – всё с грохотом и звоном полетело на пол. Застучал-запрыгал молодой картофель, покатались морковки, помидор шлёпнулся и брызнул соком по кафелю.

– Как вы мне все осточертели, господа! Если бы вы только знали... Господа...

Без сил опустилась на пол, закрыла лицо руками. Я всхлипывала, без слёз, без плача, без звука – просто дёргалась, как сломавшаяся машина. Как заевший механизм, застрявший в бессмысленной и жуткой конвульсии.

Мясо оказалось всего лишь телятиной. Парной телячьей вырезкой. Курбак, или как там он называл своё варево, напоминал заурядный венгерский гуляш с тушёной паприкой и баклажанами. Впрочем, вполне съедобный и даже вкусный, если вам, конечно, нравятся восточные специи. Я предпочитаю еду попроще.

Мы сидели на высоких стульях за узким разделочным столом. Сидели напротив друг друга, словно собирались играть в шахматы. Я уныло ковырялась в тарелке, есть не хотелось совсем. Тамерлан с аппетитом жевал, изредка поглядывая на меня, точно ожидал, не выкину ли я ещё какой-нибудь номер. Моя вилка звякнула о тарелку, руки ещё тряслись. Он вскинул глаза, я мрачно улыбнулась в ответ.

– Вкусно, – сипло буркнула. – Спасибо.

Попугай вернулся, он уселся подальше, взгромоздился на угол холодильника. Наклонив голову, прислушивался к разговору и пялился на меня недобрым глазом.

– Пожалуйста, – вежливо ответил Тамерлан. – Немного овощей... пережарил.

– Извини... Моя вина.

– Да ладно, – он вытер крахмальной салфеткой рот. – Бывает...

– Я не понимаю...

– За тобой приедут завтра. Утром...

– Зачем я Сильвестрову?

– Точно не знаю. Но догадываюсь.

– Зачем? Зачем?

Он сложил салфетку, посмотрел внимательно мне в глаза.

– Точно не знаю, – повторил он.

– А деньги? Выкуп?

Тамерлан хмыкнул.

– Театр... Спектакль! Представление! Шоу! Понимаешь, Каширская?

Я не понимала, но решила не перебивать. Он положил на стол загорелые руки. Переплёл пальцы, длинные, почти аристократические, с узкими ногтями. Каждый ноготок отполирован, – и кто ему тут маникюр делает? Этому Гоше?

– У меня с Сильвестровым свои дела. У нас разные зоны влияния, но схожие цели. Как ты понимаешь, вся идеология рассчитана исключительно на публику, поэтому мы не очень афишируем наше... – он засмеялся, – сотрудничество. Ислам или православие, халифат или империя – терминология для внешнего потребления.

– Причём тут шоу? Театр? Причём тут я?

– Думаю... – он помедлил, точно прикидывая, говорить или нет. – Думаю, Сильвестров решил дать тебе главную роль.

– Какую роль?

– Жанны д'Арк. Орлеанской девы. Спасительницы отечества.

– Какого к чертям собачьим отечества?!

– Как какого? – он весело засмеялся. – Русского.

5

Меня разбудили около шести. Наверху шёл дождь. Грязный монастырский двор был завален деревянными ящиками. Они намокали и темнели на глазах. В глубокой коричневой луже, в самом центре двора, стоял бронированный «хаммер». Приземистый, в зелёных и бурых пятнах камуфляжа, с крупнокалиберным «гатлингом» на крыше и железной решёткой на лобовом стекле, он напоминал помесь танка с черепахой.

Мы ждали под ржавым навесом, капли с каким-то бешеным

злорадством колотили по жести. Охранник закурил, предложил мне. Я сунула сигарету в рот, он, придерживая автомат под мышкой, чиркнул зажигалкой. Его указательный палец был срезан по вторую фалангу и торчал розовым обрубком. Дождь усилился и превратился в уверенный ливень, дробный грохот перешёл в мощный упругий гул. Стало темно, день, не успев начаться, превратился в сумерки. Я с удовольствием затаилась, выпустила дым и засмеялась, охранник удивлённо повернулся: мне стало смешно – я абсолютно не могла вспомнить какой сейчас месяц. Не знаю отчего, но этот факт мне показался очень забавным.

Из подъезда монастырской трапезной вышли вооружённые люди, человек шесть. Впереди шагал Тамерлан; в длинной чёрной шинели, с блестящим мокрым черепом, он шёл уверенно и не торопясь, точно никакого ливня не было и в помине. Проходя мимо броневика, он, не замедляя шага, стукнул кулаком по крыше и указал в нашу сторону. Мой охранник дважды торопливо затаился и выбросил недокуренную сигарету под дождь.

– Формальности закончим, – крикнул Тамерлан мне, заходя под навес. – Как ты?

Я пожалала плечами – мол, бывало и получше. Дверь «хаммера» раскрылась, из машины прямо в лужу выпрыгнул человек. Мне показалось, что это подросток, мальчишка. На ходу подняв воротник и сунув руки в карманы куртки, он голенасто зашагал к нам.

– Это от Сильвестрова? – спросила я. – Мальчик?

– Угу, – кивнул Тамерлан. – Девочка.

Подросток оказался девицей лет двадцати, от силы двадцати трёх. С худой шеей и выбритым затылком, по-татарски скуластая, она, в своих высоких солдатских ботинках, напоминала солдата-новобранца. Она хмуρο кивнула Тамерлану, вынула из кармана своего полувоенного френча телефон.

– Эта? – спросила, мельком взглянув на меня.

Набрала номер, прижала телефон к уху. Дождь продолжал гроыхать по крыше. Девчонка отошла в сторону.

– Да, я на месте, – ответила она. – Что? Нет... Ливень... как из ведра. Что?

Она, морщась, зажала другое ухо ладонью. Кивнула несколько раз головой.

– Да, хорошо. – повернулась ко мне. – Подойди сюда, тут светлей. Встань тут. Вот тут.

Она потянула меня за локоть. Я отдернула руку, подошла, встала ближе к свету. Поток воды с крыши хлестал по плечу, левый рукав тут же промок насквозь. Девчонка ткнула пальцем в экран телефона, включила камеру.

– Смотри сюда! – крикнула она мне.

Я покорно уставилась в зеркальный дисплей.

– Говори – кто ты. Имя там, все дела...

– Какие дела? – зло спросила я.

– Фамилия, профессия... – раздражённо ответила она. – Говори!

– Каширская... Катерина... Репортёр... – я сделала шаг и вышла под ливень. – Журналист и заложник!

Подняла голову, распахнула руки, подставила дождю ладони. Капли хлестали по лицу, струи воды стекали по горлу под свитер.

– Москва, Донской монастырь... – я засмеялась, перекрикивая шум ливня. – День, неделю, число не помню! Месяц тоже! Год... год последний от рождества Христова. Надеюсь, что последний!

Девчонка брезгливо поглядела на меня, выключила камеру. Прижала телефон к уху. Кивнула, потом ещё раз. Нажала отбой.

– Всё норм, – сказала, повернувшись к Тамерлану. – Это она. Сильвио подтвердил. Берём!

В «хаммере» воняло как в казарме – потом, окурками и ружейной смазкой. Тамерлан захлопнул за мной дверь, подал сигнал. Танк, перегораживающий въезд в монастырь, взревел и отъехал в сторону. Ворота раскрылись. Наш водитель врубил скорость и дал газ, «хаммер», разбрызгивая грязь луж, вылетел на Донскую улицу.

Сзади, рядом со мной оказался дикого вида бородач, похожий на сказочного разбойника. Правда вместо суковатой дубины он сжимал новенький десантный М-17 с инфракрасным прицелом и подствольной базуккой. Грязный указательный палец лежал на спусковом крючке. Когда я влезала в машину, разбойник снял автомат с предохранителя и, выпучив глаза, вперился в меня безумным взглядом. Я кивнула ему и улыbnулась. Без ответа. Девчонка села рядом с водителем.

Мы свернули на Страстную и погнали на северо-запад.

– По третьему давай, – приказала девица водителю.

– Через Ленинский безопасней, – ответил тот.

– По третьему! – рявкнула она.

Впереди мелькнула арка и колоннада входа, дальше зелёной горой вставал Нескучный сад. Водитель что-то буркнул, не сбавляя скорости, резко свернул в правый переулок.

– Костик! – бросила через плечо девица бородачу. – Выйдем на кольцо, прикроешь.

– А эта? – он кивнул на меня, у разбойника оказался фальцет кастрата.

– Что – эта? – девица раздражённо повернулась. – Прикроешь, я сказала!

Костик, косясь на меня, поставил автомат на предохранитель. Кряхтя, полез наверх, встал на сиденье. Раскрыл люк, высунулся. На ногах у него были кроссовки, покрытые коркой засохшей грязи. Дождь продолжал лить. Костик передёрнул затвор пулемёта и что-то запел тоскливым бабьим голосом.

«Хаммер» выскочил на кольцо. У обочины стояли брошенные машины. На той стороне реки, за Лужниками, что-то здорово горело, – чёрный дым косматым столбом поднимался в грязное небо. «Мне малым-мало спало-ось», – горестно донеслось сверху.

– Справа! – заорал водитель. – Автобус! Справа!

Из-за обгоревшего остова автобуса появились люди – человек пять-шесть. Стреляя, бросились нам наперерез. Костик дал короткую очередь, така-така-та – мощно прогремел пулемёт, длинные блестящие гильзы, весело звеня посыпались на сиденье и мне на колени. Один из нападавших на бегу вскинул руки, я видела, как его голова разлетелась кровавой кляксой, другие кинулись обратно в укрытие. Костик для острастки полоснул по борту автобуса. Мы пронеслись мимо и вылетели на мост.

– Пятнадцать минут! – крикнула девица водителю.

– Успеем. Не вопрос, – отозвался тот, лавируя между брошенными машинами и трупам.

Сверху донеслось уныло: «Ох, пропадёт он говори-и-ит, тво-оя буйна голова». Сквозь заляпанное грязью стекло я разглядела серый и плоский, как театральная декорация, контур небоскрёбов Сити. Внизу, посередине реки, из перламутровой мути воды торчала корма затопленной баржи, над ней деловито кружили вороны. На набе-

режной, задрав в небо мёртвую пушку, чернел сгоревший танк. «Э-эх, мне-е во сне привидела-ась», – Костик в такт тихо притоптывал ногой.

На съезде с моста мы влетели в глубокую лужу. Костик выматерился, коричневая жижа потекла из люка на сиденье, я отодвинулась к двери. Водитель заржал, не сбавляя скорости мы выскочили на набережную. Щётки дворников конвульсивно размазывали грязь и дождь по лобовому стеклу. Девушка вскинула руку, повернулась к шофёру:

– Десять минут!

Тот утопил педаль газа. Резко свернул налево, меня бросило к двери. Мы понеслись вдоль железной ограды Лужников. За мокрыми берёзами мелькнул алюминиевыми рёбрами купол стадиона, блеснул бутылочной зеленью стеклянный фасад бассейна.

– Костик! – заорала девушка. – За цистерной! Справа!

Я увидела всё одновременно: огненный шар, сожжённую бензocolонку, чёрную от копоти цистерну на грузовике и человека с базуккой. Человек встал на колени и выстрелил. Рыжий шар беззвучно лопнул и оттуда, плюясь искрами, вырвалась пылающая стрела. Она неслась мне прямо в лоб. Шофёр кинул машину вбок. Увернуться не удалось – граната ударила в крышу по касательной и с визгом отрикошетилась. «Хаммер» подпрыгнул, от грохота я оглохла. Сквозь вату орала девушка, матерился шофёр. На полном ходу он сбил кого-то – тело, как мешок с песком, перелетело через капот. От здания бензocolонки нам наперерез бежали люди. Пули с противным железным стуком били в броню. Как камни в пустое ведро. Одна попала в боковое стекло и застряла в десяти сантиметрах от моего виска. Костик сполз из люка и словно пьяный развалился на сиденье. Я быстро отвернулась – на месте лица было чёрное месиво. Костик был безнадежно мёртв.

Нам удалось оторваться. «Хаммер» теперь гнал по главной аллее в сторону центральной арены. За куполом стадиона из грязного месива туч неожиданно показалось солнце. Слепящая ртуть брызнула из узкой прорехи, тут же ожили мокрые липы, вспыхнули асфальт и трава. Обезглавленный памятник Ленину засиял, точно облитый глазурью. Шофёр резко затормозил у постамента. Девчонка повернулась, на миг задержала взгляд на трупе Костика.

– И не вздумай дурить! Усекла? – она сунула мне в лицо ствол пистолета. – Я тебя доставлю живой. Но это не значит, что в целости. Буду стрелять по ногам. Стрелять без предупреждения! Усекла?

Я вылезла, ноги не слушались. Оступилась и чуть не упала. Удержалась, ухватившись за дверь. Тут же на асфальте, среди осколков и гнутой арматуры, валялась гранитная голова вождя. Ленин припал ухом к земле, будто прислушивался. Девчонка дёрнула меня за рукав куртки, ткнула пистолетом в бедро. Задрала голову, она начала нервно оглядываться, точно пытаюсь разглядеть что-то там – в небе.

Звук мотора донёсся с севера, он быстро приближался, рос и за пять секунд превратился в грохот. Из низких туч вынырнул вертолёт, завис над нами. Это был старый «Ирокез» с двумя пулемётами по бокам фюзеляжа. Наклонив хищную щучью морду, вертолёт начал быстро снижаться. Мощный несущий винт с рёвом гнал по земле ветер, морщил лужи, поднимал в воздух мелкий мусор. Мы обе – девчонка и я, непроизвольно пригнулись. «Ирокез», неуверенно покачиваясь из стороны в стороны, коснулся асфальта металлическими полозьями.

Из кабины выпрыгнул невысокий красномордый мужичок, скуластый и раскосый вроде киргиза, в чёрном лётном комбинезоне, жутко грязном и засаленном до жирного блеска. Размахивая руками и что-то крича, киргиз помог нам забраться внутрь, неуклюже запрыгнул сам. Вертолёт тут же пошёл вверх.

– На пол! – заорал киргиз мне прямо в ухо. – Ложись на пол!

Грохнулась на колени, чёртов киргиз пихнул в спину.

– Вывалишься! Ложись!

Я растянулась. Раскинув руки и ноги, прижалась к ледяному металлу. От пола воняло тухлой селёдкой. Вертолёт сделал вираж, пустой патронный цинк прогромыхал мимо и вылетел из кабины. Это была десантная модификация «Ирокеза» – по бокам два квадратных люка – без дверей. Изнутри вертолёт напоминал старый гараж, ржавый и грязный. Я начала сползать к люку. Лужники подомной вставали дыбом, мелькнул мост, коричневая река, баржа. Макушки деревьев слились в зелёную пену. Косо и боком, как мачта тонущего корабля, проплыла башня университета. Часы на ней показывали без пятнадцати пять. Я продолжала сползать. Киргиз ух-

ватил меня за шиворот, подтащил к железной скамейке, припаянной к борту. Помог пристегнуть ремень. Девчонка сидела рядом и, вытянув тощие ноги в тяжёлых армейских ботинках, невозмутимо курила. Она что-то крикнула киргизу, оба захохотали. Определённо мерзавка острила на мой счёт.

Вертолёт набрал высоту и взял курс на север. Пейзаж утратил детали, Москва превратилась в опрятный макет. Пилот (мне был виден лишь его розовый резиновый затылок и большие чёрные наушники) шёл над третьим кольцом. Справа тускло вспыхнула петля реки. Я проверила пряжку, подтянула ремень. Держась за скобу, осторожно подвинулась к люку и вытянула шею – внизу, серебряными струнами сияли рельсы – они уходили под крышу дебаркадера Киевского вокзала. Стеклянными утёсами проплыли небоскрёбы Сити. Верхние этажи «Империи» дымились, закруглённая макушка башни была чёрной от копоти. На плоской крыше небоскрёба «Евразия-Восток» стояла зенитная установка, людей рядом не было.

Дождь закончился, серая муть туч медленно уползала на запад. Мокрый город вспыхнул зайчиками как разбитое вдребезги зеркало. Зелёная заплатка, по форме похожая на Австралию, оказалась Ваганьковским кладбищем. Пилот обернулся, что-то крикнул. Сквозь грохот винтов я не расслышала. Киргиз, дымивший какой-то вонючей гадостью, закрученной в козью ножку, одобрительно махнул в ответ. Вертолёт клюнул носом и резко пошёл вниз, потом начал валиться на левый борт, входя в вираж. Пол наклонился, по железу весело запрыгали гильзы, покатались пустые консервные жестянки. Я до немоты в руках вцепилась в скобу, ремень больно впился под рёбра. Внизу пронеслись макушки сосен, засверкала вода, круглым озером засиял залив Серебряного бора. Я заметила, что дно вертолёта было беспорядочно просверлено аккуратными отверстиями, сквозь которые бил отражённый от воды свет. Острые лучи мерцали в сумраке кабины, переливались в табачном дыме как хрустальные спицы. Выглядело это очень эффектно, почти как в планетарии, чуть позже я догадалась, что днище «Ирокеза» было прострелено как решето. Подняла голову – в потолке дырок не оказалось, но ясно виднелись вмятины и царапины от пуль. Я поджала ноги, спрятала их под железную лавку.

Обстреляли нас где-то в районе Гатчины. Мы шли низко, очевидно достаточно низко для прицельного пулемётного огня. Очередь прошла пол. Пули, отрикошетив, заметались по кабине. Я не успела даже испугаться. Киргиз продолжал спать, запрокинув голову и жутковато раскрыв рот. Девчонка дёрнулась, согнулась, схватилась за плечо. Сквозь пальцы потекло красное. Пилот резко рванул машину вверх.

Девчонка, бледная, с серыми губами, пыталась вылезти из своей куртки. Её правая рука беспомощно висела, с пальцев на пол капала кровь. Я расстегнула ремень, подобралась к ней. Вместе мы стянули куртку. Рукав свитера был насквозь пропитан кровью, я разодрала мокрую красную шерсть. Пуля застряла в плече, из раны торчал кусок серого металла.

– Там пуля! – перекрикивая треск винта, заорала я. – Она там!

– Вытащи...

Я не расслышала её слов, догадалась по губам. Хотела спросить – как? Чем?

– Бинты? – крикнула я. – Есть тут бинты?

Она кивнула головой – к борту фюзеляжа, справа, был припаян жестяной ящик с красным крестом. Щёлкнула замком, внутри было пусто. Я вернулась, встала на колени. Наклонилась. Пуля, видимо, отрикошетила от потолка и вошла в плечо под острым углом как заноза. Я видела кусок свинца – его нужно было просто чем-то подцепить... Просто подцепить, чем-то вроде пинцета. Я посмотрела на свою руку, на грязные пальцы с обломанными ногтями. Потом на пол. В человеке, даже в такой пигалице, невероятно много крови – на полу уже краснела целая лужа.

– Нож есть? – крикнула я.

Она отрицательно мотнула головой.

Я положила ладонь на её предплечье, сжала. Мне казалось, что так я смогу выдавить кусок свинца из раны. Девчонка дёрнулась, замычала. Кровь потекла сильнее, потекла по моей руке, под рукав. Пуля крепко сидела в теле. Да, как заноза, как проклятая заноза!

– Сейчас... – пробормотала я.

Приблизив лицо к ране, я широко раскрыла рот, вдавила губы в её плечо и зубами ухватила пулю. Вытащила, выплюнула на пол. Кровь брызнула из раны.

– Остановить надо! – вытирая рукавом рот, крикнула я. – Чем? Чем перевязать?!

Она здоровой рукой дёрнула ворот своей майки. Вместе мы порвали майку, я, скрутила тряпку и как тампоном зажала рану.

– Прижми! Крепко!

Она послушно прижала тряпку левой рукой. Её лицо, серое, цвета сырого теста, покрылось испариной точно мелкой росой. Мокрые волосы прилипли ко лбу. Как ребёнок, господи, больной ребёнок.

– Как зовут тебя? – спросила я.

– Зина.

– Меня – Катя...

Она попыталась улыбнуться.

– Да... Я знаю...

Киргиз продолжал спать, запрокинув голову и приоткрыв рот.

К Питеру мы подлетали с юго-запада, пилот вёл машину над Невой, повторяя изгибы реки. После бурой мути Москвы-реки Нева казалась почти ультрамариновой от отражённого в воде северного неба, невероятно высокого, холодного и пустого. Начались пригороды. Серые квадраты спальных кварталов, унылые как солдатские кладбища, сменялись зеленью недобитых деревень, на левом берегу выросли заводские трубы, мы прошли над мёртвым заводом. Впереди вспыхнули золотые зайчики, показался купол Свято-Троицкой Лавры. За ней, вдали, точно мираж проклюнулся шпиль Петропавловки. Следом, чуть погода, проступил и весь город. Строгий и мрачный, разрезанный диагоналями проспектов и зажатый стальными обручами каналов, великий город Санкт-Петербург. Столица Возрождённой Русской империи.

– Ты как? – крикнула я Зине.

Нам удалось остановить кровь. Зина сидела, спиной привалась к борту фюзеляжа; не открывая глаз, она подняла здоровую руку и выставила мне большой палец.

Мы уже шли над Невским, впереди я разглядела Мариинский, медным лбом высунулся Казанский собор. Справа, точно застыв на бегу у самого края канала, выставил в небо свои пёстрые репки двойник Василия Блаженного. Перед Дворцовой пилот пошёл на снижение, вся площадь перед Эрмитажем была забита военной тех-

ником – грузовиками, бензовозами, пусковыми установками. Проскользнули над аркой Главного штаба, над Александровской колонной Монферрана, – казалось, я могла дотянуться до макушки ангела с надменным лицом русского императора.

Вертолёт завис над внутренним двором Зимнего, по периметру белели пни срубленных деревьев. Столетние дубы, распиленные на брёвна, лежали тут же. Из арки главного входа высовывался тяжёлый танк. Нас ждали трое – два солдата и человек с узким лицом крокодила в старомодном плаще-макинтоше.

6

Безусловно, когда-то Сильвестров был красавцем. Относился к типу мужчин brutальной наружности, был высок и атлетичен. Уверенные неторопливые жесты, внимательный, чуть ироничный взгляд; с людьми держался просто, без барства, но и амигошества не терпел, – короче, знал себе цену мужик. С таким непременно пойдёшь, знаешь, что гад и сволочь, но пойдёшь всё равно. И будешь ненавидеть себя потом, ненавидеть до истерик... И до следующего раза. Если позовёт, конечно... Тяжёлый подбородок, высокий лоб – лицо мудрого тирана умирающей империи; белый мрамор и старая бронза. Я дважды брала у него интервью, ещё там, в Москве.

Он вошёл в зал и остановился. Чуть сутулый, с большими крестьянскими руками.

Говорил он насмешливо, но глаза, холодные глаза, были серьёзны.

– Ты слышала про «Кулак Сатаны»?

Он подошёл ко мне. От него пахло куревом и ещё чем-то сладким, противным, вроде детского земляничного мыла.

– Система межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, – ответила я и подалась назад. – Мобильных ракет... И шахтного базирования. Комплексы «Тополь» и «Ярс-М»...

– Триста пусковых установок! – резко перебил Сильвестров. – Триста! Тысяча ядерных блоков! Доставка в любую точку планеты! Из России – с приветом! Вот так!

Он выставил ладонь и звонко ударил в неё кулаком. Точно припечатал.

– Вот так...

– Всё это очень впечатляет, – осторожно начала я. – Но при чём тут...

– Ты? – закончил Сильвестров. – Ты, Каширская, будешь моим голубем. Вестником. Ангелом смерти!

Последнюю фразу он прокричал во весь голос, сочным баритоном, как в опере – даже хрустальная люстра тихо звякнула. Мы одновременно подняли головы. Сильвестров довольно усмехнулся, обвёл зал торжествующим взглядом, словно вся вселенная, вплоть до последней подвески на люстре подчинялось ему лично. Повернулся в профиль. Его левое ухо казалось каким-то мятым, словно парафиновым. У основания был виден шрам и стежки. Болтали, что лет пять назад кто-то откусил ему это ухо в драке. Я опустила глаза, сунула руки в карманы. А ведь он просто чокнутый...

– Ты ж понимаешь, – тихо ухмыльнулся Сильвестров, глядя сквозь меня. – Негоже всемогущему богу напрямую общаться с чернью.

Господи, он ведь просто сумасшедший. Банальный псих. После падения Москвы, после бегства в Питер, после провозглашения какой-то невразумительной новой Российской империи с расплывчатыми границами и неясными целями, Европа и Америка закрыли на Сильвестрова и его новорожденное государство глаза. За время после убийства президента Пилепина никто на Западе почему-то не вспоминал о ракетных шахтах в Козельске, Иркутске и Нижнем Тагиле. О нервном пальце славянского тирана на красной кнопке ядерного пуска.

Сильвестров перешёл в разряд почти мифических злодеев. Журналисты пару месяцев стращали западного обывателя новоявленным русским чудовищем, помесью Ивана Грозного, Распутина, Гитлера, бредящего кровавыми триумфами и необузданной властью. Географическая удалённость придавала истории завораживающую притягательность страшной сказки – заснеженные улицы, мрачные дома с тёмными окнами, по ним рыщут банды бледных людей с мутными глазами. Убийцы – не арабы – эти русские, они один в один как ты и я. И от того ещё страшней – они вроде тех обратной из дурацких фильмов про зомби и живых мертвецов.

О России сделали вид, что забыли. Забыли о Сильвестрове, за-

были об отражённых в чёрной воде башнях с двуглавыми орлами, забыли о повешенных на мостах, о нерадостных пустырях с бесконечными помойками, незаметно переходящими в жилые кварталы, а после снова в пустыри и помойки.

Но Россия не исчезла. На бескрайних хмурых просторах величиной в три Америки продолжали жить люди, несчастные и отчаявшиеся, брошенные на произвол судьбы своими вороватыми правителями и лицемерными благотворителями с Запада. Тусклые города и гнилые деревни, кажется, позабытые самим Господом Богом, продолжали цепляться за жизнь в исконно русском упорстве бесконечного страдания и бессмысленной муки. Финал великой империи, бешено вспыхнув головокружительной феерией мятежа и бунта, постепенно выдохся и перешёл в фазу унылого умирания.

7

Автобус зарычал, развернулся. За ветровым стеклом проплыл фасад Зимнего дворца, каменные боги, античные вазы, ангелы – говорят, Растрелли расставил эти скульптуры по краю крыши, чтобы закрыть многочисленные печные трубы, страшно бесившие эстета-итальянца. Заглянула макушка Александрийской колонны, шестёрка бронзовых коней на триумфальной арке Главного штаба – и тут наш русский размах – немцы на Бранденбургских воротах скромно обошлись квадригой. Проехали под гулкой аркой, по Большой Морской выбрались на Невский.

– Куда едем? – спросила я.

– К Мерзаеву.

– Это что – фамилия?

– Нет. Ларион Мирзоев. Но по сути – Мерзаев.

Автобус набрал скорость. Светофоры не работали. Мы двинулись на юго-восток, в сторону Московского вокзала. Шофёр-дельфин высвистывал какую-то неясную мелодию, отдалённо напоминавшую болеро Равеля.

– Тебе не кажется, – тем же небрежным тоном спросила я, – что он сумасшедший?

– Мирзоев?

– Сильвестров.

– Сильвестров? – она повернулась удивлённо. – Сильвио?

Я молча кивнула. Зина улынулась.

– Да он просто чокнутый! – сказала смеясь.

Я показала глазами на затылок водителя. Зина отмахнулась.

– Приехали! – водитель открыл переднюю дверь.

Мы с Зиной вышли. Перед фасадом скучного бежевого дома, похожего на провинциальную библиотеку, стояли две пушки-зенитки, выкрашенные мышиной краской. Я узнала место сразу, хотя не была тут лет тридцать, наверное, даже больше. Тогда меня привёз сюда дед, его пригласили открывать какую-то тематическую выставку.

– Музей обороны Ленинграда?

Зина кивнула и постучала кулаком в дверь.

Высокий полутёмный вестибюль с широкой мраморной лестницей на второй этаж и портретами маршалов по стенам был заставлен картонными коробками. В таких, со штампами «Не кантовать!», «Хрупко!», перевозят стиральные машины, холодильники и прочую бытовую технику. Под ногами мягко шуршали опилки, пахло мокрой сосной как в лесу после дождя.

Спустились по тесной лестнице в гардероб. Среди пустых вешалок раздевалки висело одинокое пальто. По коридору прошли мимо закрытых дверей – «туалет», «бойлерная» и загадочная «Щ-17». Коридор закончился, мы остановились у железной двери, похожей на вход в бомбоубежище. Зина вдавила кнопку в стене, где-то включился могучий мотор.

– Лифт? – удивилась я. – Куда?

– Туда, – Зина показала глазами под ноги. – В ад.

– Ну уж прямо... – я хмыкнула. – Не надо только драматизировать.

В кабине лифта, обычного лифта – с грязным линолеумом, тусклым плафоном, пятнами от окурков на сером пластике стен, – я даже разглядела выцарапанное матерное ругательство, адресованное неизвестно кому, – мы долго ползли вниз. В двери, в круглом окошке без стекла бесконечно уходила вверх грязная серая стена. Мне нестерпимо захотелось потрогать её, эту стену, ощутить шершавость бетона. Я сунула руки в карманы. Лифт, точно поперхнувшись, остановился.

– Ты поаккуратней с ним, – Зина толкнула дверь. – С Мирзоевым. Редкая сволочь...

Что я ожидала увидеть тут? Подвал, казематы, пыточные камеры – не знаю. Выйдя из лифта, мы очутились в неожиданно большом помещении. Не подвал – настоящий зал. Мне он напомнил железнодорожный вокзал в Вашингтоне. По стенам висели огромные мониторы, светящиеся табло с бегущими цифрами. На гигантском экране светилась развёрнутая карта мира с контурами континентов и пунктиром границ. По карте ползли какие-то огоньки – зелёные и красные.

– Что это? – спросила тихо я. – Центр управления? Байконур? Хьюстон?

Зина ткнула меня в бок. К нам, отделившись от группы военных, бодро направлялся какой-то улыбчивый красавец, похожий на опереточного гусара.

– Катерина Сергевна! – подходя, гусар раскинул руки. – Добро пожаловать! Я – Мирзоев!

Вблизи он оказался постарше, далеко за пятьдесят, с крашеными усами и сочным, омерзительно красным ртом.

– Имейте в виду, – он хохотнул и ухватил меня под локоть, – вы у меня в долгу. Да-да-да! Я уломал Глеба привлечь вас. А то! У нас же целый кастинг имел место – а вы как думали? Кандидаты и кандидатки! Ярмарка тщеславия современной тележурналистики. Журналистики! Ха-ха! Милая Катерина Сергевна, вы уже догадались, где мы находимся? – Армагеддон! – он растопырил пальцы и вскинул руку. – Вот тут!

Звонко топнул ногой в цементный пол. Только сейчас я разглядела его лаковые сапоги на высоком, почти женском каблуке.

– Нервный центр конца света! Да! Мозг страшного суда! Тут! В моих руках! Вот он – «Кулак Сатаны»!

Он сжал кулак, неубедительный розовый кулак евнуха.

– Видишь, вон там, – он неожиданно перешел на «ты» и ткнул в большой экран на стене. – Смотри! Я могу уничтожить любой город! На любом континенте! Просто нажать кнопку – кнопку! Кнопку!!

Операторы продолжали пялиться в свои экраны, никто не поднял головы.

– Нью-Йорк! Лондон! Париж! – Мирзоев торжественно развёл

руки. – Берлин! Анкара! Багдад! Одним движением вот этого пальца я превращу любой из них в пепел! В пустое место!

Я отвернулась. Господи, что за мерзость?! Пошлый кривляка, второсортный имитатор, – я всё это сто раз видела в дешёвых боевиках, слышала эти фразы, пафосные и банальные. Жесты и позы, провинция и драмкружок, неужели такой шут действительно может уничтожить любое государство? Сжечь миллионы людей одним махом? Неужели тысячелетия эволюции, Эйнштейны и Коперники, Гомеры и Канты, Достоевские и Шекспир, вся наша цивилизация уткнулась в это ничтожество в бабских сапогах? Господи, воля твоя, где же твоё достоинство? Где величие и размах? Я понимаю, человечество обгадилось по полной программе, но нельзя же так! Ничтожество, паяц! Не Гитлер и не Сталин, не Наполеон или Чингиз-Хан, – ряженный шут! Гусар из массовки к «Весёлой вдове»!

К нам подошёл серьёзный офицер, обратился к Мирзоеву. Тот рассеянно оглянулся, точно проснувшись, выпучил глаза и заорал на офицера. Он кричал и топал, размахивал кулаками.

Румяный и злой после ругани, он хлопнул в ладоши.

– Вот такой вот коленкор, милая Катерина Сергеевна, – и неожиданно ласково спросил. – Ну что, начнём?

– Начнём что?

– Работать.

Я растерялась, он взглянул мне в лицо.

– Ага... – догадался. – Так Сильвио вам ничего не объяснил? Ладно, не беда, я всё объясню.

Он повёл меня в сторону большого экрана с картой мира.

– Роль у вас простая. Простая, но важная. Очень важная, – перестав паясничать, он говорил нормальным серьёзным голосом. – Ваша репутация, репутация честного репортёра, плюс ваша известность...

– Известность? – я засмеялась.

– Да. Не надо кокетничать. Известность и репутация – вот ваш главный козырь. Наш главный козырь.

– Мы во что играем? В подкидного?

– И чувство юмора, – он нежно погладил мою ладонь. – Вы когда-нибудь задумывались над природой страха? Что такое страх?

– Страх? Самое паскудное чувство на свете. Самое никудыш-

ное... – вспомнила я деда. – Страх... страх – это ответная реакция на угрозу.

– Правильно. Но есть нюанс. Страх основан на инстинкте самосохранения. Страхом мы называем эмоцию, вызванную опасностью – правильно? Реальной опасностью или воображаемой. Ключевое слово – воображаемой. Причём угроза воображаемая гораздо действенной угрозы реальной. Человеческая фантазия безгранична, неведомая угроза парализует сознание, превращаясь в панический, в животный ужас. Вы следите за ходом моей мысли?

Я кивнула.

– Не из гуманизма, – он усмехнулся, – не хочу я нажимать кнопку. Из прагматизма исключительно. Куда бледной реальности тягаться с фантазией человека, с его подсознанием? У них там по чуланам, да по чердакам такого понапрягано, – он постучал пальцем по лбу, – Эдгару Алану По даже и не снилось... Ну спалил тогда Сильвио пол-Чечни, ну и что? Через неделю и забылось. Да и пугать-то, если честно, особо нечем: после удара «двадцаткой» даже руин не остаётся, так – обратная сторона Луны. Камни да пепел. Ни крови, ни трупов...

– Не в подкидного, значит... – я начала понимать.

– Нет, – Мирзоев продолжил. – Скорее, преферанс.

Остановился, тихо, словно боясь посторонних ушей, приблизился ко мне. Даже на каблуках он был ниже меня.

– Мы создали концептуально новое государство. Вы, конечно, можете возразить, что ничего нового нет и быть не может. Отчасти согласен. Да, империя. Да – всё та же старая испытанная модель. Но чем сильна империя? Что делает империю великой? У Александра Македонского была не просто мощная армия, у него была армия концептуально нового типа. Римская империя довела эту идею до абсолюта – тактика и стратегия стали искусством. Захолустную Британию сделал великой её флот. Россия – и царская, и советская – чем мы были сильны? Нашим народом. Нашими людьми. Ни одно мало-мальски цивилизованное государство с таким чарующим безразличием не отправляло на убой миллионные армии своих сограждан. Ни одно! Но именно в этом восхитительном каннибализме и была наша сила.

– А Америка? – спросила я. – Там тоже новая концепция?

– Безусловно! Американцы ближе всех подошли к великой идее. Гениальная нация в оковах посредственности! Ух, мне бы такой народ! Они подкрепили военную мощь финансовым терроризмом. Остроумно, очень остроумно! Но сделать последний шаг им помешало ханжество. Стать поистине величайшей империей Америке не позволило христианство. Сами попали в свой капкан! Не хватило пиндосам цинизма. Религия, задуманная как узда для охлоса, стала помехой. Мораль – вот проблема!

– Ну у вас-то с этим, надеюсь, не возникнет загвоздки.

– Катерина Сергеевна, дорогая, вы полагаете, что обвинением в отсутствии моральных принципов вы меня оскорбили? – он отрицательно покачал головой. – Как раз наоборот! Сияющий пик абсолютной свободы, цитадель звонкой силы – о, да! Хор безумных демонов: Ещё! Ещё! И навеки!

– Только не надо Ницше цитировать, хорошо?

– И не собирался! Старика Фридриха с его алхимией духа оставим в покое. Хотя, во многом он прав. Но вернёмся к истории, если вы не против...

Я была не против. Мирзоев бережно, точно они были приклеены, поправил указательным пальцем усы – один ус, другой. Вздыхнул невесело.

– Тихон Пилепин был ограниченным плебеем, ничтожеством, он так и не сумел выбраться из своей питерской подворотни. Двоечник, прыщавый мастурбатор, до самого конца пытался шантажировать мир... Какое убожество, какая пошлость, прости Господи...

– Мирзоев печально покачал головой. – Но нет худа без добра – двадцать лет его нелепой диктатуры полностью развратили народ. Им даже православие удалось уничтожить. Нравственность перешла в категорию условных ценностей ограниченного употребления. Для Европы и Америки мы официально стали государством без моральных принципов.

– У вас мания величия, Мирзоев, – стараясь говорить спокойно, я скрестила руки на груди. – Западу плевать на Россию. С принципами или без. И сейчас плевать более чем когда либо раньше. Плевать!

Я зачем-то плюнула ему под ноги.

– И вот вы снова правы, дорогая моя, – он наступил на мой плевок сияющим сапогом. – Но именно эту досадную нелепость

мы и постараемся исправить с вашей помощью. И при абсолютном...

Он не закончил, запиликал телефон. Мирзоев достал мобильник.

– Что? – каркнул в трубку. – Да! Немедленно! Да – сюда!

Появилась тройка: крепкий майор в ремнях и с кобурой, круглая тётка с бухгалтерской стрижкой и очкарик. Очкарик нёс камеру, профессиональный камкордер.

– Господин маршал! – майор вытянулся. – Группа в составе...

Мирзоев (ого! – не просто гусар, маршал, усмехнулась я) оставил его, махнув рукой.

– Где текст?

Бухгалтерша протянула несколько листов. Он пролистал, недовольно буркнул:

– Сойдёт, – протянул бумажки мне. – Это примерный текст. Он на русском. Так сказать – общие направления. Напрямую перевести не нужно...

– Я поняла. Информация к размышлению.

Мирзоев хохотнул:

– Во-во! – и добавил с кавказским акцентом. – Дэвушка нэ бэз чувства юмора!

«Русский ядерный арсенал является крупнейшим и наиболее технологичным в мире» – прочла я. – «В составе ракетных войск стратегического назначения на сегодня находится около 300 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет, способных нести более 1000 ядерных боевых блоков, в том числе в боевой готовности находится 45 тяжёлых ракет типа СС...»

Дальше на пол листа шли цифры, перечисление типов ракет, снова цифры.

– Вы это серьёзно? – я повернулась к Мирзоеву. – Вы хотите, чтобы я читала эту белиберду из Википедии в камеру?

Он недовольно посмотрел на меня.

– Ну?

– Вы действительно хотите испугать кого-то этой абракадаброй? Этими цифрами? Никто, никто не знает, что такое РТ-2ПМ2 «Тополь» и всем плевать, что их у вас аж шестьдесят. Да хоть тыща! – я сунула бумаги ему в руки.

– Но профессионалы знают! Военные! – он зло крикнул. – Ваши политики знают! Ваш президент!

Гусар-маршал Мирзоев понимал, что я права, от этого бесился ещё сильнее. Он снова начал орать, с меня переключился на майора. Тот вытянулся, тараща глаза, надул щёки. Казалось, вот-вот лопнет. Я оглянулась. Зина по-прежнему стояла у дверей лифта и наблюдала за нами. Она кивнула мне, так по крайней мере мне показалось.

8

Мирзоеву явно нравилось играть роль режиссёра. Кем он там себя мнил – Хичкоком, Спилбергом, Антониони, – этот маленький маршал в лаковых сапожках? Махнув рукой, звонко крикнул: «Мотор!». Устроился в кресле, скрестив кренделем ноги. Нахмурился и деловито закурил, бережно поглаживая усы указательным пальцем.

Оператор-очкарик включил камеру. Вспыхнул рубиновый глазок.

– Что такое «Кулак Сатаны»? – строго спросила я в мёртвый глаз объектива.

От крупного плана мы перешли к среднему, за моей спиной появились мониторы с флуоресцентными картами, приткими синусоидами и юркими цифрами.

– Я веду репортаж из центра контроля ядерными силами Российской империи (драматическая пауза). Отсюда управляют ракеты, расположенные в шахтах и на транспортёрах, на русских подводных лодках и на секретных базах Венесуэлы и Нигерии. Если вы смотрите меня в Нью-Йорке, то ракета из Капустина Яра до вас домчится за тридцать две минуты. А из Венесуэлы – за восемь минут. Ракета, выпущенная с подводной лодки, взорвётся на Манхэттене через четыре минуты.

Крупный план электронный карты, зум на северо-американский континент.

– За четыре минуты можно успеть заварить себе чай. Но выпить уже не получится.

Крупно восточное побережье, ещё ближе – Нью Йорк, ещё – Манхэттен. Можно разглядеть прямоугольник Центрального парка, строгую геометрию Мидтауна, путаницу Гринвич Виллидж и Сохо.

Я снова в кадре – крупный план.

– «Кулак Сатаны». Ядерный центр России. Удар в любую точку планеты. Что это – ядерный терроризм или неопрагматизм двадцать первого века? Новое тысячелетие – новая мораль. Или отсутствие морали?

Средний план.

– В следующем репортаже я буду говорить с человеком, чей палец лежит на ядерной кнопке. Повелитель Армагеддона – Глеб Сильвестров!

Красный огонёк погас. Я выдохнула. Мирзоев захлопал в ладоши, к нему нерешительно присоединились остальные.

– Монтировать! Немедленно! И в эфир!

Мирзоев энергично встал. Я вытирала руку о джинсы.

– Ваша импровизация насчёт интервью, – он усмехнулся, – с повелителем Армагеддона очень эффектна. Но есть нюансы, которые нам надо обсудить.

9

Меня привезли к Мирзоеву на следующее утро в десять. Сильвестров со свитой был уже там. Вертолёт с золотым двуглавым орлом на фюзеляже стоял на заброшенной детской площадке, пилот в кожанке и белом шарфе жеманно курил, лениво покачиваясь на качелях. Тут же рядом, по мостовой перед входом в музей бродили хмурые автоматчики.

Два охранника спустились со мной, передали у лифта какому-то лысому майору. Появился Мирзоев, нервный, с бритвенным порезом на подбородке, заклеенном обрывком газеты.

– Чудесно! – буркнул он мрачно. – Пошли – Цезарь ждать не любит.

Цезарь сидел в разлапистом конторском кресле. Кресло фальшивой кожи вишнёвого цвета подняли на подиум, сооружённый из деревянных ящиков с чернильными штампами. По кругу стояла личная охрана, семь красавцев-здоровяков в чёрных галифе и высоких кавалерийских сапогах.

Сильвестров, мрачный, с серым лицом, казалось, дремал. За ним сияли синие экраны с картами полушарий, на мониторах появлялись и исчезали какие-то неясные топографические объекты,

спутниковая трансляция неопределённых участков земли. Впрочем, на боковых экранах поменьше ясно угадывались панорамы Лондона, Парижа и Нью-Йорка.

– Где Савушкин? – злобно прошипел Мирзоев, косясь на сонного Сильвестрова.

– Тут! – тихо отозвался толстяк с ликом херувима. – Тут я!

Мирзоев матерно сострил в рифму, тоже вполголоса. Спросил:

– Симулякры готовы?

– По Нью-Йорку тип-топ. Феррари-мазератти ручной сборки! Париж – так себе, три с плюсом. Лондон – лимон полный, сбивка по уровню и цвет фуфлит. Пересчитывать нужно и гамма-слои менять.

– Я тебя, павиан румяный, – шёпотом заорал Мирзоев, вцепившись в купидонову рубашу, – сейчас порву на тряпки! Что-нибудь готово? Можно показывать что-нибудь?!

– Нью-Йорк можно...

Уши у купидона налились пунцовым. Мирзоев вертляво приблизился к подиуму, охрана расступилась.

– Ваше императорское высочество? – позвал он. – Глеб? Ты что, задремал?

– Тут я, – тот приоткрыл мутный глаз. – Что?

– Глеб, у нас там готов ролик. Поглядишь?

Сильвестров сделал неопределённый жест вялой рукой. Мирзоев подал знак Савушкину. Тот начал проворно тюкать по клавиатуре ноутбука. На центральном экране вместо карты появился десктоп с порочной мулаткой в леопардовом купальнике и на мотоцикле. Стрелка курсора заметалась между папок, выбрала одну, нажала.

Возник Нью-Йорк. Панорама Манхэттена с набережной Нью-Джерси – стеклянные дылды небоскрёбов Уолл-стрит, толчая домов поменьше, те, словно кубики, высыпались из коробки и застыли у самой кромки залива. Чуть дальше ажурный Бруклинский мост, ещё дальше – кварталы кирпичного Бруклина. Эти вполне правдоподобно уходили в перспективу и таяли в сизой дымке.

Экран разделился на две части, в правой голубел беспечный Нью-Йорк, в левой из темноты выплыла огромная красная кнопка, которую тут же беспощадно вдавил до упору чей-то решительный палец. На лужайке соснового бора раскрылся люк, из черноты шахты вырвалась стальная ракета. Плюясь рожим пламенем, оставляя

шлейф дыма в облаках, ракета унеслась ввысь. Выскочили рубиновые цифры электронных часов. Нули и семёрки нервно заморгали, ракета уже неслась среди звёзд. Внизу школьным глобусом виднелся бок нашей планеты.

По лицу Сильвестрова трудно было понять, нравится ему кино или нет: сутулясь, он сидел вполоборота, капризно покусывая нижнюю губу. Грузный как мешок с сырым песком, он напоминал тяжеловеса в углу ринга, побитого и смертельно уставшего. На экране лопнуло солнце ядерного взрыва, Манхэттен вспыхнул точно бумажный макет.

Сильвестров приподнял руку, выставил вверх указательный палец. Мирзоев остановил видео, подбежал к креслу.

– Да? – спросил снизу.

– Фуфло, – отчётливо буркнул Сильвестров. – Фуфло всё это.

В подвале стало тихо. Мирзоевская команда замерла, лица застыли – с такими лицами знатоки слушают Вагнера.

– Мне любопытно – это ты меня за идиота держишь, – Сильвио выпрямился в кресле, – или ты сам идиот?

Он не повышал голоса, но даже операторы в дальних углах огромного зала слышали его. Привстав и вытянув шею.

– «Кулак Сатаны», – мрачно сказал он. – Центр управления концом света. Генштаб Армагеддона. Страх и ужас двадцать первого века...

Сильвио замолчал, точно задумался. Откуда-то, из параллельной вселенной, скорее всего, долетела песня – фальшивый женский голос выводил цыганский романс про наш костёр.

– И ты хочешь вот этим мультиком, – Сильвестров ткнул в пустой экран, – напугать весь мир... Вот этой доморощенной анимацией...

Он поднялся, выпрямился. Мирзоев безвольно качнулся вперёд, мне вдруг показалось, что он сейчас припадёт к ногам Сильвио, начнёт целовать его ботинки. А Сильвио пнёт его, оттолкнёт. Ничего этого не случилось, увы.

– У нас всего один шанс. Всего одна попытка. Мы должны так напугать их... так... – Сильвестров сжал кулак. – Мир должен остановиться. В ужасе застыть... Как тогда, в сентябре, когда башни рухнули... Шок! Вот что мне нужно! Шок!!

Брезгливо взглянув на Мирзоева, добавил: – А не мультики, – и, повернувшись к охране, вежливо попросил: – Придушите его. Прямо тут.

Мирзоев замер, его лицо в одно мгновение стало лимонно-жёлтым. Оно не выражало ничего, как гипсовая посмертная маска. Маска мертвеца. Два охранника, деловито и без суеты, принялись душить Мирзоева: один обхватил его сзади и приподнял, другой сдавил горло. Клещи огромных рук смяли шею как тряпку. Мирзоев из лимонного стал пунцовым, даже кисти беспомощных рук налились цветом спелой малины. Экзекуция проходила в полной тишине.

Сильвестров внимательно, с каким-то особенным, почти детским, любопытством вглядывался в лицо задыхающегося.

– Прекратить! – неожиданно звонко гаркнул он.

Охранники отпустили Мирзоева, тот беспомощно рухнул на пол. Открыл глаза и сел. Раскачиваясь будто пьяный, он попытался подняться, но руки подламывались. Ноги тоже не слушались. Он всё пытался и пытался, но только скрёб сапогами по бетону как сломанная заводная игрушка. Сильвестров наблюдал, ухмыляясь чуть брезгливо, но в целом, похоже, благосклонно. Мирзоеву удалось встать на четвереньки.

– Поди, лапуля, сюда, – ласковой рукой поманил его Сильвестров. – Поди-поди, не бойся...

Мирзоев поднялся, шатаясь, пошёл к ящикам. За ним тянулся мокрый след, сзади на штанах Мирзоева расплывалось тёмное пятно.

– Ну вот видишь, – ласково сказал Сильвестров и наклонился. – Видишь? Вот что такое шок. Теперь ты понял, что нам нужно?

Мирзоева качнуло, он ухватился за ногу Сильвио.

– Прости... – просипел он. – Прости, Глеб... Я... я...

– Да уж... Ты... – Сильвио присел на корточки и, будто оправдываясь, сказал. – А то ведь ты, вон – вырядился в малиновый камзол как медведь в цирке, галуны золотые... Ну что это такое, а? Штаны-галифе. Сапоги лаковые... Мультики мне показываешь...

– Прости...

– Да уж...

– Прости!

– Да ладно. Иди уж.

Мирзоев послушно развернулся и пошёл.

– А кто эту анимацию делал? – спросил Сильвио.

Савушкин выполз из-за стола. Сутулясь привстал, поднял руку как школьник.

– Я делал...

– Молодец, – похвалил неожиданно Сильвестров. – Профессионально.

Испуганно улыбаясь, купидон зарделся. Расцветая румянцем, он несколько раз боднул головой, наверное, в знак благодарности.

– Вот что, – продолжил Сильвио. – Слушай внимательно! Вместо Нью-Йорка – остров... допустим, что-то Адриатическое. Греко-итальянское... Лазурное море, белые чайки. Залив, пристань с яхтами. Всё общим планом, панорама, никаких зумов, понимаешь?

Тот боднул головой.

– Идиллия... – Сильвио плавной рукой изобразил идиллию. – Золотистый песок пляжа, нарядные зонтики – цвета неба. Уютные домики под черепицей карабкаются на гору, на макушке древняя крепость – башня с часами, стены в диком винограде, что ещё? Ну, пара кипарисов... Да – ещё вот: не палец на кнопку – пусть кулак давит. Ясно? Вот так!

Сильвестров с размаху саданул кулаком в поручень кресла.

– Вот так...

Он потёр кулак и добавил:

– И чтоб через час ролик был готов! Будем выходить в прямой эфир. Дать анонсы прямо сейчас!

10

Дальнейшее происходило странно, какими-то рывками, словно что-то случилось со временем: одни куски проскакивали спешно, как на перемотке, другие тянулись бесконечно. После команды «мотор!» я начала говорить в камеру, такие вводные я отрабатываю на автопилоте. За оператором стояли мониторы, транслирующие Си-Эн-Эн и Евроньюс, пока они нас не вывели в свой эфир, я могла нести всё что угодно. Я и несла – пересказывала историю прихода Сильвио к власти: покушение на Пилепина и резню в Москве, расстрел Железной гвардии Кантемирова на Красной площади – сул-

тан на белом коне и кровавый фарш на камнях брусчатки стали уже хрестоматийными символами новой России. Напомнила про битву за Москву и бегство, пардон, перенос столицы в Санкт-Петербург.

Краем глаза я следила за экраном с Си-Эн-Эн, там бежала бесконечная красная строка «Сенсация! Мир на пороге ядерной катастрофы! Прямое включение из Санкт-Петербурга». Нью-Йоркская дикторша в беззвучной истерике разевала рот, строка повторялась снова и снова, я продолжала молотить чушь. Моё беспокойство плавно стало переходить в панику. В чём дело? Почему они не выводят нас в прямой эфир? Почему? Я болтаю уже минут десять – почему? Что там происходит?

Вот тут я и заметила, что с момента нашего включения прошло всего полторы минуты. Минута тридцать семь. Следующая секунда, тридцать восьмая, застряла ещё на секунд пятнадцать нормального земного времени. Никого, кроме меня, этот факт, похоже, не волновал, – Сильвестров, тот пока был не в кадре, – стоя чуть в стороне, разглядывал свои ногти, оператор и звукарь продолжали спокойно работать. Что происходит?

– Ядерный терроризм. Мы живём с этим понятием уже четверть века, – рассеянно произнесла я. – Но никогда раньше угроза терроризма не исходила от сверхдержавы. Бывшей сверхдержавы.

В этот момент Си-Эн-Эн вывело нас – я увидела себя на экране. За моей спиной раскрывался гигантский подвал, заставленный столами с компьютерами, мониторами и прочей технической дребеденью. Точно кто-то переоборудовал подземный гараж, колоссальный, как футбольное поле, в офис. Я приблизила микрофон к губам и отчётливо повторила:

– Но никогда раньше угроза терроризма не исходила от сверхдержавы. Я веду свой репортаж из секретного бункера «Кулак Сатаны»...

Вот тут время вдруг понеслось, точнее, поскакало. Рывками, именно так – иногда оно вдруг застревало, начинало дёргаться как плёнка в дрянном кинопроекторе. После нескольких фраз я передала микрофон Сильвестрову. Вопреки моим ожиданиям, он не стал корчить из себя ни дьявола, ни злодея. И английский его был хорош, не хуже моего. Великолепный словарный запас я отметила с завистью.

Сильвио был спокоен, тих, почти трагичен. Как хороший актёр, играющий Шекспира: мне даже показалось, что он ввернул что-то из Гамлета, когда говорил о вселенской несправедливости.

– Большинство из вас думает, что справедливость – это получение того, чего вы хотите, а не того, чего вы заслуживаете. Мы, русские, не исключение.

Улыбка, нет, тень улыбки на грубом и усталом лице. Не на губах – в прищуре глаз. Тяжёлый лоб, бритый череп, мраморный подбородок – последний римский цезарь. Тиран поневоле. Я представила, как он был красив, как был страстен и неистов тогда, в самом начале. От героя к сатрапу – как несправедливо.

– Вся жизнь, от начала и до конца, является несправедливостью. Например, мы должны умереть, – это наиболее несправедливо. Мы делим вещи на справедливые и несправедливые, но какое право мы имеем на это? Вся органическая жизнь основана на несправедливости. Вот к примеру – люди и акулы. Мы можем представить жизнь как независимое хозяйство по разведению акул и людей. Акулы едят людей, и люди едят акул. Что является справедливостью для акулы? А что для людей? Это жизнь.

Я не могла понять, почему он ничего не требует, – ведь в этом смысл шантажа? Тем более, ядерного. Он даже особо не угрожал, его речь напоминала академические рассуждения на общие темы морали, что-то социологическое, почти скучное.

– Что такое ваша справедливость? Справедливость, основанная на западных принципах? Демократия? Свобода? Права личности? – он усмехнулся. – Вряд ли. Вы давно уже променяли свою демократию на комфорт. А свободу – на личную безопасность. Смысл вашей жизни – сама жизнь. Процесс. Жить любой ценой, жить как можно дольше, как можно богаче. Но, главное, жить. Больше всего на свете вы боитесь умереть. Именно тут ваша главная слабость.

Он замолчал, опустил руку в карман пальто.

– Мы, русские, тоже любим жить. Что бы вы там не читали у Толстого и Достоевского. Кстати, все знаковые женские персонажи русской классики похожи как пуговицы из одной коробки: это всё одна и та же Настасья Филипповна – и в «Братьях Карамазовых», и в «Анне Карениной» тоже она, и Катерина из «Грозы». И даже Наташа Ростова, и булгаковская Маргарита – один и тот же психотип –

страстная до безумия, чокнутая, но хитрая, упорная и настойчивая, готовая пожертвовать всем. Даже жизнью. Пожертвовать – но ради чего? Ради любви, а? Нет. Ради великой идеи? Ради вселенского счастья?

Сильвио вдруг повернулся ко мне.

– А вы, Каширская, жизнью бы пожертвовали ради вселенского счастья?

Я растерялась. Он неожиданно сунул микрофон мне в руку. Оператор взял средний план. Я поднесла микрофон, открыла рот и тут время снова застряло. Мне вдруг показалось, да что там, – меня окатило уверенностью: Сильвио знает, что я собираюсь сделать. Знает! Моя левая рука затекла, ладонь налилась горячей тяжестью – я держала её на отлёте, стараясь не размазать фломастер. Я стояла с открытым ртом, парализованная страхом внезапной догадки, и это тянулось и тянулось, похоже, целую вечность. Даже почувствовала, как на спине выступил пот и щекотная капля медленно сползла по позвоночнику вниз и застряла у резинки трусов.

И вот тут я увидела, что Сильвестров вынул из кармана револьвер.

– Справедливость... – Сильвестров подался вперёд, я послушно подставила ему микрофон. – Справедливость по-русски... Чем же отличается наша, русская, справедливость от вашей?

Он неспешно поднял руку с револьвером. Показал пистолет, точно собирался демонстрировать какой-то трюк.

– Фатализмом. Основной компонент нашей справедливости это судьба. Фатум!

Он ловко откинул барабан, вытряхнул на ладонь патроны, похожие на золотые жёлуди. Взял один и вставил обратно, остальные убрал в карман. Щёлкнув, вернул барабан на место. Крутанул о ладонь, стальной механизм маслянисто затрещал-защёлкал.

– Справедливость... – прикрыв глаза, он медленно поднял револьвер и приставил ствол к виску.

Липкое время потекло тягучим сиропом: серый указательный палец с обломанным ногтем сонно начал жать на курок, барабан лениво повернулся и подставил под жало бойка одну из пяти ячеек. Боёк сладострастно цокнул, точно вlepил звонкий поцелуй. Железный чмок угодил в пустую ячейку.

Сильвестров медленно открыл глаза.

– Вот... – проговорил тихо.

Микрофон в моей руке дрожал. Сильвестров взял его, сказал:

– Бог подарил мне жизнь. Бог справедлив. Бог меня, похоже, любит. Теперь мы поглядим, как Он относится к вам. Начнём с журналистки.

Я сразу и не поняла, кого Сильвестров имел в виду. Только когда он поднял пистолет и приставил ствол к моему лбу. Испугаться я не успела, но мне вдруг стало ясно, что случилось с мозгом моей бедной мамы. Короткое замыкание – вот что! Как включённый утюг уронить в воду! Все пробки летят к чертям собачьим – вот что! Горит вся защита, которая предохраняет наше сознание от этого сумасшедшего мира! Мозг остаётся голым! Как яйцо без скорлупы! – вспышка и всё. Темнота.

Кожей, черепом, мозгом я услышала хищный стон стальной пружины внутри револьвера. И тут же курок, спустив пружину, толкнул боёк в ячейку – цок! Пустой металлический звон эхом заметался внутри моей черепной коробки. Пусто!

– Ага! – плотоядно вскричал Сильвио. – И этой повезло! Справедливость!!

Он оскалился, точно собирался укусить кого-то. Оглядел зал.

– Следующий! – крикнул, будто гавкнул. – Ты! Бородатый!

Оператор, бородатый, но лысый, растерянно вытянулся, как солдат. Но тут же, опомнившись, нырнул под стол.

– А справедливость как же? – Сильвестров зарычал. – Тогда – ты! Ты! Иди сюда!

Девица, в которую он целил, завизжала и грохнулась на пол. Началась паника. Люди метались, перепрыгивая через столы и сбивая компьютеры, пытались бежать к выходу. Железные двери оказались закрыты. Там началась свалка. Наш оператор, молодчина, продолжал держать картинку – взял общий план зала, потом перевёл на средний, на Сильвестрова. Среди грохота и криков, тот алчно наблюдал за переполохом, поводя стволом револьвера, точно выискивая цель. Я подала оператору знак – «на меня, крупный план», он развернул камеру.

Сильвестров выпрямился, гордо выставил подбородок.

– Ты слышишь? – он прислушался. – Слышишь?

Я пялилась на ладонь. На грязную кляксу, в которую превратились буквы и цифры.

– Слышишь?

Сквозь крики и грохот пробился стон скрипок. Тихий ноющий звук.

– Летят... – загадочно ухмыляясь, проговорил он.

Мне показалось, что он рехнулся. Или это я чокнулась? Скрипки ныли на одной ноте громче и громче, звук рос и ширился, точно к нам приближался рой голодных цикад.

– Ты знаешь, Каширская, сколько времени летит ракета с Даугавпилсской базы до Питера?

Я смотрела в его глаза. Безумные. Сапфировые глаза василиска. Скрипки уже нагло пилили вовсю, им вторили альты, ещё миг – и мрачно замычали виолончели, с бычьим напором попёрли контрабасы – крещендо! – цикады и валькирии смешались со шмелями и гарпиями, разъярённый Вагнер рвал на куски Римского-Корсакова. Какофонией дирижировал шестирукий Стравинский.

– Три минуты. Сто восемьдесят секунд, – сказал он весело, почти восторженно. – Так что времени, считай, в обрез. Надо все линии завершить, все узелки затянуть – как в хорошей пьесе. Как у Чехова... Чтоб никаких тебе не-до-...

Он не договорил, направил пистолет прямо в объектив камеры и нажал курок. Грохнул выстрел. Оператор, не выпуская камеры из рук, сделал шаг в сторону, эдакий галантный шажок, как в менюэте. После медленно, почти плавно, начал заваливаться назад. Сильвио отбросил револьвер, повернулся ко мне.

– Неужели ты, глупышка, думаешь, я доверю режиссуру заключительного акта моей трагедии какой-то дурёхе вроде тебя? Нет! Конечно же нет!

Он схватил меня за воротник обеими руками. Адский оркестр громыхал, я едва различала слова. К струнным добавились духовые, они ревели, точно бесы дули в эти проклятые трубы.

– И неужели ты думаешь, что я стал бы устраивать весь этот маскарад... Гнусный балаган, подлый дурацкий спектакль... – он уже кричал и плевался мне в лицо. – Если бы... если бы тут хоть что-то работало! Хоть одна пусковая установка! Хоть одна ракета!

Сильвестров оттолкнул меня.

– Хлам! Рухлядь! – он взмахнул руками, картинно, как актёр в греческой трагедии. – Муляж! Стал бы я мультяшные взрывы мастерить, если б у меня была хоть одна настоящая ракета! Хоть одна!

Он сорвал со стены дисплей, выдрал провода и начал, как доской, колотить им по столам. Крушил компьютеры, экраны, стекло и пластик летело брызгами.

– Да – злодей! Тиран! Нерон! Сжечь весь мир – да! Лучшего он не заслуживает! Уходя, так саданул бы дверью, ваша поганая планетка треснула бы к чертовой матери. Пополам!

Сильвестров продолжал орать, но я его уже не слышала. Буйный оркестр подбирался к финалу. Грянула кода – сатанинская кульминация – рёв Ниагары, хохот Везувия, рокот сотни ракетных турбин. Заключительное крещендо. Мой мозг был готов взорваться. Трещала черепная коробка – я слышала этот звук. Я видела это небо – кровавое небо Босха. Серые ангелы с обожжёнными крыльями падали на обугленную землю. Чёрную, мёртвую землю. Грянул заключительный аккорд и...

Валерий Бочков родился в Латвии в семье военного лётчика. Вырос в Москве, на Таганке. Профессиональный художник, более десяти персональных выставок в Европе и США. С 1995 по 2000 год работал креативным директором рекламного агентства (Grey Worldwide в Москве и Нью-Йорке.

С 2000 года живёт и работает в США (недавно из Вашингтона переехал в Вермонт).

Он – автор одиннадцати книг. Лауреат «Русской Премии» за роман «К югу от Вирджинии» (2014). Роман «Харон» стал победителем премии имени Эрнеста Хемингуэя (2016). Сборник рассказов «Брайтон Блюз» получил звание «Книга года» немецкого издательства «Za-Za Verlag» (2013).

Ведущее издательство России «ЭКСМО» с 2015 года выпускает персональную серию Валерия Бочкова «Опасные игры». Его книги постоянно в списке бестселлеров, авторитетные критики включают их в список наиболее интересных книг.

Екатерина САЛМАНОВА

МИСС ВУДКОК ИДЕТ ВА-БАНК

Фрагменты романа

Окончание. Начало в № 3

Кампус был оживлен. Все двигалось, мешалось оттенками черного, бурого, серого цвета: девицы в рейтузах, обтягивающих ягодицы и ляжки, парни в кроссовках и джинсах, приспущенных сзади мешком. Много тучных – и девиц, и парней. «И, вроде, бассейн им предоставлен, и спортзал», – думал Стив, оглядываясь кругом. – «Почему нельзя держать себя в форме?»

Миновав уже знакомый ему Кинг Холл, где он беседовал недавно с Энн Морган, адвокат шагнул наконец под арку нужного корпуса.

От Кинг Холла Беннет разительно отличался полным отсутствием ковров, цветов и зеркал. На стенах тускнели выцветшие объявления. Лифт не работал. Поплутав между аудиториями и слегка оглохнув от гула, Бернстайн оказался в аппендиксе, где находились офисы преподавательского состава. Здесь тяжело пахло разогретой едой со специями, но было тише. Ступив в кабинет Эммы Блум, Стив неожиданно обнаружил у себя под ногами ковер и довольно приличную – особенно по контрасту с нищенской обстановкой аудиторий – мебель.

Возле шкафчика с файлами высокая женщина в коралловых бусах что-то резко выговаривала другой, видимо, своей подчиненной. Под ее раскатистым голосом та никла и ежилась и, когда выговор кончился, в слезах бросилась вон, обдав Стива запахом пачулей.

– Стив Бернстайн, помощник Генерального прокурора. – Он проводил несчастную любопытным взглядом.

– Ах да, – великанша перевела дух. – Мне о вас говорили. Эмма Блум.

Ее пожатие, как и следовало ожидать, оказалось по-мужски крепким.

– Вы знаете, что ваше имя фигурирует в иске, поданном Вудкок против Логана?

Блум растянула губы в любезной улыбке:

– Я в курсе.

– Адвокаты Вудкок утверждают, что та рассказывала вам о домогательствах Кента, и что вы обещали ей в случае необходимости свидетельствовать в ее пользу.

– Это не так.

Бернштейн положил перед Блум копию иска.

– «Дорогая Сьюзи, меня крайне огорчили Ваши признания. Ситуация, подобная той, которая сложилась между Вами и Вашим боссом может привести к самым тяжким последствиям. Не беспокойтесь – то, что Вы мне рассказали, останется между нами». Разве не вы писали?

– Нет, – твердо ответила Блум. – Ничего подобного я не писала. Подделать такое письмо сейчас проще простого. Никой суд его не засчитает – и вам это прекрасно известно.

Бернштейн хмыкнул.

– То есть ни о каких своих проблемах с Кентом Вудкок вам не рассказывала?

– Нет.

– И на условия своего контракта тоже не жаловалась? Не просила помочь?

– С какой стати она стала бы это делать?

– Ну, вы – женщина опытная, знаете Логан с его порядками.

Во взгляде Блум промелькнула насмешка.

– Сью часто жаловалась на нездоровье.

Бернштейн нахмурился.

– И все? По долгу службы вам часто приходилось иметь с Вудкок дело?

– Не очень. Она работала исключительно на Рэя. Поднималась к нам только когда было что-нибудь срочное.

– Скажите, – Стив оглядел стол Блум, на котором царил иде-

альный порядок: даже карандаши лежали параллельно друг другу.
– Почему офис Кента находится здесь, а не в Кинг Холле, как ему и положено?

– Кент не захотел переезжать во «Дворец». Он начинал в Беннете преподавателем и, сменив должность, оставил кабинет за собой.

– Стол Вудкок стоял у него?

– Вы что, не были в кабинете у Рэя? – Блум усмехнулась. – Это прямо под нами, на втором этаже. Пойдите, полюбопытствуйте. Там не то что стол – зонтик негде поставить. Нет, Вудкок посадили в кабинете канцеляристики Мелиссы Диас. Как раз за стеной.

– То есть можно сказать, что Вудкок почти постоянно находилась на глазах у мисс Диас?

– До тех пор, разумеется, пока Мелиссу не перевели в другой кабинет.

– Зачем ее перевели?

– Спросите Мелиссу. Я не очень-то в курсе.

Стиву почему-то трудно было представить, что госпожа Блум может быть в чем-то не в курсе.

– Значит, ни о какой размолвке с Диас Вудкок вам не рассказывала.

– Нет. Повторяю вам – она со мной не откровенничала. Наши отношения были чисто служебными.

– Вам приходилось видеть Вудкок подавленной, угнетенной?

– Она производила впечатление женщины неуравновешенной, но скорее жизнерадостной, бодрой.

– По работе жалоб на нее не поступало?

Эмма сплела руки на плоской груди:

– Я думала, вы лучше осведомлены. Разве Рэй не рассказывал вам об ее опозданиях и прогулах?

– Прогулах?

– Ну да. По несколько раз в неделю. Кстати, я не раз говорила Рэю, что надо ее увольнять.

– Он вас не слушал?

– Надо знать Рэймонда. Это человек мягкий, уступчивый. Любым способом старается избегать конфликтов. С подчиненными старается держаться на равных. Те этим пользуются.

2

– Горелик по-прежнему на конференции, как я вам говорила. – Сара стояла перед Бернштейном в платье цвета салата «айсберг», застегнутом как мундир, под самое горло. – Потом он там читает какие-то лекции. Так что встреча с ним откладывается как минимум до конца месяца. Тем не менее, мне удалось вытребовать у Горелика его переписку с Вудкок. Пришлось отправить ему запрос на вашем личном бланке. Я за вас расписалась.

– Где эти письма?

– У вас в «ящике», я вам их переслала. А вот распечатки. – Она протянула Стиву пачку листов.

– Умница, Сара.

Два или три письма Вудкок Горелику Стив уже видел. Они были в папке, переданной ему Энн Морган; в них истица просила Горелика назначить ей встречу. Эти новые письма были написаны уже после свидания:

«Благодарю, что Вы нашли в себе достаточно сострадания, чтобы меня выслушать. А СКОЛЬКОГО еще я не сумела сказать Вам в лицо... Он вызывал меня к себе в офис, тискал и прижимался ко мне... И каждый раз надевал на дверной замок эту жуткую проводочную петлю, чтобы никто не мог войти и ему помешать... Поверьте, я не прошу никаких действий (эту фразу Стив подчеркнул). Посочувствуйте. Дайте совет. Сегодня я снова говорила с Шэр по телефону (уверена, Вам это имя известно). Она меня поддержала: «Сузи, – сказала она, – Пол Горелик – мудрый человек, я читала все его книги. Он тебе должен помочь».

Обведя красным имя Шэр, Стив поставил рядом вопрос.

«Моя подруга права. Вы – светлая личность, способная понять другого. Это Вам я обязана своим – пусть временным – местом. К тому же, к кому кроме Вас я могу еще обратиться? К той аспирантке, которая застала меня вчера плачущей в женской уборной?..»

О чем же они говорили? Что именно Вудкок поведала в ту среду Горелику?

Стив принялся в который раз перелистывать обвинительное заключение. «Истица рассказала Горелику о нападении на нее Кента в тот день, когда тот предложил подвезти ее до метро.» – Он отогнул

страницу и стал внимательно вчитываться. – «Погода была ужасная, и Вудкок согласилась. Поставив машину у входа в подземку, Кент с силой прижал свой рот к губам Вудкок и проник пальцами ей под юбку. Вудкок сжала колени и попыталась оттолкнуть руку Кента, но тот прижимался к ней всем телом, так что Вудкок, как ни пыталась, не могла освободиться. Она что есть силы дергала за ручку дверцы, которую сумела открыть, только сломав механизм.»

Стив перевернул еще пару страниц. Он больше ничего не подчеркивал, не обводил.

«На следующий день Кент пригласил истицу к себе в офис и, заперев дверь на крючок, велел ей поднять футболку, сопровождая свое приказание словами: «Милая Сузи, ты такая прелесть... дай же мне еще взглянуть на твои груди... Они как будто еще пополнили.»

«В другой раз, пригласив Вудкок в офис под предлогом работы, он заставил ее встать на колени, расстегнул брюки и вставил свой член ей в рот. Ты будешь вознаграждена, – говорил он, сжимая ее голову и принуждая Вудкок к движениям взад и вперед».

«Я сделаю тебе хорошо, – повторял Кент, заперев дверь в офис и пытаясь стянуть с Вудкок трусы». Вудкок отвечала, что не хочет вступать в сексуальные отношения с Кентом, что она застенчива, что его прикосновения ей неприятны. «Ну, тогда покажи мне, как ты кончаешь, – или ты будешь наказана», – угрожал Кент. Против своей воли Вудкок уступала своему начальнику и, лежа на полу, изображала оргазм...»

За стеной включился принтер, и Стив вздрогнул, как если бы на него плеснули холодной водой.

Уф.

«Этот иск можно как роман продавать в секс-шопе», – усмехнулся, остывая мало помалу, Бернстайн. – «На обложке красным пометить: «Рэйтед R», детям до семнадцати читать воспрещается...»

Странно, однако, что и после всего этого Вудкок продолжает принимать предложения Кента ее подвезти. На этот факт надо будет обязательно указать...

Стив взглянул на часы. Восемь.

– Сара, ты не ушла? – громко позвал он, вставая и надевая пиджак.

Ее рабочий день заканчивался в шесть.

По негласному правилу секретарши не покидали офис раньше своих начальников.

Увлечшись, Стив забыл отпустить Сару.

Та сидела за столом и разбирала бумаги.

Бернштейн стянул с вешалки ее плащ – синий, с большими серебряными пуговицами.

– Сара. Я виноват. Давай установим правило – в шесть часов ты берешь сумку или что там у тебя есть, и уходишь. Обещай мне. Да? Да?

Она продолжала заниматься бумагами и как будто не слышала.

– Свой сегодняшний промах я компенсирую. Пойдем ужинать.

– Он присел на корточки рядом с ней. – Сара. Ну позволь мне заглядывать мой недогляд.

Она уступила – молча, легким пожатием плеч.

Они вышли из офиса и оказались под мелко морозящим дождем. Раскрыв зонт, Стив взял Сару под руку, и они добежали до углового «Гриль-бара», где перекусывали обычно служащие их офиса. Вот и сейчас в широком окне они угадали пару знакомых согнутых силуэтов.

Глянув друг на друга, адвокат и его подчиненная нырнули опять под дождь и, пробежав еще полквартала, толкнули дверь маленькой итальянской пиццерии.

Ни одной знакомой физиономии.

Отряхнув зонт, Стив бросил его у входа.

– У меня был здесь с кем-то деловой ланч, когда «Гриль» был полон.

– Все в этом квартале отравлено «деловыми ланчами», – заметила Сара, отряхивая с плаща капли.

– Здесь меньше, чем где-либо. Шика мало.

– По мне в самый раз.

Бумажные клетчатые скатерти вдруг показались Стиву неприятно симпатичными; сложенная из кирпича печь с живым огнем дышала уютом.

– По мне – тоже, – услышал он собственный голос. – И все-же, в следующий раз я приглашу тебя в более презентабельное заведение.

– В следующий раз?

– Естественно. Кто там был в «Гриле», ты не заметила? Грэг и Ник?

- Грэг и Борис.
- Что им там надо так поздно?
- Грэг вообще уходит позже всех. А Борис...
- Что?
- Бедняга в последнее время не отлипает от бара.
- Да-а?

Незаметно между ними устанавливалось нечто вроде сообщества.

Сидя напротив Сары, Стив словно впервые видел ее лицо – точеный нос, удлинённой формы глаза. У нее была манера округлять губы маленькой буквой «о», когда она что-нибудь пристально изучала, – вот как сейчас строчки меню. Тогда губную помаду цвета коррицы прорезывали крошечные вертикальные линии. Стиву доставляло такое удовольствие следить за ее лицом, рассматривать вблизи его черты, что приходилось себя одергивать, чтобы не показаться невежливым, не смутить Сару.

В какой-то момент, когда их глаза неожиданно встретились, он поспешно опустил взгляд.

- Что ты будешь?

Оказалось, они любят одну и ту же пиццу, с риккотой и баклажанами. В пиццерии, Стив это помнил, был также неплохой выбор вин, и он взял бутылку «Бордо» – марку, незнакомую Саре. Вино ей понравилось.

Они оба были голодны и какое-то время ели, перебрасываясь лишь отрывистыми замечаниями.

Наконец он откинулся на спинку стула, ослабил узел галстука «бэйби блю».

– Еще раз – прости меня. А все это чертово дело. Я будто наугад ищущу что-то в мутной воде.

– Разрешите задать вам традиционный вопрос, – улыбнулась она. – Вам легче работать, если вы верите в невиновность своего подзащитного?

– Разрешите дать вам традиционный ответ. Никогда не задумываюсь об этом.

- А Кент?

Он пожал плечами.

- У вас есть его фото? – вдруг спросила Сара.

Стив допил вино и налил себе снова. Достал из портфеля планшетник.

– Вот, он «допустил» меня в свой «Фейсбук».

Сара несколько секунд смотрела на голубоглазое улыбающееся лицо.

– Я тебе еще кое-что покажу.

Стив открыл перед ней голую «Леди Годиву».

– Угадай, кто это?

Сара взяла с противня новый кусок, подхватила ртом сочащийся сыром край.

– Жена графа Леофрика, – проговорила она, жуя.

Стив присвистнул:

– Touché! Откуда ты знаешь?

– Но если хотите более точно – белая потаскунья из Логана.

– Сара!

Он огляделся в смятении, боясь чтобы их никто не услышал. Ведь как назло окажется рядом кто-нибудь из конторы!

– Что? – спросила она с вызывающей невинностью. – Я видела ее карточку у вас на столе.

– Ты хочешь, чтобы у меня был инфаркт?

– Не бойтесь. Нам, ниггерам, все сходит с рук. Вот если бы это вы сказали «черная потаскунья из Логана»...

Она взболтнула воду в стакане. Звякнул лед. Глаза Сары смеялись.

Стив промокнул губы салфеткой.

– Пойдем, – сказал он.

Сара поднялась, глядя ему прямо в зрачки.

...Маленькие обтянутые тканью пуговицы ее платья, их должно было быть сто, не меньше... сколько же времени нужно, чтобы их все расстегнуть?.. С этим платьем ей же приходится вставать за темно, чтобы успеть на работу...

– Сара...

В комнате было полутемно. Свет уличного фонаря проникал сквозь занавеску, ложился на потолок молочно-сизой скошенной полосой. В ней застыли крылья плафона-вентилятора. Рядом на

стуле – его второпях сброшенный костюм, платье Сары, ставшее в сумерках из зеленого сизым.

– Где мы? – спросил он.

– Мы у меня дома, – ответила она шепотом.

Он помнил только, как на гулком, полупустом поезде они доехали до «Боро Холл», а куда после шли, он уже не обращал внимания. Дождь разошелся как следует, и всю дорогу он держал у нее над головой зонт, поглощенный этой задачей, как будто боясь, что дождь нанесет ей какой-то непоправимый вред, что она вдруг растает, исчезнет, и это будет катастрофично.

– Как называется твоя улица?

– Крэнберри Стрит.

– Крэнберри?

– Почему ты смеешься?

– Мне нравится у тебя.

Проведенная с Сарой ночь принесла Стиву удовольствие более сильное, чем что-либо за последнее время, да и, пожалуй, вообще.

В конце недели, отправляясь снова на Крэнберри стрит, он проходя отметил, что не испытывает ни малейшего беспокойства, ни угрызений совести. Где-то на задворках сознания брезжило: когда надо будет, ситуация с Сарой разрулится сама собой. Какой смысл сейчас ломать над всем этим голову?

Теперь, ужиная вместе, они выбирали места подальше от офиса: то, что раньше казалось невинным – ну и что, если коллеги зашли вдвоем перехватить бутерброд? – выглядело в новых обстоятельствах весомой уликой.

Постепенно у них вошло в привычку после ужина бродить по нижней части Манхэттена. Сара хорошо знала город, и Стив всецело полагался на ее выбор пути. Октябрь стоял теплый, погожий, и хотя его работа, включая иск против Логана, в эти дни замедляла темп, Стив не ощущал никакой потребности изменить положение дел.

3

– ...Значит, заявлений у вас было много?

Они с Кентом сидели в крошечном офисе. Дверь была широко раскрыта, но внутрь не доносилось ни звука. В этот предпраздничный день коридоры Беннета были пусты: персонал фаршировал по домам индеек.

– Да так всегда бывает. Стоит только дать подобный анонс... Думаю, заявлений двести мы получили.

– Значит, какой-никакой выбор у вас все же был?

– Это только так кажется, – махнул рукой Кент. – Три четверти резюме – с орфографическими ошибками. Половина – от людей, которые и понятия не имеют о работе в университете: из банков да страховых агентств. Был, как я помню, даже один служащий тюремной регистратуры.

Сидя напротив него, Стив отметил, что Кент не удосужился снять с двери пресловутый крючок, который так и болтался на ручке.

– Сортировать мне помогли Эмма и Тина Дэвидсон, тогда она была еще в форме. Под конец у нас осталось человек десять. Этих вызывали на собеседование, но один не говорил по-английски, другой не разбирался в компьютерах, третий элементарно на телефонный звонок не умел ответить.

– Нанять нужного человека непросто, – согласился Бернстайн.

– Совершенно с вами согласен. А ведь сколько средств задействовано на то, чтобы найти идеального кандидата! Существует целая процедура, вопросник из сорока пунктов.

– И что же? Вудкок вам показалась лучше других?

– Я пытался все как следует вспомнить, как вы и просили... – Кент потер колено. – Понимаете, пара предшествующих кандидатов оказались из рук вон плохи. До этого у меня был отвратительный день: утром секретарша Переса прислала на подпись отчет в Главный офис, крайне безграмотный. Полдня я переписывал эту галиматью. На интервью пришел, когда Вудкок уже сидела у Эммы.

– Каким было ваше первое впечатление?

– Первое? – Кент подумал. – Ну, это чисто внешне, конечно. Обычно женщины приходили строго причесанные, в чем-нибудь

деловом. А тут – рыжие волосы распущены, платице какое-то детское.

– Вас ее вид не смутил?

– Да нет...

– Она была спокойна, взволнована?

– Скорее взволнована. Щеки горели. И еще я заметил эти мелкие оспины...

– Да, я видел на фотографии. О чем же вы говорили?

– Спрашивали в основном Эмма и Тина. У Вудкок был педагогический диплом из «Пенн Стейт». Хотя по специальности она, кажется, никогда не работала. Подрабатывала здесь и там. Одно время была на пособии. Говорила, что это ужасно, что на безработного смотрят как на прокаженного. Кстати, ведь это правда. Якобы родители предлагали ей помощь, но она не хотела ни от кого зависеть. Предпочитала полагаться целиком на себя. Я видел, что Эмме это понравилось.

Бернстайн сверился со своими записями:

– До вас, она, кажется, работала в NYU секретарем, откуда ее «сократили»?

Кент снова кивнул:

– Сью говорила, что была совершенно раздавлена: «я, мол, так люблю университетский воздух». Сказала, что ее начальник страшно себя винил за то, что не сумел ее отстоять. Но тогда в NYU шла волна больших сокращений.

– Больше об обстоятельствах увольнения она ничего не рассказывала?

– Нет. Да и времени не было пускаться в детали – нам же надо было пройти с ней по вопроснику, пункт за пунктом.

– То есть?

– Ну, например, предложить ей написать под диктовку. Она удивилась, по-моему, но написала – не сделав, заметьте, ни единой ошибки. Потом Блум предложила ей ответить на воображаемый телефонный звонок. Вудкок еще тогда рассмеялась: «Я знаю... Нельзя говорить «его нет». Нужно – «он только что вышел и скоро вернется». Мне понравилась ее естественность. Почудилось в ней нечто освежающее. – Кент пытливо посмотрел на Бернстайна, словно пытаясь удостовериться, что тот не только понимает, но и разделяет

его отношение. – Кроме того, у нее была хорошая, правильная речь. После того как я все утро провел, исправляя бюрократическую та-рабарщину... вы понимаете?

– Да, доктор. Продолжайте. Значит, по сути, вы в тот же вечер сделали выбор?

– После интервью мы вышли вместе с ней в коридор. Я куда-то спешил, оставил Эмму и Тину обсуждать результаты. Сью спросила меня: «Я провалилась?» Она казалась такой беззащитной, хрупкой. «Не говорите, я знаю. Я не получу это место.» В глазах – слезы. Мне захотелось ее обнадежить. Кажется, я сказал: «Уверен, что мы сра-ботаемся».

– Ясно. – Стив захлопнул блокнот. – На сегодня все. Не хочу вас больше задерживать. Тем более, что вы, кажется, говорили, что вечером уезжаете.

– Да, – Рэй поднялся, пожал адвокату руку. – Едем с женой и дочерью в Мейн на уикенд.

– В тот коттедж на фото?

– В тот самый.

– Собственность на берегу – это неплохо, – одобрил Бернстайн.

– Он только на четверть наш, – поспешно, словно оправдыва-ясь, ответил Кент. – Дачу строили четыре брата, мой отец – млад-ший. Так что там вся родня соберется. А вы? Остаетесь в Нью-Йорке?

– Нет, – ответил Бернстайн. – Я – в Вермонт, к родителям. А жена у своих, в Филадельфии.

4

Кент взглянул на часы. Было время обеда, и он, не доезжая до Логана, завернул в первый попавшийся дайнер. Устроившись у окна, принялся жевать резиновый бифштекс, запивая его жидким кофе.

Раскрыл «Мак».

«В первые месяцы Вудкок работала очень старательно,» – пе-речитал он написанное накануне. – «Отвечала на звонки, взяла на себя значительную часть текучки. Привела в порядок мое рабочее место.»

Кент вдруг увидел так ясно, словно это было вчера: взобрав-

шись на стремянку в юбке, похожей на балетную пачку, Сью двигает пыльные тома, трет, сваливает в мусорные мешки пожелтевшие папки. Вот она оступилась; он поддержал ее за веснушчатый локоть:

– Хватит, Сью, отдохните.

– Нет-нет, здесь же нельзя дышать. Я специально принесла из дома тряпки. Не думайте, я не боюсь черной работы. И вообще, не думайте ни о чем...

Кент провел ладонью по лбу, словно стирая то ли пот, то ли невидимую пленку.

«Ее стиль одежды и некоторые манеры казались мне несоответствующими атмосфере учебного заведения, но делать ей замечания при ее усердии мне не представлялось корректным.»

Писать Бернстайну о том, как болезненно она реагировала на любую, самую ничтожную критику? Как легко можно было довести ее до слез? Стычки с Мелиссой были тому ежедневным примером. «Этой девчонке просто нравится меня унижать,» – жаловалась Сью Рэю, блестя глазами. – «Она явно меня к вам ревнует. Выговаривает, поправляет – и то я не так делаю, и это. Сегодня отчитала меня перед Роми Моретти. Выставить меня идиоткой перед молодым парнем! Конечно, я многого еще не знаю, но когда мне было успеть научиться?»

От женского плача Рэй деревенел, слова улетучивались у него из головы. И все же он как мог ее успокаивал: все у вас получается, не принимайте так близко к сердцу. Пару раз даже вступался за свою ассистентку: «Не так резко, Мелисса, побольше такта. И вообще – я сам Сьюзан всему обучу.»

Да и не он один закрывал глаза на «маленькие странности» Сью. Даже Эмма взяла ее под крыло. Все поголовно были без ума от мисс Вудкок.

Поставив локти на стол, Рэй сжал переносицу большим и указательным пальцем.

А о том, как ей в первый раз задержали зарплату, тоже писать? А все из-за этой неразберихи в ведомостях, этих двух ставок. У Рэя неприятно засосало под ложечкой, когда он вспомнил, как, старясь держаться как можно непринужденнее, на следующее утро он протянул Сью три сотенные бумажки:

– Мы свои люди. Возьмите.

– Как это ужасно, – пробормотала она. – Но у меня действи-

тельно совершенно нет денег. Нет, я ни за что не взяла бы, если бы ни отчаянная ситуация, в которой я оказалась. Эти медицинские счета, меня похоронят под ними. Я ведь очень больна, Рэй...

«Да, надо изложить все это четко Бернстайну», – думал Кент, вновь принимаясь писать. «Я чувствовал себя в ответе, вот и предложил деньги. Других причин не было. Не было. Тем более, что через две недели она этот долг вернула. «Где доказательства?» – естественно, спросит Бернстайн. А какие могут быть доказательства? Деньги перешли из рук в руки, туда и обратно. И все».

Писать ли Бернстайну также о том букете, с которым она явилась? Никто никогда не носил в офис цветов. И про кофепития допоздна? Про них тоже писать? И про разговоры?

Он открыл файл с собранными для Бернстайна письмами – своими и Вудкок.

Вернувшись домой из Логана поздно вечером, он застал Крис у себя в кабинете.

– Что ты здесь делаешь?

Не раздеваясь, Рэй зажег верхний свет.

Крис обернулась. Ее ничего не выражающее лицо было пепельно-серым.

– Читаю твою личную переписку. Мой компьютер завис. Я не искала ее специально. Файл был раскрыт.

Рэй покраснел, отвел взгляд.

– Мне нечего от тебя скрывать. Бернстайн попросил меня собрать для него эти письма. Особенно те, где Вудкок благодарит меня за то и за это.

Молчание.

– Ты ей одалживал денег? И ничего мне не говорил?

Рэй потянулся было к экрану, чтобы его «погасить», но не стал.

5

«Из показаний истицы, мисс Сьюзан Вудкок:

«Мы находились в офисе, Мелисса Диас и я. Я работала за компьютером, когда вошел доктор Кент. Наклонившись к экрану, он громко прошептал: “жирная гусыня, шлюха”. Мисс Диас в этот мо-

мент, очевидно, витала в облаках, поскольку утверждает, что ничего такого не слышала.»

Стив Бернстайн знал теперь кампус Логана как свои пять пальцев. Парковка, направо Кинг Холл. Новая химическая лаборатория, библиотека, спортзал. Проходя мимо студенческого кафетерия, Помощник прокурора резко остановился. Кто это там за столиком у широкого, во всю стену, окна? Пирамида темных волос, покатые плечи. На пышной груди – «елочный дождь» цепочек.

Бернстайн толкнул стеклянную дверь.

Мелисса вздрогнула, опустила сэндвич.

– Доброе утро.

– Вы, наверное, меня не помните? – Стив лучился приветливостью.

– Нет, почему же.

– Не возражаете, если я присяду на пару минут?

Не дожидаясь ответа, Стив налил в стакан жидкой бурды, которую студентам выдавали за кофе, и уселся напротив.

– Да вы ешьте, пожалуйста. Хороший у вас тут кафетерий?

Мисс Диас пожала плечами:

– Студенческий.

– Вы что же? Умудряетесь еще и учиться?

Мелисса покосилась на раскрытый «гроссбух».

– Пытаюсь. Экзамены скоро. Ох, боюсь, завалю.

Вид у нее был не выспавшийся.

– Что, трудно?

Секретарша кивнула.

– Мисс Диас, раз уж я вас тут встретил, уделите мне пять минут. – Он достал из кейса листок. – Доктор Кент переслал мне письмо – взгляните.

Мелисса бросила взгляд и нахмурилась.

– Вы пишете: «Доктор Кент, хочу вас предупредить. Когда вас нет в офисе, Вудкок исчезает. В пятницу она вообще не пришла. Когда я спросила ее, почему, она ответила, что это не мое дело и чтобы я заткнулась. Она также часто использует телефон в личных целях.»

– Стив поднял голову. – Все это, разумеется, правда?

Нарисованные брови приподнялись:

– Зачем бы я стала врать?

– Эти личные переговоры... У вас нет ни малейшего представления – с кем?

– Ну, почему... – Мелисса презрительно выгнула губы. – Называла, например, Роми Моретти.

– Моретти?

– Лектору из Милана, который у нас на практике. Временно «Возрождение» преподает. Сью говорила, что он похож на парня с реклам «Армани». Мужская одежда, духи.

– Одеколон?

– Ну да. Небритый такой. У Сью от него слюнки текли.

– Ну, с небритым Моретти все ясно. А с кем еще беседовала Вудкок?

– Не знаю... Договаривалась о каких-то встречах. Потом... – Мелисса понизила голос. – Она у кого-то «витамины» просила.

– Какие еще витамины?

– Вы знаете. Эфедрин, амфетамин. «Джеф, – говорит, – вчера шмон устроил и все из аптечки выкинул, так что срочно тащи. А пузырь, мол, оставишь как всегда в стиральной машине.» У них стиральные машины были в подвале дома, в общей прачечной.

Стив быстро записывал, старясь не упустить ни детали.

– Когда Сью поняла, что я все слышала, разоралась. А я, знаете, чужих разговоров не подслушиваю. Просто объявление вешала в коридоре.

– Ну, разумеется, нет. И после этого вы написали Рэю? Почему предпочли письмо разговору?

– О Господи, я не знаю. Может, боялась, что она нас подкараулит. Да только Сью все равно узнала. Зажала меня в углу, физиономия перекошена: глаза, говорит, тебе выцарапаю, сучке, чтобы кляузы неповадно было строчить.

– Откуда Вудкок могла узнать о вашем письме Кенту?

– Не знаю. Рэю она сказала, что кто-то подбросил ей копию в сумку.

– Подбросил? Кто?

– Аноним.

– Какой еще аноним?

– Говорю вам, не знаю! Я всегда слежу, чтобы никто в мою почту не влез. Примчалась к доктору Кенту, в слезах умоляла, чтобы он

не верил ни одному моему слову. Клялась, что я на ее наговариваю. Будто на работе она от звонка до звонка, в общем, чиста как овечка.

– Что было дальше?

– А дальше, – Мелисса подняла на Стива глаза с синими веками. – Дальше мне стали приходиться и-мейлы с угрозами. С какого-то неизвестного мне аккаунта – «ssk22» или что-то вроде. Убью, мол, и никто ничего не докажет. Но я-то знала, что это она. А потом у меня вещи пропали. Браслет дутый и пуховик.

– Вы заявили?

– Естественно.

– И что?

– Ничего. Как всегда у нас. Разослали «сигнал» по кампусу. Орудует, мол, вор. Запирайте, когда выходите, двери. У них и текст заготовлен для таких случаев. Вот и все.

– Поэтому вы и попросили, чтобы вас перевели в другое крыло? Подальше от Вудкок?

Мелисса кивнула.

– Мисс Диас. – Стив придвинулся ближе к столу. – У вас сохранились эти письма с угрозами? Где-нибудь? В каких-нибудь файлах?

Мелисса покачала головой.

– Незадолго до того как Сью ушла, у меня что-то случилось к компьютером. Диск полетел. Все пропало. Мне еще тогда это показалось странным, такое внезапное совпадение.

Стив мысленно чертыхнулся.

– Думаю... – Мелисса отодвинула тарелку с недоеденным сэндвичем. – Эти письма могли сохраниться в общей системе.

– В какой системе? – занесенный над блокнотом карандаш Бернстайна застыл.

– Есть в Логане такая система... Туда автоматически попадают все письма, отправленные на служебные адреса.

– Все?

– Все. Если хотите, я запрошу вам доступ в ИТ. Мистер Бернстайн...

– Да?

Стив уже складывал бумаги в бриф-кейс.

– У доктора Кента какие-нибудь неприятности?

Стив защелкнул замок.

– Скажите, мисс Диас, вы когда-нибудь слышали, чтобы доктор Кент называл Вудкок «жирной гусыней»?

6

На экране перед Бернстайном был раскрыт файл с письмом Вудкок:

«С содроганием думаю о том, что Вам пришлось тащить меня как тряпичную куклу в машину, везти, бесчувственную... Рэй, мне хочется вас расцеловать, похлопать дружески по спине (ах, я несучепуху от стыда). Людей с таким благородным сердцем как Ваше, я никогда не встречала.»

Стив скопировал последнюю фразу Вудкок в «Заключение». Через день должно было состояться предварительное слушание дела. Ему по-прежнему не хватало фактов, по-прежнему преследовало ощущение, что он шарит наугад в мутной воде, упуская что-то самое главное.

«Вымолить Ваше прощение – со вчерашнего дня я не думаю ни о чем другом,» – писала дальше начальнику Вудкок. – «Поверьте: все, что было – лишь результат того кошмара, который мне пришлось пережить. «Какого?» – спросите Вы. Так вот: вчера я узнала, что у меня – неизлечимая стадия рака. Да-да. Заключение врача не оставляет ни малейших сомнений. Я испугалась. Даже Сью Вудкок оказалось не под силу принять, не дрогнув, известие о скорой смерти. Вините ее, если хотите...

От врача я поехала в офис. Я знала, что работы у Вас как всегда непечатый край и не хотела Вас подводить. Голова и все тело болели так, что я выпила вместо одной две таблетки роксиприна. (Вы знаете, что с тех пор как в меня плеснули кислотой, боль – моя неизменная спутница. Кроме того, у меня повреждено несколько позвонков: последствия неудачного «сальто-мортале». Все, что могут делать врачи – это прописывать мне все более сильные анальгетики.)

Мне нужно было любой ценой заглушить страх, притупить мысли. Я больше не понимала различия между душевной и физической болью. Все мешалось. Да, выйдя из метро, я купила бутылку. Я думала, что алкоголь мне поможет, но не учла, что помноженный на

обезболивающее он произведет тот убийственный эффект, свидетелем которого вы явились. Едва оказавшись в офисе, я почувствовала слабость и тошноту. Моя речь стала нечленораздельной. Меня сковал ужас. Не помню как я оказалась на полу... Меня развезло от ЕДИНСТВЕННОГО глотка.

Что ж, это был хороший урок. Теперь – принимать только то и так, как предписано. Даже когда боль – душевная и физическая – невыносима. Забыть о спиртном. Терпеть».

«Обнаруженная в тот день в сумке истицы бутылка была наполовину пуста», – продолжал Стив быстро набрасывать «Заключение». – «Таким образом, заявление Вудкок о «единственном глотке» не выдерживает никакой критики. Кроме того, из письма истицы доктору Кенту со всей очевидностью следует, что алкоголь покупала она сама, а не получала от своего начальника, и что употребляла его по собственной инициативе, а не вынуждаемая к этому Кентом».

Стив вернулся к письму.

«В тот вечер дежурил Хорхе – мой любимый привратник,» – продолжала Вудкок. – «Он подбежал, подставил мне стул. Все это, впрочем, я узнала лишь позже, поскольку была в полубреду. Под утро, придя немного в себя, я испытала мучительную смесь благодарности, страха, стыда.

...Что мне делать с остатком неудавшейся жизни? Как прожить те несколько месяцев, что у меня еще есть? Кто мне подскажет? Вы, Рэй?..»

Ощущение, что он читает дурного сорта эпистолярный роман, возникшее у него по дороге из Филадельфии, не оставляло Стива.

Он сверил даты – под предлогом своего «недомогания» Вудкок пропустила всю следующую неделю:

«У меня жуткая слабость. Не могу встать с постели. Если бы Вы знали, как мне хочется в офис, вернуться к нашим делам».

«Истица, похоже, не стремится избегать встреч со своим «мучителем», наоборот, ищет их».

«Эта передозировка едва не стоила мне жизни. Я похудела на пять кило. Жила на одном чае и НИКАКОЙ еды – целых шесть дней».

«Истица явно преувеличивает, желая вызвать к себе сострадание».

«Сегодня мой жених уезжает – увы, его деловую командировку нельзя отменить. Бедный Джеф – как он боится оставить меня одну! Квартира запущена, нужно СТОЛЬКО сделать... К счастью, вечером придет наш рабочий-ремонтник. Это близкий нам человек, так что я, как никак, под присмотром...»

– Сара! – позвал со своего места Бернстайн. – Сара! Смотри, здесь в конце письма есть постскрипtum.

Сара быстро вошла, склонилась к экрану.

– «P.S. Упс! Я, кажется, отправила письмо с Вашего собственного аккаунта», – вслух прочитала она. – «Как глупо».

– Ты видишь? Странно, что я раньше этого не заметил.

Губы Сары округлились – она размышляла.

– Значит, у Вудкок был доступ к частному «почтовому ящику» Рэя? Значит, она действительно могла в любой момент «залезть» в его почту?

– Рэймонд не лгал.

Сара выпрямилась.

– Но ведь это значит, что и письма с угрозами и требованиями секса Вудкок писала себе сама и отправляла «из ящика» Кента.

– Пять с плюсом. И письмо Мелиссы, где та сообщает Рэймонду о ее прогулах и странных звонках, Вудкок обнаружила, роясь в почте у Рэя.

– Сама распечатала, сама сунула к себе в сумку и свалила все на какого-то «анонима».

– Все это только предположения, – проворчал Бернстайн. – На предположениях далеко не уедешь.

Сара ладонями сжала его виски. Она смотрела на него с такой нежностью, что Стив не выдержал:

– Что, Сара? Что?

– Ничего. Ты выиграешь это дело. Слышишь? – Она отпустила его так же порывисто как обняла.

7

– «Истица заявила Горелику, что в половую связь с доктором Кентом вступила по собственному желанию и поэтому подавать жалобу на своего начальника не считает нужным.»

Из-за спины Сары Стив скользнул взглядом по экрану.

– «Горелик, тем не менее, настойчиво рекомендовал, чтобы Вудкок о своих отношениях с Кентом поставила в известность ОК.» Написала? Теперь с новой строки. «Господин Санчес изъявил готовность встретиться с Вудкок и ее выслушать. Истица с неохотой явилась, но продолжала настаивать, что интимная связь между ней и Кентом существовала по взаимному соглашению. Санчес провел с истицей подробный инструктаж, объяснив к кому и как ей следует обратиться, если она все же решит подавать официальную жалобу.»

Сара перестала печатать и подняла на Бернштейна глаза.

– Ты думаешь, у нее и правда был с Кентом роман?

– Роман? – Недовольный, что его прервали, Стив вынул сигарету из пачки. – Да какая нам разница?

– Нет... но все же.

– «Но все же?» – Он достал зажигалку, но вовремя вспомнил о детекторе дыма над дверью. – Хорошо, объясню. Никакого романа не было. Думаю, Вудкок была готова спать с Рэем – ради ставки и всяких поблажек. Но Рэй – трудоголик, человек «не от мира сего» – решительно не соображал, куда она клонит. Мелисса Диас вообще говорит, что Вудкок под градусом спрашивала ее, «не импотент ли их босс». Мол, только и способен, что потреть по плечу.

– Диас, мне кажется, можно верить.

– Можно, нельзя – не суть. Важно другое: обещанной ставки нет, выбить ее Рэй не может. Вудкок теряет терпение. Входит в контакт с «Алиано и Слейдом». Мелисса слышит их телефонные переговоры. Не понимая их смысла, тем не менее, жалуется Кенту о том, что Вудкок «использует телефон в личных целях».

– После чего у Мелиссы пропадают браслет и куртка.

Бернштейн кивнул:

– Очевидная месть. «Алиано и Слейд» советуют Вудкок хорошенько подготовить почву для предстоящего иска. Та все выполняет: «по секрету» рассказывает о домогательствах Кента нескольким сотрудникам Логана. Начинает с Блум, с которой к этому времени у нее уже весьма доверительные отношения. Эмма сочувствует, но как и в случае с Кристиной ван Грабе, ничего не предпринимает. Предпочитает не портить ни с кем отношений. Выжидает, куда повер-

нется дело. Именно это Вудкок и надо. Эмма первой попадает в список тех «кто знал, но бездействовал». На очереди Горелик. От Эммы Вудкок знает о его старой обиде на Кента и поэтому рассчитывает на его поддержку. Полагая, что Горелик в Логане «шишка», Вудкок надеется, что тот сможет ускорить ее устройство. На этот счет, однако, она ошибается. Вместо того, чтобы лично вмешаться, Горелик настаивает, чтобы Вудкок подала на Кента официальную жалобу. Ему хочется увидеть Рэя замешанным в скабресный скандал. Он даже грозит, что отправится к Санчесу сам. Это в интересы Вудкок никак не входит. Она меняет тактику – начинает утверждать, что с Кентом у нее был роман – словом, несет всякую околесицу. С Санчесом Вудкок ведет себя точно так же – настаивает на том, что «со всем справится», умоляет не переводить ее на другую кафедру и вообще держать дело в секрете. Во-первых, у нее есть еще слабая надежда, что Рэй выбьет ей ставку. Во-вторых, ей никак нельзя допустить, чтобы в Логане всерьез взялись за расследование ее жалоб: тогда исчезнет повод для иска.

Сара, внимательно слушавшая его, едва заметно вздохнула.

– Возможно, Вудкок хотела бы, чтобы роман с Кентом действительно состоялся.

– А ты у меня романтик, – Стив усмехнулся. – Не обольщайся. Ставка – вот все, что ей от него нужно.

Сделав пометку в календаре, Сара протянула ему желтоватое фото, взятое из полицейского файла: фас, профиль.

– Держи.

– Кто это?

– Ssk22. Киркук, наш «аптекарь». Поставщик «витаминов», рабочий-ремонтник по совместительству. По словам Вудкок, близкий ей человек.

С фото на Стива смотрело плосконосое лицо с низким лбом и узкими масляными глазами.

– Как же ты на него вышла?

– Чистый случай, везение. Киркук проходит по делу недавно раскрытой банды Диего Моралеса и Джошуа Берри по кличке Енот.

– Молодец, Сара.

Чуть позже, сидя с ней рядом в машине, Стив положил руку ей на обтянутое темным чулком колено:

– Как мне повезло, что у меня в этом деле такой помощник. Она улыбнулась уголком губ и вырулила на Бродвей.

«По счастью в тот вечер дежурил Хорхе, мой любимый привратник...»

Бернштейн сунул швейцару удостоверение прокуратуры:

– Мне нужна информация относительно одной из ваших личек.

Табличка на лацкане тускло блеснула.

– Мне из вашей конторы уже звонили.

– Тем лучше. Скажите, как часто вам приходится видеть мисс Вудкок в состоянии алкогольного опьянения?

Хорхе стрельнул глазами на Сару.

– Мы частных сведений о жильцах не даем.

– Хорхе, милый, это чертовски важно! – проворковала та, понижая голос. – Пару месяцев назад Вудкок привезли сюда на машине. Такой худощавый человек, прихрамывает на левую ногу. С ним еще была женщина-блондинка. Ты не можешь не помнить. Вудкок тогда выпила, ты стул ей подставил. Повел себя как мужчина!

– Вы что, хотите, чтобы меня с работы погнали? – жалобно всплеснул руками Хорхе. – У меня же инструкции...

– Инструкции? – Бернштейн вынул из портфеля фото Киркука: – А это лицо вам знакомо?

– Всех не упомнишь...

– Не заходил этот человек к Вудкок?

– Может, и заходил.

– То есть, вы его видели?

– Видел? Нет, друг. Я этого не говорил.

– Хорхе, – проворковала Сара, облакачиваясь на стойку и снова подвигая к нему фотографию. – Взгляни еще раз. Ну? Заходил или нет?

– Да я бы рад вам помочь! – Хорхе хлопнул себя ладонью по блестящему лацкану. – Да ничем не могу.

Говоря, он как-то нервно скосил взгляд направо, в сторону лифта. Стив обернулся.

Оттуда к дверям направлялась, мягко ступая, женщина в мини-юбке и красных «балетках». Рыжие волосы падали ниже пояса. Бернштейн подтолкнул Сару:

– Смотри. Леди Годива.

Вудкок пересекла холл, скользнула рассеянным взглядом, кокетливо улыбнулась Хорхе. Дверь-вертушка сделала круг – в холл пахнуло сладким удушливым ароматом.

– Пошли! – Сара потянула Стива за рукав. – Быстро, пошли.

– Куда?

Он едва успел защелкнуть портфель.

На улице они увидели, как Вудкок поворачивает за угол в нескольких футах от них.

– Скорей, скорей, – торопила Бернстайна Сара.

– Да куда ты?!

Повернув, они резко сбавили скорость. Теперь фигура Вудкок маячила шагах в двадцати впереди. Она шла, держась подчеркнута прямо. Оборки на юбке резво подпрыгивали в такт шагам. Стив и Сара следовали за ней, стараясь не сокращать разделявшее их расстояние, но и не потерять Вудкок из вида.

– Можешь мне объяснить, что мы делаем?

– Пока нет...

«Если она обернется, то вспомнит, что видела нас только что в холле, – нервно подумал Стив. – Что за глупость...»

Вудкок, однако, шла не оглядываясь, только раз притормозила у ювелирной витрины. Миновав пару кварталов по Амстердам Авеню, она опять повернула. На углу 95-ой резко остановилась. Достала из рюкзака пудреницу. Глянув в зеркальце, толкнула дубовую дверь с тяжелыми металлическими скобами.

Войдя в бар, Вудкок напрямик направилась к стойке. Скользя вслед за ней, Стив с Сарой увидели, как навстречу Вудкок поднялся с табурета мужчина в лоснящемся сером костюме. Не долго думая, Вудкок повисла у «костюма» на шее.

– Ты что?! – накинулась на Стива Сара, когда тот, развернувшись, резко вытолкнул ее обратно на улицу. – Почему?..

– Не хватало еще, чтобы этот тип меня узнал!

– Кто узнал?

– Это же Алиано!

– Алиано?!

– Он самый. Мы виделись на предварительном слушании. Все, довольно. Пошли.

Наморщив лоб, Сара что-то напряженно соображала.

– Стой здесь.

– Сара!

Она приложила палец к губам и снова исчезла за кованой дверью.

Все произошло так стремительно, что Стив не успел опомниться. Куда ее понесло?

Профланировал взад-вперед по тротуару. Закурил. Перешел на другую сторону улицы.

Нет, Сара сошла с ума. Что за дурь, какие-то детские игры!

Стив нетерпеливо прошелся вдоль здания до угла, повернул обратно. Без четверти три. Через пятнадцать минут у него встреча с Сэмом: начальник ждет его для отчета.

Около трех тяжелая дверь отворилась.

Щурясь на дневной свет, на пороге появилась Вудкок. Сделав пару шатких шагов, остановилась, словно не уверенная, куда ей направиться. Возникший следом за ней Алиано поддержал свою клиентку за локоть. Та сделала попытку снова его обнять, но Алиано разжал ее руки и что-то с нажимом проговорил. Затем резко направился через улицу, так что Стиву, чтобы избежать с ним встречи, пришлось нырнуть в грязный газетный киоск. Через окно он видел, как Алиано садится в припаркованный «BMW».

Едва Вудкок скрылась из вида, Бернстайн ринулся в бар.

– Что за дурацкие выходки! Ты осознаешь, как это было опасно?!

– Ну надо же во всем разобраться, – оправдывалась она.

– И удалось?

Он шагал так быстро, что Сара едва поспевала за ним.

– Слушай. Вудкок жаловалась, что у нее нет денег. Плакала. Спрашивала, почему Алиано не хочет пойти к ней... ведь раньше, мол, они так прекрасно ладили. Ты понимаешь? Говорила: что, если дело провалится, что тогда? Он, мол, ей обещал: если она сделает так-то и так-то, то все получится, – договаривала она, тяжело дыша и заводя мотор. – Ты был прав. Это сговор.

Екатерина Салманова родилась в Санкт-Петербурге, закончила Литературный Институт им. Горького. После переезда в Америку работала переводчиком, преподавала русский язык и литературу в системе CUNY.

Автор сборника повестей и рассказов «Белый шарик» (СПб., 2007 г.), а также многочисленных очерков и новелл, выходивших в разные годы в периодических изданиях Санкт-Петербурга и Нью-Йорка (журналы «Нева», «Новый журнал», «Слово/Word» и др.).

Борис САНДЛЕР

ХУДОЖНИК И РЕЗНИК

1

Издали окошко напоминало знаменитый «Черный квадрат» Малевича. Чернота делала его глубоким и таинственным, как это свойственно тьме. Окошко влекло к себе в солнечный день, как влечет светлый огонек в темную ночь.

Квадратное, оно было вырублено в деревянной, побеленной снизу доверху будке. Точнее, это была не просто будка, воткнутая во дворе между глинобитными развалюхами, а птицерезка.

С правой стороны, на гвозде висела картонная вывеска, на которой большими неровными русскими буквами были указаны цены за работу:

Курка – 10 коп.

Качка – 15 коп.

Гуска – 20 коп.

Индюк – 25 коп.

Днем к будке прямо с рынка приходили еврейские хозяйки с тяжелыми корзинами в обеих руках. Они доставали из корзин птицу со связанными ногами и подносили ее к окошку. Тогда из черной глубины, как из норы, высовывались две широкие ладони с растопыренными тощими пальцами, похожими на разинутую пасть хищного зверя. Несчастное создание еще пыталось сопротивляться, поднимало свой птичий гвалт, но в мгновение ока оказывалось втянутым в недра будки.

Резник Шмуэль хорошо знал свое дело: для начала он зажимал жертве крылья и, держа ее вверх ногами, другой рукой брал птицу за голову, которая все еще рвалась вверх, беспомощно квохча, умоляя о пощаде и захлебываясь в хрипе. Шмуэль проворно хватал птицу за клюв и двумя пальцами тянул к руке, державшей крылья. Шея

птицы слабо изгибалась, поддаваясь уверенному движению резника. Выдернув из шеи несколько перьев, там, где нужно было сделать глубокий надрез остро заточенным, согласно всем законам шхиты¹ лезвием, резник тянулся к ножу, лежавшему на столе возле жестяного корыта, над которым он и резал птицу.

Выполнив свою работу и вытерев облепленное перьями лезвие, Шмуэль клал нож на прежнее место и вешал тельце птицы на крюк над корытом, чтобы стекла кровь...

Светлый лучик, заблудившийся посланник из другой эпохи, заглянул через окошко в будку. В уголке он высветил бледное лицо. Там притаился мальчик лет одиннадцати-двенадцати. На листке бумаги, приложив тетрадку к костлявой коленке, он рисовал карандашом подвешенную курицу.

Сына Боруха-Шлойме Сутина считали в Смиловичах странным. Долгими часами этого паренька можно было видеть бродящим по рынку с его вечной тетрадкой под мышкой. Глаза шарили по сторонам, выхватывая среди осеннего изобилия то горку картошки и капусты, то золотые луковицы, то свежие грибочки, выложенные на столиках напоказ или уже посушенные и нанизанные на тонкую длинную веревку; желтые кабачки и красные помидоры, как будто накачанные кровавым соком. Сорт, который здесь называли «бычье сердце». Ремесленники без устали расхваливали свой товар: бочки и бочонки, выставленные как солдаты на параде; глиняная посуда, горшки и горшочки мозолили глаза изогнутыми боками и огненно-красным пустым нутром. Лица крестьянок и еврейских торговок бросались в глаза своей инакостью; тут и там проскальзывали узкоглазые лица слободских татар.

Хаим плотает слюнки; в животе у него урчит, он сегодня поднялся рано и сыт только коркой хлеба. Возможно, еще наберется в кармане жменька крошек. Отец, искусный портной, перешил ему брюки старшего брата, но карманы остались прежние. Отец еще подшучивал на свой портновский лад: «В больших карманах и дырки теряются».

Курносое личико молодой крестьянки, когда она увидела еврейского паренька, стало еще круглее от радости. Хаим уже знал ее, торговку соленьями. Она недавно вышла замуж, и ее муж уехал в

Вильно, чтобы заработать на новую хату. Хаим уже два раза ее рисовал. Рисунки отсылали ее мужу. Теперь она просила, чтобы он сделал «малюнок», рисунок, так сказать, с животом, чтобы муж увидел, что она беременная.

«Сынок – ему в помощь, – говорила она, глядя свой выпирающий живот, – или доченька – мне в помощь». Хаим перелистал тетрадь, достал из-за пазухи карандаш (на отцовский карман он не полагался) и начал быстро рисовать на белом листке бумаги. Это заняло не так много времени, он вырвал из тетради листок с рисунком и протянул торговке.

Склонив голову, она с минуту разглядывала «малюнок», а потом, протянув ему соленый огурец, довольно изрекла:

– Живот хорошо вышел...

Хаим любил рисовать лица. Ему было не важно, еврейское это лицо или нееврейское. Лица были живыми и менялись каждое мгновение, даже от малейшего ветерка. Когда он их рисовал, быстро водя черным кончиком карандаша, и они оставались на листе бумаги, иногда по пять, по шесть лиц на одной странице, ему казалось, что ему удалось схватить ветерок за крылья. Было, однако, одно отличие: евреи на него злились, отворачивали лицо, ругались: «паршивец этакий, твой отец не учил тебя, что нельзя человеческое лицо рисовать?!».

Он уже несколько раз получал за это оплеухи от отца. В целом, Борух-Шлойме был не против того, что его сын рисует, хоть это и не занятие. Но, выучись он на портного, это тоже большого заработка не принесет. Сара, мать Хаима, сказала мужу, что, если его шлимазл-сын² так любит рисовать, может, стоит отправить его в Минск учиться на фотографа – какое-никакое, а ремесло!

Хаим заторопился. Его целью была мясная лавка на другом конце рыночной площади. Хрустя соленым огурцом, он дошел до мясной лавки Берла.

Запах свежего мяса ударил в нос. Хаим глубоко вдохнул его, как будто мог насытиться одним запахом.

Берл-мясник, грузный еврей с короткими мясистыми руками и толстыми пальцами, похожими на сосиски, разрубил туловище теленка на широкой разделочной колоде. На доске, прибитой к задней стене, были подвешены уже разрубленные куски передней и задней

части туши. На столе, прямо на деревянной, гладко обструганной поверхности были разложены нарезанные полоски мяса, селезенка и печень, телячий язык, затянутый мутной пленкой, и стояла лоханка с потрохами, от которых еще шел теплый пар.

Берл повернул свою тяжелую круглую голову, как будто вбитую между плечами. Его рыжая жидкая борода прикрывала только щеки. Усов у него не было, что делало его похожим на местных татар. Вместо усов над его верхней губой сидела жирная темно-коричневая бородавка. Вот она зашевелилась, и послышалось сиплое, идущее прямо из мясникова надутого живота, ворчание: «Там висит... в хлеву».

Проскользнув через заднюю дверь, потом через узкий грязный дворик, Хаим толкнул дверь хлева. Скрип проржавевших петель вместе с картиной, которую он увидел, впечатался в его мозг и отозвался в нем смесью ужаса и восхищения.

Несколько дней назад Берл-мясник попросил Хаима обновить старую вывеску над его лавкой. Когда дело дошло до вознаграждения, Хаим стыдливо попросил Берла, чтобы тот разрешил посмотреть на только что зарезанного теленка.

Мясник вытаращил на мальчика и без того вылупленные глаза:

– И все? – пробурчал он в своей манере и скупно добавил, – ну, приходи в воскресенье.

Зарезанный теленок, привязанный толстой веревкой за обе задние ноги к балке под самой крышей, напоминал перевернутый распахнутый тулуп. Передние ноги, широко расставленные, как будто обнимали пространство в последней попытке спастись. Он был выпотрошен, – Хаим уже видел кишки, лежащие на столе в лавке. Кровь, как красные узкие ящерицы, выползала из перерезанного горла, стекала по щекам, разливаясь по бледной верхней губе, и заполняла густыми вязкими каплями подставленный таз. Стая мух нагло облепила окровавленную тушу, не опасаясь быть изгнанными.

Хаим почувствовал, как кровь ударила в виски. Он слегка покачнулся. Не сводя глаз с теленка, он снова пошарил рукой за пазухой. Там был припасен еще один карандаш – красный, который он хранил для особого случая. И вот этот случай...

Он вспомнил, как ребе в хедере однажды сказал: «Ки ha-дам hu ha-нефеш» и разъяснил: «Кровь – это душа». Пока капает кровь,

живая душа не оставляет тела. Хаиму нужно было видеть последние мгновения души, которая еще содрогается в крови. Если бы у него сейчас были настоящие масляные краски! Быть может, ему удалось бы перенести вытекающую душу теленка на холст, и там она бы увечилась...

...Годы спустя в далеком Париже художник Хаим Сутин с той же юношеской настойчивостью рисовал окровавленные туши и части туш животных и птиц. Возможно, что в его сердце все еще билось наивное представление, что пока не вытекла кровь, еще можно спасти душу.

2

Резник Шмуэль оказался в Бельцах в начале пятидесятых. Сквозь окошко виднелось его лицо, заросшее черной, густой, аккуратно подстриженной бородой. На голове он носил темно-синюю фуражку, распространенную в те годы и похожую на те, что носило советское партийное начальство. Немного приплюснутый нос не выдавал в нем еврея, – скорее, он напоминал кацапов – русских крестьян, которые жили в деревеньках за городом. Любопытные женщины, которые всегда были не прочь сунуть нос в окошко, могли видеть, как резник надевал темно-зеленый фартук и черные сатиновые нарукавники, доходившие ему до локтя, чтобы не забрызгать рубашку кровью. Возможно, благодаря паре нарукавников Шмуэль-шойхет прослыл у женщин «большим аккуратистом».

Борода его, разумеется, старила, но большие голубые глаза выдавали правду – что это молодой человек лет тридцати. Мало кто знал о его личной жизни. Он жил не в городе, а далеко от центра, что называется, у черта на куличках. Была ли у него семья, неизвестно, говорили даже, что он живет с гойкой. Что было ясно, так это то, что Шмуэль не из «здешних», а из пришлых. Больше того: он не просто еврей, а литвак. Его «сабесдикер» идиш³ из него так и выскакивал.

В синагоге Шмуэля-шойхета видели редко, разве что по субботам. В своей будке он появлялся три раза в неделю: в воскресенье, вторник и четверг. В остальные дни окошко было заперто изнутри. Конечно, перед праздниками во дворике, где стояла будка, было

оживленно. Особенно, на Рош-а-шона и в канун Йом-Кипура, после обряда капорес⁴.

Женщины и птицы будто соревновались между собой, кто кого перекричит. Мертвый дворик, казалось, вновь ожил. До войны здесь жило несколько еврейских семей. Соседки в ожидании своей очереди устроили себе насест на глиняных кирпичках и вспоминали прежних обитателей этих развалюх и их страшный конец в первые дни войны. «Те дни...», не здесь будь помянуты! – так начиналась каждая история, – не давали о себе забыть, особенно теперь, в «Грозные дни», между Рош-а-шана и Йом-Кипуром. У каждой женщины была своя «история спасения». В этом дворике, где чуть ли не каждую минуту приносили жертву, их рассказы, казалось, приобретали особый смысл.

И вдруг сквозь шум и галдеж прорвался душераздирающий крик: «Убийца!» Это страшное слово донеслось от окошка, как будто бы птица завопила женским голосом...

Перепуганные хозяйки бросились поглядеть, что же там случилось. По дворику носились обрывочные фразы: «Упала без чувств... воды... вызовите скорую помощь...» На удивление быстро приехала «скорая помощь» и увезла упавшую в обморок женщину в больницу. Тут-то и начался настоящий гвалт. В этом гаме выделялись голоса двух женщин, своими глазами видевших то, что только что случилось у черного окошка.

– Она, видать, умом повредилась, – завизжала, делясь с соседями, худощавая еврейка. Она все еще зажимала под мышкой перепуганного петуха, – с женщинами такое случается, особенно в ее положении... У нее уже порядочный животик...

– Точно, – перебила ее вторая, как бы перетягивая одеяло на себя, – она чуть ли не с головой влезла в окошко!

– Я не понимаю, – снова заговорила первая женщина, – если у тебя слабое сердце, зачем ты лезешь?!

– Жалко ее... – уже слышались вздохи сочувствия.

– Кто-нибудь знает эту женщину? Я вижу ее в первый раз.

– Я знаю эту парочку... Она с мужем снимает комнату у моего соседа. Они недавно переехали откуда-то из Белоруссии....

– Но почему вдруг – убийца?

– Да, точно, она это крикнула перед тем, как упасть в обморок,

– подтвердила визгливая женщина с петухом, – может, она имела в виду нашего шойхета, реб Шмуэля?

В толпе раздался смех. Тут хозяйки вспомнили, что они сюда пришли совсем по другому поводу. Они уже, было, снова стали выстраиваться в очередь, и, на тебе — окошко-то захлопнуто, а на двери будки висит замок. Больше Шмуэля не видели ни на его рабочем месте, ни в синагоге, ни вообще в городе. Исчез. Как в воду канул.

Несколько месяцев спустя город взорвало известие, что на самом деле Шмуэль-шойхет оказался совсем не тем человеком, которого все знали в общине. Страшная история из его жизни была до тошно описана в нескольких номерах ежедневной республиканской газеты «Советская Молдавия» под длинным заголовком «Ни одно преступление не останется без суда».

На евреев в Молдавии напал страх. Если главная газета республики пишет про евреев такие вещи, от которых волосы дыбом встают, это неспроста. Еще не было забыто дело об «убийцах в белых халатах», а уже, видимо, назревает новое «дело» и грядут новые преследования. Кто поверит, что ребенок замешан в таком страшном преступлении?! Это не укладывается в голове, даже несмотря на то, что журналиста, который записал эту историю, самого звали М. Коган. Напротив: всем уже хорошо были известны эти государственные «фокусы»: чтобы не торчали антисемитские ослиные уши, подписывать текст еврейским именем. Да и недостатка в таких писаках не было.

Так или иначе, в той статье были представлены факты и названы имена конкретных людей – свидетелей преступных деяний: жертв, выживших благодаря чуду. Среди них была и беременная женщина, упавшая в обморок возле будки резника Шмуэля, когда узнала в нем того мальчика, который помогал полицейам во время убийств евреев в белорусском городке Смиловичи. С нее и началось расследование, которое закончилось показательным судом.

3

Шмулика, которому в то лето исполнилось 11 лет, немцы схватили в дороге, среди сотен других беженцев. Евреям они приказали выйти из колонны и собраться на обочине с вещами. Шмулик как раз неделю назад приехал к дедушке и бабушке в городок Дукор, чтобы

пробыть у них до конца лета. Теперь он стоял, прижавшись к дедушке, чувствуя на своей коротко остриженной голове дедушкино горячее дыхание. Дедушка шептал слова, которых Шмулик не понимал. Он многих вещей не понимал из того, что дедушка ему рассказывал, однако жадно глотал дедушкины истории, как и бабушкины вкусные картофельные draniki со сметаной. Дедушка был бухгалтером на мельнице, а до революции – резником в местной общине. Шмулик не раз видел, как вечером после работы дедушка заходил к соседям, то к одному, то к другому. Когда он спросил об этом бабушку, она отделалась короткой фразой, которая еще больше его запутала: «Он выполняет мицву⁵», – сказала она и тяжело вздохнула. Однажды вечером, когда дедушка вернулся после выполнения «мицвы», Шмулик заметил, что дедушка вынимает из внутреннего кармана куртки узкую коробку и кладет ее в выдвижной ящик кухонного буфета. На другой день, оставшись один в доме, Шмулик заглянул в ящик, пошарил и, нащупав коробку, достал ее. Каково же было его изумление, когда, открыв ее, он увидел странный нож с четырехугольным лезвием и деревянной ручкой. У него похолодело в животе: «выполнить мицву» – значит кого-то зарезать?..

... Три полицая, вооруженные винтовками, завели группу евреев, человек тридцать-сорок, в лесок и там всех расстреляли. Это произошло возле полуобсыпавшейся траншеи, оставшейся после Первой мировой войны. Едва прикрыв мертвые тела наспех нарубленными ветками, предполагая, очевидно, вернуться со следующей партией евреев, убийцы отправились в Смиловичи доложить начальству о проделанной работе.

Шмулик остался в живых. Он не помнил ни того, как выбрался из-под тяжелых тел, которые на него навалились, ни того, как добрался до хаты, около которой и упал. Остался только страшный звук, тонкий и резкий, который вдруг начал сверлить в голову и заставил его зажать уши ладонями, пока звук не иссяк, как бы угасший в черепе. Он почувствовал себя живым только тогда, когда кто-то поднял его и втащил в хату. Там он и провалялся до утра на холодном земляном полу. Открыв глаза, он увидел стоявшего возле него человека. Тот мгновение разглядывал Шмулика, а затем хрипло спросил:

– Ты из той кучи жидов? – он не ждал ответа от перепуганного

мальчика; только смотрел, как тот задрожал и свернулся как улитка, оставшаяся без домика. Казалось, мужик сейчас поднимет ногу и растопчет маленького «склизкого жидка» сапогом.

На Шмуликово несчастье, мужик оказался одним из трех полицейцев. Взглянув еще раз на чудом уцелевшего мальчика, он подошел к ведру, стоявшего на табурете, и зачерпнул кружку воды.

– На, пей...

Шмулик схватил кружку обеими руками и жадно начал пить. Когда он возвращал пустую кружку, полицейай схватил его за правую руку и почти впился взглядом в пальцы Шмулика.

– Шестипалый?! – изумился он и перекрестился.

Шмулик вырвал с силой руку и спрятал ладонь подмышкой. С этим уродством он родился; шестой палец, маленький, но с ногтем, как и остальные пять пальцев на его правой руке, оттопыривался в сторону от его большого пальца. Шмулику это не мешало, разве что с малолетства его дразнили «Шмилька с пальцем шпилька».

Полицай оживился. На его распухшей роже даже прошмыгнула скупая ухмылка. Он уселся за стол, все еще не сводя глаз с перепуганного жидка с шестым пальцем на руке.

– Никогда такого не видал... – никак не мог он успокоиться. – Моя мамка рассказывала, что у них в деревне однажды родился теленок с двумя головами. Он прожил только три дня и издох. Помню, она тогда сказала, что это знак божий, потому что в тот год был урожай, какого они еще никогда не видали... – он снова перекрестился на икону в углу и взволнованно зашептал:

– Видно, ты тоже отмечен богом, иначе как бы ты остался живым, раз я сам в тебя стрелял?..

Казимир, или Казик, как его называли приятели-полицай, оставил Шмулика при себе. Перед войной Казик был лесником. Когда он увидел грязного, несчастного «жидка», мальчик пробудил в нем такое чувство, как если бы это была зверушка, у которой браконьеры застрелили мать. В сердце у него что-то дрогнуло. Когда он спросил у мальчика его имя, Шмулик назвал свое русское имя: Семка – так звали его в школе. Своим товарищам-полицаям Казик объяснил, что Семка его племянник. «У сестры, – придумал он легенду, – еще трое младших детей, ей их не прокормить». Сам Семка с его голубыми глазами и приплюснутым носом был мало похож на еврей-

ского подростка, разве что, если бы ему приказали спустить штаны. Но полицаи почти всегда были в угаре от самогона, и их мало заботил мальчишка, крутившийся возле Казика и называвший его «дзядька»; и только начальник Казика, Андрей Артимович, косился на паренька при встрече. Артимович постоянно что-то вынюхивал своим распухшим носищем и даже в бездомной собаке мог учуять партизана или жида. Казик велел Семке не попадаться начальнику на глаза.

Мальчик быстро приспособился к новому окружению. Казик принес ему пару почти новых ботинок, какие носили только в городе, несколько рубашек и пару брюк, тоже не новые, но без заплаток. В один из дней Казик достал из мешка, который он всегда брал с собой, выходя из дома, фуражку, точно такую, какие носили все полицаи, и широкий кожаный ремень.

– Выпросил у начальника, – пояснил Казик, довольный, – ну и жадная же он скотина!

Однажды, когда Казик был свободен, Семка попросил его показать ружье. Полицай сначала прикинулся, что не слышит, но через несколько минут подошел к винтовке, стоявшей в уголке возле его кровати, и сказал Семке:

– Ружье – что жёнка для солдата, а жёнку ни с кем нельзя делить... – нахмурился он и добавил: – Рано тебе еще иметь жёнку, – и засмеялся.

Он подошел к своему мешку, развязал веревочный узел, засунул в мешок руку и извлек оттуда какую-то штуку, завернутую в платок. Выложив ее на стол, полицай развернул платок. Засияло лезвие клинка с костяной ручкой. Такого сокровища Семка в своей жизни еще не видел; этот восхитительный клинок вызвал в его памяти другую вещь – дедушкин нож, найденный в кухонном буфете. Как и тогда, Семка почувствовал в животе холодок и страх, перемешанный с мальчишеским любопытством и азартом.

– Настоящий охотничий нож, – хвастался Казик, – вчера нашел у одного жида из гетто. Он ему больше не понадобится...

Полицай зло усмехнулся и сказал Семке:

– Бери, теперь он твой...

Семка был очень горд подарком. Нож он засунул под ремень с левой стороны, чтобы все видели, что он тоже вооружен, как и все

полицая. Казик сказал, что когда Семка еще немного подрастет, он раздобудет ему пистолет с кобурой.

– А как иначе, – размышлял он вслух, – когда вокруг орудуют бандиты-партизаны... Только на днях подстрелили двух моих приятелей... Я научу тебя стрелять...

Семка привязался к этому человеку, хоть тот его часто бранил, осыпал проклятьями и грязными словами, особенно после «акций», как он их называл, когда Казик приходил домой пьяным, едва держась на ногах. Семка стаскивал с него размокшие сапоги и накрывал его одеялом. С тех пор как Семка стал жить у Казика, полицай спал на железной кровати, а Семка – на печке.

Семка был не дурак. Он не знал точно, что означает это слово – «акция»; но он уже не раз его слышал, особенно в те дни, когда в Смиловичах со стороны песчаного карьера и еврейского кладбища доносилась страшная стрельба. Казик после таких акций приходил домой мертвецки пьяным.

Однажды, когда Семка уже лежал на печке и задремывал, он услышал, как Казик тихо говорил сам с собой: «Завтра будет тяжелый день...» Мальчик открыл глаза и увидел хозяина, стоящего напротив иконы. Он обращался к красиво обрамленной картинке, глядя на которую Семка никак не мог понять, мужчина там изображен или женщина. Казик перекрестился и сказал:

– Завтра всем им придет конец...

В его голосе не было злости, скорее печаль, как будто он говорил об умирающем, который уже долго мучается и, наконец, вот-вот испустит дух...

Так и случилось. На другой день, который как раз выпал на еврейский Новый год, полицаи окружили несколько улиц в центре Смиловичей. Там находилось гетто. Им помогали в этой «акции» специально прибывшие части литовских полицаяев из Руденска. Прошмыгнуть сквозь живую цепь убийц было невозможно. Пули настигали каждого, кто пытался спастись на чердаке и в подвале. Выгнав евреев из домов, их повели в песчаный карьер и всех убили. Среди них была и Сара, мать Хаима Сутина, с ее десятью детьми и внуками. Боруха-Шлойму Сутина забрали буквально в первые дни, когда немцы после захвата Смиловичей отправили 50 евреев города якобы на работу, и всех их расстреляли около деревни Годовичи...

И все же начальник Андрей Артимович однажды повстречал Семку. Мальчик поджидал Казика напротив полицейского участка. До войны там находилась пожарная станция. Старая высокая пожарная каланча еще стояла, оставленная как воспоминание о былых страшных пожарах в городке. Семка выстругивал палочку своим ножом, когда неожиданно услышал:

– Я смотрю, твой дзядька тебе уже и нож подарил...

Семка задрожал. Он сорвал фуражку с головы, как учил его Казик, и вытянулся. Артимович подошел к мальчику ближе. Протянув руку, он дал понять, что Семка должен отдать ему нож. Он осмотрел предмет со всех сторон, провел указательным пальцем по лезвию и снова сказал:

– Добрый ножик, надо его попробовать в деле...

В его глазах мелькнула дьявольская ухмылка. Он повернул голову к полицейскому участку и крикнул полицая, стоящему на посту:

– Приведи-ка сюда пойманного жидка...

Полицай исчез в дверях. В следующую минуту оттуда вышел Казик. Увидев своего начальника с Семкой и с ножом в руке, он быстро к ним подошел. Он, вероятно, хотел что-то сказать, но Артимович его перебил:

– Здесь есть кой-какая работа для твоего племянника, большой уже хлопец.

В это время показался в дверях охранник, который, подталкивая перед собой винтовкой, вёл паренька.

– Иди, холера жидовская...

Мальчик был старше Семки на несколько лет. Обросший, с разбитой губой и распухшим носом, он стоял, сгорбившись, и тихо всхлипывал.

– Отведем его к месту, – скомандовал Артимович Казику и отослал охранника обратно.

Идти пришлось недалеко, и хотя начальник не сказал, что это за «место», каждый из четверых понимал, что это значит. Семка покрылся потом. Ему вспомнилось, как он стоит, прижавшись к дедушке; он даже теперь чувствовал дедушкино живое дыхание на макушке... И вот он сам ведет еврейского паренька на смерть, как недавно вели его, Шмулика, дедушку с бабушкой и других евреев... В первый раз он своим детским умом понял, что между его еврей-

ским именем Шмулик и русским именем Семка разверзлась глубокая яма.

Придя на «место», Артимович без лишних слов взял у Казика ружье и выстрелил в юношу. Тот упал на песчаную землю. Было ясно, что Артимович не собирался его убить, потому что юноша перевернулся на живот и пополз.

– Ну вот, – все с тем же дьявольским жаром в глазах сказал Артимович, – теперь мы опробуем твой нож...

Он наклонился к правому сапогу, из голенища которого торчала костяная ручка охотничьего ножа. Вытащив его, он провел им в воздухе возле своей шеи и сказал Семке:

– Иди, прикончи его... Это же твой нож...

Казик пытался что-то сказать, протягивая руку, чтобы забрать нож у своего начальника, но тот не поддался. Хуже того, в бешенстве заревел:

– Ты думаешь, я дурак, что я ничего не знаю?!.. Если твой «племянничек» это не сделает, я ему самому горло перережу...

Семка вырвал нож из рук Артимовича и подбежал к юноше...

4

В пожарной станции обосновались пятеро пожарных, с их машинерией, лошадью, телегой и большим водяным насосом. Своим блеском и треском они привлекали всех мальчишек местечка. Хаим Сутин не был исключением. Но гордостью пожарной команды и всех жителей Смиловичей была побеленная каланча, устремленная в небо. Не каждый мальчишка мог похвастаться тем, что стоял на верхотуре, и городок простирался у его ног от края до края. А вот Хаиму снова подыграл его черный карандаш с листочком белой бумаги. Начальник пожарной команды остался очень доволен картиной, которую ему сработал молоденький «жидовский мастак». Он стоял, изображенный в своей униформе, в блестящем шлеме на голове. Жена сразу его узнала. К тому же ему это ни гроша не стоило. Он просто разрешил пареньку забраться на каланчу и оттуда рисовать всё, что ему вздумается.

Евреи уже отмолились на минхе⁶. Солнце, окрашивая все в красно-оранжевые тона, медленно клонилось к реке Вольме. Хаты

напоминали серые картофелины, рассыпанные по земле; четко были видны две православные церкви – одна из красного кирпича, другая – деревянная; немного поодаль от них, представляя другую часть христианской веры, возвышался католический костел. Со всем обособленно, как бы отвернувшись от них к Татарской Слободе, торчала острая верхушка мусульманской мечети, увенчанная полумесяцем. Синагог в городке было пять – три миснагедские⁷ и две хасидские.

Хранил уединенное спокойствие обнесенный высокой стеной с башней-входом в помещичье хозяйство, роскошный дворец Мюнюшко-Ваньковичей, ведущий свою «родословную» с семнадцатого столетия. Теперешние жители Смиловичей, каждый со своим богом, земными радостями и печалью, тоже не вчера здесь оказались словно грибы после дождя; они укоренились здесь за сотни лет, чему свидетельствовали два христианских погоста, татарский мизар и еврейское кладбище, что недалеко от песчаного карьера.

Хаим стоял, ошеломленный открывшейся ему картиной. Он уже, кажется, забыл, зачем сюда взбирался. Отсюда, с пожарной каланчи, залитый густым красно-оранжевым цветом, городок выглядел спокойным и тихим, как будто сама шехина⁸ хотела бы сейчас здесь излиться. Означало ли это, что Бог – Всевышний в небесах – не способен видеть и слышать, что происходит там, внизу, в их городке, и положить бедам конец? Всего несколько месяцев назад мужик из соседней деревни Петровичи привез на повозке мертвые тела еврейской семьи – мужа и жены, и их троих детей, убитых озверелой толпой пьяных крестьян. Убитый еврей держал в Петровичах шинок. Ночью к нему в дом ворвались, всех убили и после сожгли дом вместе с шинком. Это рассказали смиловические родственники убитых. Вся община билась как в лихорадке: шептались, что царь выпустил Манифест, разрешавший христианам убивать евреев. К тому же пришло горькое известие, что погромы уже пронесли в нескольких местечках под Минском, и не сегодня-завтра это случится и в Смиловичах.

Хаим наблюдал за закатом солнца, стараясь запомнить каждый штрих, каждый мазок, нанесенный кисточкой, которую Всевышний держал в руке. Такие смешанные чувства от внешнего спокойствия и внутренней тревоги жили в его сердце всю жизнь. Возможно, из-за этого спокойная реальность на его пейзажах выглядит такой на-

пряженной, затягивающей в водоворот, едва удерживая внутренности земли от апокалиптического крика.

Небесное красно-оранжевое спокойствие входит в противоречие с земной тревогой; красный цвет становится густым как запекающаяся кровь. От церкви пробивается угроза, которая опутывает несчастные еврейские синагожки, пылающими языками огня. В сердце Хаима засел страх; его можно видеть в лицах, в фигурах – перекошенных, изъеденных, с изломанными плечами. Своих персонажей он видел во время похорон забитой в деревне еврейской семьи. Этот страх юный Хаим Сутин увез с собой в большой мир и носил его в своей душе до последнего вздоха...

5

Старая пожарная каланча осталась стоять и тогда, когда в Смилевичах стали хозяйничать сорок полицаев. Местные жители прозвали их «бобиками» – распространенным именем собаки. Свою прежнюю роль каланча не играла: как мертвецу ничего не нужно, так отпала и необходимость в тушении пожаров. Это, конечно, не значит, что в Смилевичах больше не бывало пожаров, скорее наоборот, горела и пылала вся Европа. Но кому придет в голову тушить несчастный пожар в заброшенном далеком белорусском городке?!

Каланчу полицаи использовали для «церемонии» принятия нового полицая, только что записанного в отряд. Они садились за стол пьянствовать и посылали «зеленого» на каланчу, чтобы он оттуда посмотрел, не спрятался ли где живой жид. Растерянный новичок, соблюдая порядок, глядел во все стороны и выкрикивал: «Жидов нету!» Тогда снизу раздавался дикий хохот. После этого уже можно было садиться лакать самогон.

Семка тоже не избежал этого полицейского ритуала. После того случая с подстреленным еврейским подростком прошло уже достаточно много времени. Начальника, Андрея Артимовича, однажды нашли повешенным на дереве на краю леса. Было ясно, что это сделали партизаны, но местных жителей на сей раз не наказали. Полицаи сами боялись своего начальника едва ли не больше, чем партизан. Они шептались, что в Смилевичах среди злых собак Артимович – самая злая.

Новый начальник не видел в племяннике Казика никаких особых недостатков; что до остальных полицаев, то они его называли «Семка-шестипалый», потому что был еще один полицай с таким же именем «Семка». Казик им рассказал историю про двухголового теленка, и что такой исключительный знак отгоняет беса от людей, окружающих отмеченного человека. Полицаи на это купились.

Казик сдержал свое слово и подарил Семке пистолет с кобурой, когда Семку принимали в полицаи; правда, он становился не как все полицаи, а чем-то вроде воспитанника. Он получал полный рацион как все, стоял днем в карауле, переносил и переписывал различные бумаги и просто был мальчиком на побегушках, особенно когда на пьяных пирушках заканчивался самогон. Но на «акции», на вылазки против партизан, которые все более досаждали новой власти, Семку-шестипалого не брали.

Однажды, когда его послали принести новую бутылку самогона, Семка зашел во двор, где жила женщина, про которую все в Смиловичах говорили, что она «не в себе». Как-то раз Семка видел ее стоящей напротив обезглавленного памятника Сталину. Статуя лежала на земле перевернутая, напоминая поверженного огромного идола. Сначала женщина три раза перекрестилась, потом на мгновение застыла как замороженная, после чего принялась плевать и кричать: «А каб ты здох, каб ты!». Говорили, что прямо перед войной в Минске арестовали ее единственного сына и потом расстреляли. С тех пор она начала выкидывать странные штуки. Она добывала средства к существованию тем, что гнала самогон и продавала его.

Как только Семка открыл калитку, к нему со злобным лаем бросилась собака; небольшая, но заросшая и заляпанная грязью. Семкина рука, как будто кто-то ей вел, выхватила из кобуры пистолет и несколько раз выстрелила в пса. Все произошло так быстро, что Семка сам, казалось, не понял, что он сейчас натворил.

В этот момент из хаты выбежала девочка, закутанная в толстую шаль, и бросилась к окровавленной собаке. Она не плакала, а, стоя на коленях, скулила, как будто сама была собачкой, голодной и замерзшей. Семка, пораженный, все еще держа пистолет в руке, как примерз к земле. В этот момент девочка повернулась к нему и выкрикнула изо всех сил: «Убийца! Убийца!»

Журналист республиканской газеты «Советская Молдавия» М. Коган очень красочно описал этот эпизод. Из его рассказа выходило, что той девочкой шести-семи лет оказалась та самая беременная женщина, которая годы спустя пришла резать птицу и узнала в Шмуэле-шойхете молодого полица, стрелявшего в ее собаку. Его голубые глаза, как два кусочка льда, вмерзли в ее сердце так, что не забудешь. Она ясно видела его пальцы, зажавшие пистолет, и что рядом с большим пальцем оттопыривался маленький тонкий пальчик с острым ногтем. К местной женщине, у которой жила девочка, ее привела мать как раз накануне того дня, когда было ликвидировано гетто в Смиловичах. Больше она маму не видела. Девочку звали Зельда Сутина.

В конце июня 1944 в Смиловичах уже было слышно, как стреляют русские орудия. Партизаны тоже не раз пытались захватить городок. Полицаи и отряд немецких солдат, присланный им на помощь, только успевали отбиваться от партизанских набегов.

В ту ночь Казик был ранен в ногу. Он лежал на своей кровати. Семка обмыл ему рану полотенцем. Казик кряхтел, обливался потом, едва сдерживаясь, чтобы не кричать от боли. Он заговорил:

– Семка, это конец... – он тяжело дышал и едва мог шевелить губами, но продолжал: – Тебе надо смываться... сегодня-завтра здесь будут красные... они тебя не пожалеют... Беги...

– Я тебя одного не оставляю... – глотал слезы Семка.

Казик его перебил. Положив руку мальчику на плечо, он прижал его к себе.

– Убегай, Семка... Становись обратно жидом, – прошептал он ему в ухо, – еврея они не тронут...

И Семка снова стал Шмуликом. Он влился в поток беженцев, который тащился по дороге под палящим летним солнцем. Когда-то, в то далекое лето 1941, колонна беженцев убегала от немцев; теперь, в июле 1944, люди шли за Красной армией. Они возвращались домой.

Как-то раз утормевшему от жары Шмулику показалось, что он только что выкарабкался живым из старой траншеи, покрытой расстрелянными евреями и забросанную ветками. Как будто и не было этих трех лет совсем другой жизни. Видимо, Казик был прав: шестой палец на правой руке у Шмулика – и в самом деле знак божий; он спас его уже во второй раз от смерти.

Придя в город Могилев, Шмулик нашел несколько местных евреев. Они только что вернулись из эвакуации и искали место, где приклонить голову. От их домов остались только черные головешки. Среди вернувшихся был религиозный еврей, уже в годах, оставшийся один. Его жена и дочка умерли от тифа, а двое старших сыновей погибли на фронте. К нему-то Шмулик и прибился. Они оба тянулись друг к другу. Парень почувствовал в этом человеке близкую душу, возможно, он видел в нем сходство со своим расстрелянным дедом. Старик никогда его не расспрашивал, как Шмулик остался в живых – очевидно, не желая касаться еще гноящейся раны. Ему было ясно, что если еврейский подросток странствует один, это значит, что он, бедняга, остался круглым сиротой.

Хотел ли Шмулик узнать, что случилось с его родителями и двумя младшими сестренками? Они ведь остались в Минске тем летом. Он слышал, как один из полицаев хвастался, что он участвовал в «акции» уничтожения «минских жидов»... Шмулик сам хорошо знал, что сделали со смиловичскими евреями. Но если бы даже его родители остались в живых и он их нашел бы, как он мог бы смотреть им в глаза?...

Старик был из любавичских хасидов. Он научил Шмулика проносить несколько молитв, накладывать тфилин, приводил его в дом, где собирался миньян на шабес. Однажды к нему подошел незнакомый человек, завел Шмулика в маленькую комнатку и предложил поехать с ним в Витебск, чтобы стать настоящим баал-тшува. Шмулик не стал расспрашивать, что это значит – «баал-тшува». На другой день он вместе с этим человеком покинул Могилев.

В Витебске Шмулик выучился на шойхета-резника, но когда в 1948 году только что построенная синагога была закрыта и власть начала преследовать всё еврейское, Шмуэль решил уехать и из Витебска. Он слышал, что в Молдавии местная власть относится к евреям лояльно. Здесь есть синагоги, места для резки птиц, и еврейские родители делают обрезание своим сыновьям. Вот так однажды в заброшенном дворике в Бельцах появилась деревянная белая будка-птицерезка с черным квадратным окошком.

Статья в центральной газете заканчивалась на высокой ноте возмездия и справедливости и сообщала, что Верховный Суд приговорил бывшего полицака к семи годам лагерей строгого режима. Суд

принял во внимание, что в то время, когда были совершены преступления, приговоренный был еще несовершеннолетним, а значит, не мог в полной мере осознавать своей ответственности за содеянное.

Хаим Сутин ушел из дома, когда ему было шестнадцать. Больше он в Смиловичи не приезжал. Постоянное чувство голода не оставляло его и в Париже. Один из близких друзей описывал его так: «Худой, с желтоватым истощенным лицом, плечи чуть сутулые». Сутин напоминал ему польско-литовского мальчика из иешивы⁹ былых времен, который никогда не наедается досыта. Если бы Сутин не носил элегантные костюмы, можно было бы подумать, что этот молодой человек только что прибыл из маленького еврейского местечка Белоруссии.

Вспоминал ли он когда-нибудь в парижской суеде свой городок Смиловичи? Когда нацисты вошли в Париж, у Сутина была возможность уехать в Америку, где он уже был признанным художником и его картины продавались за большие деньги. Но он отказался и провел последние три года своей жизни в маленьком городке на юге Франции со своей спутницей жизни, Мари Берт.

В последние свои дни Сутин страшно страдал от желудочных болей. Не помогла и операция, сделанная в Париже – вечером, тайно, под страхом, как бы кто-нибудь не вызвал жандармов. В шесть часов утра Сутин открыл глаза. Его губы едва шевелились. Мари наклонилась к нему. Приложив ухо к его рту, она услышала, одно единственное слово: «Вольма» – название реки, возле которой уже сотни лет сплетал историю жизни и смерти городок Смиловичи.

Хаим Сутин умер 9-го августа 1943 года в возрасте 49 лет.

Перевела с идиша Юлия Рец, С-Петербург

Примечания

¹ **шхита** – ритуальный забой млекопитающих и птиц для еды в соответствии с требованиями кашрута.

² **шлимазл** – неудачник.

- ³ «сабесдикер» *идиш* – намек на специфическое произношение литовских евреев, которые вместо звука «ш» произносили «с».
- ⁴ **обряд «капорес»** – совершается в ночь накануне Судного дня; он состоит в том, что мужчина трижды вертит над своей головой петуха (женщина – курицу), произнося три раза молитву: «Это да будет искуплением моим, жертвой моей и заменой вместо меня, сей петух (сия курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долгую и мирную жизнь».
- ⁵ **мицва** – всякое доброе дело.
- ⁶ **минха** – дневная (послеполуденная) молитва.
- ⁷ **миснагедим** (митнагдим – *ивр.*) – буквально, «противящиеся», «возражающие», использовавшийся хасидами термин относительно своих идейных противников литваков во время религиозной борьбы в иудаизме в XVIII веке.
- ⁸ **шехина** – термин, обозначающий присутствие Бога, воспринимаемое и в физическом аспекте.
- ⁹ **иешива** – еврейское религиозное учебное заведение.

Борис Сандлер, известный еврейский прозаик, родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при лит. институте им. Горького (Москва, 1981-1983), работал на Молдавском телевидении, где вел программу на идише «На еврейской улице».

В 1992 году Б.Сандлер репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском Университете (Иерусалим); возглавляет издательство «Лейвик-фарлаг» и издает единственный в мире детский журнал «Кинд-ун-кейт». С 1998 г. по 2016 главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты «Форвертс».

Издal 15 книг прозы и стихов. Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, французский, иврит и другие языки. Лауреат ряда престижных премий в Израиле, Канаде и США.

Живет в Нью-Йорке.

Марк ВЕЙЦМАН

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР

Когда девчонкою она
У берега уснула,
Её внезапная волна
Едва не умыкнула,

И не случись там валуна
У самой водной кромки,
То где б теперь была она
И вы – её потомки?

Вглядись, НЕ ВЕРЯЩИЙ В СУДЬБУ,
В обломок этот скальный,
Что на своём припёр горбу
Какой-то ненормальный!

Когда я смирял нетерпения дрожь,
Чтоб ринуться в бой,
Я был на себя, вероятно, похож,
Но не был собой.

И только достигнув холодных морей,
Как рыба минтай,
Немного приблизился к сути своей.
Не веришь – читай.

Обугленная ветвь,
Эпохи давней весть,
И клинопись коры
Зерниста, как початок.
Не только не понять,
Но даже не прочесть:
Реальность, тайна, смерть
И жизни отпечаток.

Забойщик вырубал
Из черного пласта,
Потея и дыша
Сивушным перегаром.

Охотничий азарт
Вселяет красота,
Однако никогда
Не достаётся даром.

И я её храню
Как старый документ,
Как мамино кольцо,
Как память о Донбассе,
Воспринимая не
Как автомонумент,
Но – бережный намёк
О вечности в запасе.

Давно не бывал я в Донбассе...

Николай Доризо

Давно из Донбасса сбежал я,
Ища неизвестно чего,

Зане полагал, что, пожалуй,
Могу обойтись без него.

Он был маяком на распутьи,
Плацдармом прощаний и встреч,
Но всё-таки местом, по сути,
Которым легко пренебречь...

Я мог бы, кажись, и не гнаться
За манной небес дармовой,
В краю обитая горняцком
До самой доски гробовой.

Не знал ведь, что шахта взорвётся
И выгорит школа дотла,
И будут лежать у колодца
Недвижные чьи-то тела,

И станет косить и колбасить
Народ вековая вражда...
Давно не бывал я в Донбассе,
Да что-то не тянет туда...

Памятник

*...этот ужасный
Мальчиш-Кибальчиш...*

С.Я. Маршак

– Одиноко стоящий
На высоком бугре,
Отрешённо глядящий,
Словно сыщик Мегрэ,

Над рекою зацветшей
И сухим камышом
В тишине предрассветной
Твои думы – о чём?

– Вспоминаю о том, как
Я ходил воевать,
И о том, что потомкам
На меня наплевать,

Буржуины brutальны,
И народ бестолков,
А военные тайны
Продаются с лотков.

Протежируя травмам,
Потакая плющу,
Ни признанья, ни славы,
Ни любви не ищу,

Ни всеобщего братства
В беспросветной ночи...
Мне бы только добраться
До плавильной печи...

Ночью внезапная молния
Город застигла врасплох,
Словно идея крамольная –
Разум на стыке эпох.

Вспышка – и всё моментальное
Вечным становится вдруг,
Явным становится тайное
И размыкается круг.

Чтобы пророк откровение
Выдал запёкшимся ртом,
Нужно всего лишь мгновение.
Гром ударяет потом.

Полвека ждал беды
От смычки инфернальной
Державной лабуды
С реальностью банальной.

Теперь слезу, уныл,
За ходом и исходом
Всамделишной войны
С придуманным народом.

Мёртвое море. Вечер

Над поверхностью Мёртвого моря,
Где, как в кресле дантиста, сижу я,
Иудейские сгрудились горы,
Заходящее солнце свежюя.

Подгребаю руками неспешно
В эпицентре безрыбья сплошного,
Что веков испокон безуспешно
Дождается рака трефного.

Бедуинские блеют овечки,
Тянет жилы мотив монотонный,
Вечный мрак предваряя невечным,
Опускается занавес тёмный.

Не ропщу, выпадая в осадок,
Рядовая частица системы,
Где с водицею мёртвой порядок,
А с живою сплошные проблемы.

*Хороша убогая осина, но убогая
пальма, надо сказать, никуда не
годится...*

Лидия Гинзбург

Живущему теперь на грунте скальном,
Едва ль ответить внятно мне по силам,
Годится ли куда калека-пальма,
Красива ли убогая осина.

Я знаю лишь, что всех безумно жаль мне,
Кого обидел Бог или природа, –

Осины ли чужой иль здешней пальмы,
Которая, представь, мужского рода.

Сошлѣшься на народные приметы,
Различия ментальные и климат,
Возьмѣшься выявлять приоритеты,
Акценты расставлять – и вдруг заклинит.

На фоне разверзающейся бездны
Все степени сравненья бесполезны.

Негев

Кварциты, мрамор и руда,
Махтешей* каменных зиянье.
Земля повсюду столь тверда,
Что пухом стать не в состояньи.

За Соломоновым столбом
Темнеют пропасти и кручи.
На фоне неба голубом
Шипы особенно колючи.

Тому, кто грезит наяву,
Общенье с глиной и щебёнкой
Напоминает рандеву
С непривлекательной бабёнкой,

Зато, шагая по плато,
Из речи кеклика** занудной
Он узнаёт впервые, что
Любовь должна быть обоюдной.

* **махтеш** – глубокая воронка

** **кеклик** – горная куропатка

Эндшпиль

Честно нажитое прожито,
А куда ходить, неясно,
Рисковать и осторожничать
Одинаково опасно,
Трата сил не окупается,
А о прочем умолчу.
Согрешить или раскаяться?
Соглашаюсь на ничью!

Лесов осенних мощи
Вдоль выбитых дорог.
Финал намного проще,
Чем ты представить мог.
Лиловым оторочен
Меж тучами прогал.
И жизнь ещё короче,
Чем ты предполагал.

В чреде откровений нечастых
Желая нащупать интригу,
Она изучает с пристрастьем
Его мемуарную книгу.

На улочках юности нищей,
На тропках любви беззаветной,
На жалких родных пепелищах
Себя она ищет, но тщетно.

Похоже, решил параноик,
Из мелочной, может быть, мести
Присвоить ей имя иное
С иной биографией вместе.

Недаром же, шастая мимо,
Опасливо зыркает сбоку,
Готова ли старая мымра
Затеять базарную склоку.

Марк Вейцман, поэт, прозаик, эссеист, родился и вырос в Киеве. Образование – физико-математический факультет пединститута и Литинститут им. Горького.

Отсчёт своих литературных занятий ведёт с 1966 года, когда его стихи, подвёрстанные к «Бабьему яру» Анатолия Кузнецова, были опубликованы в «Юности».

Автор полутора десятков книг для взрослых и подростков, увидевших свет в Москве, Киеве, Иерусалиме и многочисленных журнальных публикаций.

Лауреат нескольких литературных премий.

Некогда состоял в СП СССР. Ныне – член Федерации писателей Израиля и Международного ПЕН-центра.

Владимир БАТШЕВ

О ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ

Как сладко и просто звучат эти слова – «первая волна эмиграции»!

Перед глазами кадры из фильмов, фотографии из учебников истории, многочисленные воспоминания – эвакуация из Крыма, русские шоферы такси в Париже, русские студенты в Праге, бывшие врангелевские солдаты на строительстве железной дороги в Сербии...

Сладко... Да, сладко полировать во рту историческую категорию, восторгаясь, что они и на чужбине остались носителями русского языка и русской культуры.

Но этим людям из «первой волны» не было сладко. Они лишились всего: работы, социального статуса, собственности, родины.

Рухнули надежды на скорое возвращение, стало ясно – большевики всерьез и надолго, если не навсегда. С чемоданов пришлось пересесть на обычные стулья.

Нужно было зарабатывать на жизнь, осваивать новые профессии, подчас заниматься тяжелым физическим трудом.

Большинство молодых людей вечером, сняв рабочую спецовку или поставив автомобиль в хозяйский гараж, собиралось в кафе, где звучала русская речь, читали стихи...

Через полвека о них вспомнит другой поэт, певец уже другой, третьей по счету русской эмиграции:

*В тот год окаянный, в той черной пыли,
Омытые морем кровей,
Они уходили не с горстью земли,
А с мудрою речью своей.
И в старый-престарый прабабкин ларец
Был каждый запрягать готов*

*Не ветошь давно отзвевших колец,
А строчки любимых стихов.*

Потеряв родину, они обрекли себя на страдания, бедность, но обрели свободу. Свободу творчества, немислимую у большевиков.

И, несмотря на разные политические платформы, на различие в образовании, воспитании, судьбы, они имели радость творческих поисков без какого-то ни было идеологического воздействия.

И благодаря этому, уже к концу 1920-х годов мы видим расцвет подлинной русской литературы – *русской зарубежной литературы*, резко отличающейся от литературы советчины.

Между двумя мировыми войнами русская эмиграция имела несколько центров. Это были Париж, Берлин, Прага, Белград. Обитали русские и в других европейских городах, где кроме православных церквей и русских ресторанов ничего другого не было.

В таких городах, как Гельсингфорс, Харбин, Варшава, Рига русские жили и до революции – эти города являлись частью Российской империи – в них беженский поток ринулся в первую очередь, поскольку отсюда лежал путь в Европу. А через Харбин – в Китай и Америку.

На новом месте эмигранты, представлявшие собой людей высокой культуры, устраивали русские центры, издательства, газеты и журналы.

Сначала «столицей» эмиграции был Берлин, этому способствовала гигантская инфляция, царившая в Германии, что позволило создать много культурных очагов – научные институты, клубы, издательства, а с 1920 по 1931 год выпускать двадцатитысячным тиражом ежедневную газету «Руль».

Постепенно центр культурной и общественной жизни переместился в Париж. Начали выходить газеты и журналы, в частности, две крупнейшие ежедневные газеты – кадетская «Последние новости» (под редакцией историка П.Н. Милюкова) и правая «Возрождение» (с 1936 – еженедельная, под редакцией Ю.Ф. Семенова). Появился ведущий литературный журнал эмиграции «Современные записки» (под редакцией эсеров).

В Риге печаталось несколько русских ежедневных газет: веду-

щая – «Сегодня», четвёртая по популярности газета русской эмиграции (выходила двумя выпусками – утром и вечером), работала русская гимназия, русское «меньшинство» голосовало на выборах в латвийский парламент.

В Варшаве издавался «Меч» под редакторством Д.В. Философова и В.В. Бранда, в Белграде – «Русские ведомости», которые редактировал, разумеется, М.А. Суворин.

В разных городах появлялись, исчезали и вновь возникали другие издания – «Дни», «Новое слово», «Заря», «Молва», «Наша речь», «Новая заря», «Россия» – всех не перечислишь. А журналы – «Иллюстрированная Россия», «Рубеж», «Воля России»...

Все эти издания имели литературный отдел, страницы широко предоставлялись русским поэтам и писателям. Гонорары платили, хоть и маленькие.

Как вспоминают современники, в Праге президент Чехословакии Томаш Масарик открыл двери чешских университетов для русской эмигрантской молодежи, с его помощью была основана русская гимназия.

В Белграде, царствующий в Сербии царь Александр в самом начале 1920-х годов предпринял шаги, чтобы удержать русских антибольшевиков с семьями у себя в стране. Им были предоставлены права по устройству на работу в государственные учреждения, одинаковые с местными жителями (ничего подобного не было во Франции!).

Правительство стало выплачивать ежемесячное пособие знаменитым русским писателям, оказавшимся в эмиграции (и не только живущим в Белграде). Пособие было небольшое, 300 франков в месяц на человека, но оно высылалось регулярно. Другая сумма, тоже около 300 франков, приходила тем же лицам из Праги, из собственных фондов президента Масарика.

Во всех центрах русского рассеяния создавались литературные кружки, союзы, объединения, которые выпускали сборники и альманахи (сегодня они – мечта библиофилов!) – «Скит», «Новь», «Шестеро», «14», антология «Якорь»...

Шли литературные баталии различных школ, групп и стран.

По мнению популярного в те годы литературного критика и поэта Георгия Адамовича – литературное поколение, достигшее со-

знательного возраста и сформировавшееся в эмиграции, на берегах Сены, Молдовы, Савы, Вислы, Шпрее, Западной Двины, Финского залива и далекого Амура – вынужденно беспочвенно», и поэтому ему творчески доступно только «самое главное», «самое последнее» вне быта, вне всякой вообще обстановки. Адамович требовал искренности, простоты и даже «бедности» выражений. Перегруженность образами, богатство словаря представлялись ему в эмигрантских условиях неестественными, сомнительными, так же, как слишком резкий мажор или слишком навязчивые трагические тона. Он ни во что ставил таланты, способные эффектно иллюстрировать торжество «эмигрантского правого дела» в грядущем или сентиментально оплакивать «золотой сон минувшего».

Адамович утверждал право на «бестрибунность». Он писал в предисловии к антологии зарубежной поэзии «Якорь» (1936), «что истинный разговор с собой есть всегда разговор с миром, с другими людьми» и даже «разговор с Россией». Но в той торичеллиевой пустоте, в которой принуждены жить эмигрантские поэты, всякие попытки писать бравурно оптимистически или выдумывать фон России, знакомой только по далеким воспоминаниям, – являются покушениями с негодными средствами; и бесплодны всякие слишком легко найденные ответы, после которых сомнение продолжает «точить душу». Живя в изгнании, нельзя делать вид, что живешь дома.

Адамович до конца жизни не признавал поэзии Цветаевой, поэзии пражского «Скита», поэзии харбинцев. Пражские поэты ориентировались не на поэтов Парижа, а на поэтов Москвы – на Пастернака, Маяковского, Тихонова... Конечно, поэтому Адамович не мог воспринимать их поэзии.

Непонятно, как могли молодые парижские поэты уверовать в Адамовича, в его глупейшую идею «особой», «парижской ноты» русской поэзии.

Они стали писать одинаково, похоже на типично петербургские стихи начала века (в основном, на стихи гумилевской группы), то есть – скучно. Это вырождение было неизбежно, ибо тон задавал тот же Адамович.

Потому так заметно отсутствие поисков формы у парижан (кроме Цветаевой, Одарченко, Божнева) в отличие от участников

пражского «Скита», таллинского цеха поэтов или харбино-китайских эмигрантов.

Не зря В. Ходасевич высмеивал эпигонов и последователей Адамовича со страниц газеты «Возрождение», где вел литературный отдел. По четвергам в обеих газетах – в «Возрождении» и в «Последних новостях» выходили литературные страницы, и читатели гадали: «Кому сегодня «влепит» Адамович», «Что сегодня скажет Ходасевич»?

Но не будем вдаваться в подробности поэтических баталий давних лет – цель нашего предисловия дать краткую общую картину эмигрантской поэзии первой волны, а конкретику читатель будет черпать из стихов сам.

Составление любой антологии – субъективное занятие. Никакой объективности здесь быть не может, пусть каждому из ее участников и отводится одинаковое число страниц.

В представленной антологии собраны стихи, написанные *только* в эмиграции.

В отличие от составителей других антологий, мною не включены стихи авторов, написанные ДО эмиграции. Ибо цель книги – русская ЗАРУБЕЖНАЯ поэзия.

Более 50 имен появляются на страницах впервые. Известные по периодике и авторским книгам, они не включались составителями ни в «Якорь», ни в «Эстафету», ни в «На Западе», ни в «Музу Диаспоры». Про постсоветские издания не говорю.

Здесь затронуты все группы русского рассеяния – и Германия, и Югославия, и Чехословакия, и США, и Дальний Восток, и Балтия, а не только Франция. Упрек мне, что они представлены недостаточно. Например, казачьи поэты, поэты из лимитроф и США. Я принимаю его и оправдываюсь, во-первых, тем, что объем книги ограничен, а во-вторых, что пользовался эмигрантской периодикой, ибо считаю ее – основной базой для любого составителя. К интернету я испытываю законное недоверие, так как при сравнении помещенных в нем произведений с печатными оригиналами, сразу заметны пропуски и искажения.

Меня спросят: но почему нет биографических расширенных справок, почему в предисловии не названы имена поэтов и т.п. Я

ответчу: у меня другая цель – дать образцы поэзии, а не биографические сведения, с которыми читатель может познакомиться в моей книге «Мой литературный календарь».

Я хочу в этой Антологии дать, по возможности, весь спектр поэзии «первой волны»: и стихи эстетов, и кабацкие песни, и сатирические куплеты, и юмористические сочинения, ибо цель Антологии – картина ПОЭТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ русской эмиграции «первой волны».

При всех различиях – стилистических и политических – поэтов объединяет любовь к русскому языку.

Правда, мы видим, что у некоторых любовь к языку переходила в патологическую – другого слова не найти – веру в некую лучшую, грядущую Россию, даже, может, и не Россию, а мифическую Русь.

Не зря поэтесса восклицает: «Умрет эсесесерия, Россия будет жить!».

Дай-то Бог.

Но мне ближе все-таки стихи А. Галича, которого я цитировал раньше:

И в наших речах не звенит серебро,
И путь наш всё так же суров.
Мы помним слова «Благодать» и «Добро»
И строчки всё тех же стихов.

Поклонимся ж низко парижской родне,
Нью-йоркской, немецкой, английской родне
И скажем: «Спасибо, друзья!
Вы русскую речь закалили в огне,
В таком нестерпимом и жарком огне,
Что жарче придумать нельзя!»

Владимир Батшев родился в 1947 году в Москве. В 1965-1966 годах один из организаторов и руководителей неформального литературного общества СМОГ. Был арестован и осуждён на 5 лет «за тунеядство». Под давлением международного общественного мнения, в частности, издательства «Посев», освобождён по амнистии. Участвовал в диссидентском движении.

Окончил сценарный факультет ВГИК. Работал сценаристом в кино, литконсультантом, был представителем издательства «Посев» в СССР.

В феврале 1995 вместе с женой эмигрировал в Германию. Член Союза писателей Германии и международного ПЕН-клуба.

Владимир Батшев – редактор выходящих в Германии ежемесячного журнала «Литературный европеец» и ежеквартального журнала «Мосты». Автор многих книг, лауреат международных литературных премий.

См. также публикацию в нашем журнале №3, приуроченную к его юбилею.

Д. Аминадо

Ато-Амаре

Довольно описывать северный снег
И петь петербургскую вьюгу...
Пора возвратиться к источнику нег,
К навеки блаженному югу.

Там первая молодость буйно прошла,
Звеня, как цыганка запястьем.
И первые слёзы любовь пролила
Над быстро изведанным счастьем.

Кипит, не смолкая, работа в порту.
Скрипят корабельные цепи.
Безумные ласточки, взяв высоту,
Летят в молдаванские степи.

Играет шарманка. Цыганка поёт,
Очей расточая сиянье.
А город лиловый сиренью цветёт,
Как в первые дни мирозданья.

Забывать ли весну голубую твою,
Бегущие к морю ступени,
И Дюка, который поставил скамью
Под куст этой самой сирени?..

Забывать ли счастливейших дней ореол,
Когда мы спрягали в угаре
Единственный в мире латинский глагол –
Amare, amare, amare?!

И боги нам сами сплетали венец,
И звёзды светили нам ярко,
И пел о любви итальянский певец,
Которого звали Самарко.

...Приходит волна, и уходит волна.
А сердце всё медленней бьётся.
И чувствует, и знает, что эта весна
Уже никогда не вернётся.

Что ветер, который пришёл из пустынь,
Сердца приучая к смиренью,
Не только развеял сирень и латынь,
Но молодость вместе с сиренью.

Без заглавия

Был ход вещей уже разгадан.
Народ молчал и предвкушал.
Великий вождь дышал на ладан,
Хотя и медленно дышал.

Но власть идей была упряма
И понимал уже народ,
Что ладан вместо фимиама
Есть, несомненно, шаг вперёд.

Застигнутые ночью

*Я поздно встал, и на дороге
Застигнут ночью Рима был.*

Тютчев

Живём. Скрипим. И медленно седеем.
Плетёмся переулками Passy
И скоро совершенно обалдеем
От способов спасения Руси.
Вокруг шумит Париж неугомонный,
Творящий, созидающий, живой.
И с башни, кружевной и вознесённой,
Следит за умирающей Москвой.

Он вспоминает молодость шальную,
Весёлую работу гильотин,
И жизнь свою, не эту, а иную,
Которую прославил Ламартин.

О, зрелость достигается веками!
История есть мельница богов.
Они неторопливыми руками
Берут из драгоценных закровов.
Покорствуя величественной воле,
Раскиданные зёрнышки Руси,
Мы очередь получим в перемоле,
Дотоле обретаяся в Passy.

И некто, не родившийся, родится.
Серебряными шпорами звеня,
Он сядет на коня и насладится
Покорностью народа и коня.

Проскачут адъютанты и курьеры.
И лихо заиграют трубачи.
Румяные такие кавалеры.

Весёлые такие усачи.
Досадно будет сложенным в могиле,
Ах, скучно будет зёрнышкам Руси...
Зачем же мы на диспуты ходили
И чахли в переулочках Passy.

Монпарнас

Тонула земля в электрическом свете.
Толпа отливала и шла, как лавина.
Худая блондинка в зелёном берете
Искала глазами худого блондина.
Какие-то шведы сидели и пили
Какие-то страшные шведские гроги.
Какие-то девушки нервно бродили,
Цепляясь за длинные шведские ноги.
Какие-то люди особой породы,
В нечёсанных космах, и все пожилые,
Часами коптили высокие своды
И сыпали пепел в стаканы пивные.
Непризнанный гений попыхивал трубкой,
И всё улыбался улыбкою хамской.
И жадно следил за какою-то хрупкой,
Какою-то жёлтой богиней сиамской.
Поэты, бродяги, восточные принцы,
В чалмах и тюрбанах, с осанкою гордой,
Какие-то типы, полуаргентинцы,
Полусутенёры с оливковой мордой.
И весь этот пёстрый, чужой муравейник
Сосал своё кофе, гудел, наслаждался.
И только гарсон, приносивший кофейник,
Какой-то улыбкой кривой улыбался –
Затем, что отведавши всех философий,
Давно не считал для себя он проблемой
Ни то, что они принимали за кофий,
Ни то, что они называли богемой.

Юрген БАЛТРУШАЙТИС

Я видел надпись на скале:
Чем дальше путь, тем жребий строже,
И все же верь одной земле,
Землёй обманутый прохожий...
Чти горечь правды, бойся лжи.
Гони от дум сомненья жало
И каждой искрой дорожи –
Цветов земли в Пустыне мало...
Живя, бесстрашием живи
И твёрдо помни в час боязни:
Жизнь малодушному в любви
Готовит худшую из казней.

Бальмонту

Быть вновь уже не в здешнем цвете
Судьба земли тебе дала,
И копит мёд тысячелетий
Твоя бездрёмная пчела...
Да бодрствует твой дух безбольный
В юдоли скорби, зла, обид...
Досель ты – бард надменно-вольный,
Отсель – молящийся друид.

Раиса БЛОХ

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний Сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залётные, куда?
Там шумят чужие города
И чужая плещется вода.

Вас не взять, не спрятать, не прогнать.
Надо жить, не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять.

Не идти, ведь, по снегу к реке,
Пряча щёки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке.

Это было, было и прошло.
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.

Владимир БРАНД

Галки кричат и кружатся у старых седых колоколен,
ярко красен закат меж стволами берез и осин,
вечер тих и прозрачен, прозрачен, как будто бы болен,
умирают цветы позабытых садовых куртин.
Этот вечер – последний аккорд торжествующих песен,
эти яркие краски – предсмертная вспышка ланит.
Скоро снег, скоро снег, как холодная белая плесень,
скоро иней блестящий на голых ветвях зазвенит.

Мария ВОЛКОВА

2 февраля 1920

(убиение адмирала Колчака)

Он знал: пришёл последний час
И надо на покой!
Морозный день тихонько гас
Пред вечностью глухой.

Расположился взвод солдат
У каменной стены.
Сейчас затворы застучат, –
Мгновенья сочтены!

Не гильотина, не помост –
Пустой тюремный двор!
А пятна грубых красных звёзд
Так раздражают взор...

Толпы железное кольцо
Не облегло кругом.
Хотя бы милое лицо
Мелькнуло за окном!..

Как он любил суровый шум
Клубящихся валов!
Его отважный гордый ум
Не признавал оков.

Ажурно-пенная лазурь
Была ему родной,
Еще милей – порывы бурь
И страшной бездны вой!

И было много, много гроз,
Бывала смерть близка,
А он всегда с любовью нёс
Свой жребий моряка.

Но налетел Девятый Вал,
И всё пошло ко дну.
Он жизнь разбил, он счастье смял,
Он в горе вверг Страну.

Распалась сразу с прошлым связь.
Из ран сочилась кровь.
Но вот от Скорби родилась
Великая Любовь.

И заслонила целый свет:
И траур милых глаз,

И моря шум, и призрак бед,
И близкий смертный час.

Он смог забыть, он смог простить.
Расправилось чело,
И стало вновь отрадно жить
И сердце расцвело.

И бросил вызов он судьбе
В печали страшных дней
И всё своё забыл в борьбе,
Горя любовью к ней.

Ей – первый рыцарь и слуга –
Готов он кровь отдать,
И в смертных муках дорога
Ему Россия-Мать.

Идёт опять Девятый Вал.
Уж быть ему на дне.
«Как воин жил, как воин пал» –
Споют в родной стране.

...Команды мрачно ждёт отряд
И примкнуты штыки.
Но волевой орлиный взгляд
Не выдает тоски.

А у врагов смущённый вид,
Не слышно дерзких слов.
И вот, как Цезарь, он стоит
Перед толпой рабов!

На лицах ужас... Отчего?
Рванулось громко: «Пли!»
Напрасно: целиться в него
Солдаты не смогли!

Зачем отсрочка? Он готов:
Смерть встретить хватит сил!
Он сделал несколько шагов
И молча закурил.

Струёю тонкой вился дым,
Последний жизни дар...
Невольным палачам своим
Он отдал портсигар...

Волненья, муки – ни следа.
Окончен страдальный путь!
«Ребята, целить всем сюда!»
И показал на грудь...

И прозвучал его приказ.
Знак подавала рука.
Раздался залп. И свет погас.
Не стало Колчака.

Марианна КОЛОСОВА

По патрончику – за кровиночку

Складка горечи возле сжатых губ...
Неужели цель не намечена?
Заострите глаз, отточите зуб!
И сказать мне вам больше нечего...

Если сын сидит где-то в Вологде,
Если брат убит в Петропавловске; –
Надо чаще думать о вороге –
Не по кроткому, не по-ангельски,

Не по кроткому, голубиному,
Надо думу думать заветную,

А по мудрому, по змеиному,
Свою месть обдумать ответную.

И не ветра стон – это стон души...
Затерялось солнце за тучами...
В яме каменной на полста аршин
Соловецкий великомученик.

То не брат ли твой и не сын ли там?
Не отец ли твой задыхается?
Головою бьёт по сырým камням,
За клочки соломы цепляется...

Над страдальцами Соловецкими,
Над нарымскими заточёнными,
Над слезами невинными детскими
Издеваются «вохры» с «чонами».

Море – волнами, небо – тучами...
А восток – кровавыми зорями...
Чью-то мать во Пскове замучили...
А сестру в чека... опозорили!

Губы сжатые. Сердце молотом.
Слово чёрное, да зловещее...
Если сердце твоё расколото.
Втисни ненависть в эту трещину.

Не по ельникам, по осинникам,
Не в кубышечку, не в коробочку, –
Ветерок сберёт по полтиннику
На патрончики, на винтовочку!

За ложбинками, за пригорками
Проползёт лихой потихонечку...
По патрончику! (очи зоркие!)
За старушку-мать, за сестрёночку!

По патрончику – за слезиночку!
И за каждого из замученных.
По патрончику – за кровиночку!
Из винтовочек – пули – тучами!

Так чего же вам ещё спрашивать
Неужели цель не намечена?
Или с этими... Или с нашими!
И сказать мне вам больше нечего.

Кн.Федор КОСАТКИН-РОСТОВСКИЙ

Храм на крови

*(Во рву около ЧК в Харькове, Курске, Киеве,
Полтаве и др. городах, занятых добровольцами,
найлены тысячи расстрелянных)*

Их отрывают каждый день,
Расстрелянных и обожжённых,

Средь городов и деревень,
Без отпеванья погребённых.
Их расстреляли без суда,
В безумной жажде истребления.
Мы не узнаем никогда
Ни их вины, ни их мученья.
И дети здесь, и старики
И женщин с ними ряд невинных...
Толпы к ним с мукою тоски,
Стремятся в вереницах длинных,
Стараясь трепетно найти
В страданьем лицах искажённых
Ряд близких в чем-то обвинённых,
Кого велели увести.
Была вина их только в том,
Что не смогли они душою
Принять и восхвалять Содом,

Что совершался над страную;
В том, что молились у лампад
И в БОГЕ видели спасенье.
– За то свели их на мученье,
И вот теперь они молчат...
Молчат... Но грозная волна
В народе скрывшегося гнева
Порой врывается, грозна,
В звук похоронного напева...
Они молчат... Но на крови,
Залившей Русь в часы мученья,
Храм скоро встанет воскресенья,
Храм светлый мира и любви...
В том храме будет вновь сиять
Душа Руси, прошедшей муки.
С благоговением опять
Протянут там к святыням руки.
И горе всё прошедших дней,
И скорбь земли от мук усталой,
У обновлённых алтарей,
Там станет прошлой странно малой
Пред тем великим, что зовёт
К отраде ясной созиданья,
Когда забудутся страданья
И пережитых скорбей гнёт.
И тех, кто пал в кровавой драме
От рук разбойников лихих,
Навек запишут в этом храме,
Как память горьких дней былых,
Дней тьмы, в которых засияли
Невинно павших имена,
В чьих муках, столах и печали
От скверн очистилась страна...

Кн. Николай КУДАШЕВ

Ветреница

На солдатской шинели ясней
Серебрится предутренный иней!
В небе сноп разноцветных лучей
Пулемётом прочерченных линий.
Неприятель зашёл с темнотой
Между ротами нашей и пятой...
Примкнут штык! За кудрявой сосной
Рвутся гулко ручные гранаты!
Чьи у Господа дни сочтены?
Чьей лампы светильник потушен?
Перед ликом суровой войны
Оплывают солдатские души...

Как стеклярус седая шинель,
Поседели соседей пилотки...
Ты узнаешь о встрече в метель
Из сухой и коротенькой сводки.
Снова сноп разноцветных лучей,
Пулемётом прочерченных линий.
Нужно целить спокойней, точней...
Тает снег на стволе карабина!

Юлий МАРГОЛИН

Музе дальних странствий

О Лилия – Лиана,
О Лириана Ли!
Все города и страны
С тобой мы обошли.

И всё что волновало
Мы снова посетим:

Палермо и Раппало,
Венецию и Рим.

Венгерские равнины
Долины Пуату,
Развалины Берлина
И город Тимбукту.

У входа в Кампо-Санто
Гробницы нас зовут.
Певцы и музыканты
Играют и поют.

Цветные попугаи,
Бухарские ковры
И караван-сарай
Предместий Анкары.

Волшебный рай Ливана
И пальмы Сомали —
О Лилия, Лиана,
О Лилиана Ли!

От севера и юга
На запад и восток
С тобой, моя подруга,
Я мир изведать мог.

По разному встречали
Нас разные края,
Но жизни без печали
Нигде не встретил я,

Печали без улыбки,
Улыбки без мечты,
И без цыганской скрипки
Последней нищеты.

О Лилия Лиана,
О Лиана Ли!
Сойдём на берег рано
Родной моей земли.

Взовьётся гордый вымпел
Над рейдом золотым,
И всё, о чём чужим пел,
Я повторю – своим.

Я им рассыплю бусы,
Огни и жемчуга,
Рассказы и турысы
Про дальние снега.

Неслыханные сказки,
Невиданные сны –
И песни без опаски
Из северной страны.

Александр ПЕРФИЛЬЕВ

Я был плохим. Да, ты права, не спорю,
Был хуже всех – отцов, мужей, людей.
Я не сочувствовал чужому горю
И не искал сочувствия нигде.

Я не старался с этой жизнью ладить,
И спорить с ней я тоже не хотел,
Писал не денег и не славы ради,
Писал тебе... Я просто жил и пел.

Я совершал ошибку за ошибкой,
Не различал ни в чём добра и зла,
Склоняясь только пред твоей улыбкой,
Пред отблеском обманного тепла.

Ни прошлое меня не волновало,
Ни будущее – что мне времена,
Когда заря над городом вставала
Из одного, из твоего окна.

Я знал, что жизнь встаёт с другим рассветом,
И все цветёт от солнечных лучей,
Но для тебя я забывал об этом,
И для тебя я был всегда ничей.

И вот теперь, когда закрылся ставень,
И нечем жить, и улица темна,
Ты не имеешь права бросить камень
В того, кто пел у твоего окна.

Юлий ЗЫСЛИН

ВЕНОК РУССКИМ ПОЭТАМ

Борису Пастернаку

*За поворотом в глубине лесного лога
Готово будущее мне, верней залога.*

Б. Пастернак

В Переделкине тихо, исчезла луна,
Под сосною цветы подсыхают.
И щебечет она,
Весела и вольна
Птичка та, что страданий не знает.

А овраг, как порог, слышит птичьи лады,
Что звучат средь ветвей, не смолкая.
И легла на пруды,
На гладь темной воды
Тень восторженная и шальная.

Лог лесной недвижим, он пролёт как строка,
Ему Бог сон поэта доверил.
И толпою снега –
Одеял облака
Сбились в кучу, гонимые ветром.

Переход от забот в неизвестность без ссор,
Где прозрачные блики мелькают,
Где не слышится спор,
Где огромный простор,
Где душа, вознесясь, отдыхает.

Марине Цветаевой

Борисоглебские оконца

Марину помнит старая Москва –
Трёхпрудный переулок и Волхонка,
И Сивцев-Вражек, и Тверской Бульвар,
Борисоглебские оконца.

Марину помнит Кремль золотой,
Москва-река в одеждах неизбитых,
И монастырь на площади Страстной,
Сейчас и сам едва ли не забытый.

А Пушкин с той же шляпою в руке
Стоит теперь лицом к её бульвару
И смотрит, как по улице-реке
Плывёт поток тверской, как и бывало.

Теперь в Москве кружится голова
От вальса среди планет-микрорайонов.
В них потонула старая Москва,
Едва слышны холмов заветных стоны...

Но дух московский всё еще живёт.
Его не смять. Светлы его скрижали.
Он не ржавеет. Он всегда поёт
О тех поэтах, кто Москву прославил.

И потому запомнила Москва
Трёхпрудненское маленькое солнце,
И Сивцев-Вражек, и Тверской бульвар,
Борисоглебские оконца.

Есть могила в Елабуге
 рядышком с соснами,
Им нельзя горемычную
 не вспоминать.
А подругам-берёзонькам,
 будто бы сосланным,
В стороне
 от могильной ограды стоять.
Под берёзками теми
 и небом заржавленным,
Как поэт,
 в одиночестве мается крест.
В невесёлых раздумьях
 и как-то затравленно
Смотрит он
 на могилу её и окрест.
Ей хотелось лежать
 на тарусском на кладбище,
Где обрыв над седою Окою-рекой.
Говорят, у обрыва
 положено камнице –
Чьей-то светлой душой,
 чьей-то доброй рукой.
Стонет ветер давно
 у Оки и в Елабуге,
Все места достославные он обежал.
Самиздатовский крест
 и тот камень оплаканный
Тёплый ветер российский
 щекой обласкал.
Где могила
 поэта Марины Цветаевой?
Где? Где? Где?

Не худо бы покаяться

Стою у дома синего,
в смятении душа
и говорю с Мариною
тихонько, не спеша.
Я у неё прощения
прошу. Ответа нет.
Такое ощущение,
что помутился свет.
Живущим нет прощения,
нам мучиться дано –
ведь место погребения
как будто не одно,
ведь исчезают полночью
распятья и кресты
и вырубает полностью
могильные кусты.

Не худо бы покаяться
распластанной стране.
Довольно дурью маяться
в привычном полусне.
Тогда на сосны спустится
прозрачный ореол
и дьявол улетучится,
и воспарит орёл.
Не слышно покаяния –
Какая-то возня...

И корчится в страданиях
Российская земля.

Осипу Мандельштаму

«Откуда такая нежность?»

М. Цветаева – О. Мандельштаму, 1916

*«Когда душе и тóропкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина...»*

О. Мандельштам, 1934

– Откуда нежность у поэта?

– Да из души.

Другого верного ответа

Ты не ищи.

В его душе котёл безногий

Кипит, бурля.

Добра намешано в нём много

И нету зла.

– Откуда нежность у поэта?

– Да из любви.

Другого верного ответа

Ты не лови.

Его любовь – огонь торóпкий –

Горит всегда,

Огонь невидимый и топкий,

Как дно пруда.

– Откуда нежность у поэта?

– Из глаз и слёз.

Давно я знаю мнение это –

Зачем вопрос?

*Анне Ахматовой***Во дворе Фонтанного Дома**

*Я всем прощение дарую
И в Воскресение Христа
Меня предавших в лоб целую,
А не предавшего в уста.*

Анна Ахматова

Фонтанный Дом. Я подхожу.
Знаком был лишь заочно.
Ошеломлён. На двор гляжу.
Затрепетала строчка...

Какой здесь воздух, чем дышала,
Дорожки светят под окном,
Люблю их с самого начала,
Любить другое не дано.

Ах, двор, как парк зеленокудрый,
Где дети шлёпают в тиши,
Где Амундсен грустит премудрый,
Как будто слушает стихи.

И здесь же тихо, величаво,
Как строил Бах свои лады,
Поют поэту птицы славу,
В сердцах, чтоб вызрели плоды.

Плоды смиренного желанья
И неосознанной мечты
Понять души святую тайну
Необычайной доброты,

Той, что прощение дарует –
И в Воскресение Христа –

Её предавших в лоб целует,
А не предавшего в уста.

Николаю Гумилёву

К выходу в России его четырёхтомника

Евангелие и Гомера
Он взять в тюрьму не позабыл.
Любил поэзию безмерно,
Игру со смертью очень чтил.

Своей судьбы лихой ваятель,
Всех удивлять – большой мастак,
Поэт огромный и мечтатель
Расстрелян был за просто так.

Пытались умолчать поэта,
От власти был такой наказ,
Тянулась долго подлость эта,
И вот настал заветный час:

Пришли стихи его к народу –
Наверно, Бог молитвам внял.
На поруганье честь, свободу
Поэт забытый не отдал.

Максимилиану Волошину

Море трётся о причал,
Сверху смотрит Янычар,
Серебристый лох дрожит,
Где заветный прах лежит.
Ветер хлещет по ветвям
И полощет душу нам.
И смыкаются сердца
У могилы мудреца.

Вопреки тьме мерзких туч
Светлой мысли добрый луч
В Коктебеле не угас,
И сейчас ласкает нас.

Где-то горлица кричит,
Берег галькою шуршит,
Синусоидой волна
Изгаляется, вольна.
Режет воздух Карадаг,
Смотрит в море профиль-флаг...

Тих Волошинский залив –
Светом божеским залит.

Булату Окуджаве

Мне помнится плёнка скрипучая
И слышится через года
Та интеллигентность певучая,
Что вдруг зазвучала тогда.

Слова грели, голос солировал –
Негромкий, щемящий такой.
Он в сердце моём завибрировал
И плавно поплыл над страной.

В ушах замерла интонация,
Мелодия в душу лилась,
Задумалась, слушая, нация –
Не вся – её лучшая часть.

Года те уж стали историей,
Но вечна с тем голосом связь.

Наверное, не по теории
Свобода с него началась.

Владимиру Высоцкому

Ты душу рвал себе, как знамя нёс,
И пел про жизнь – не мог, конечно, знать,
Что после смерти встанешь в полный рост
И морды конские у шеи будут ржать.

А за спиной, у головы твоей – гитары торс.
Без струн гитара. Где же верх её, где низ?
Висит она, вдыхая терпкий запах свежих роз,
Которым, к счастью, совсем не нужно виз.

Несут тебе их ежедневно круглый год с полей
душевных нив –
Подумать только, вот уже почти две тыщи дней.
Наверно, им ни к чему придуманный гитарный нимб
И силуэты хилые заплечных тех коней.

Ты душу рвал себе. И может быть, не знал,
Что образом своим ты наши души рвал.

Юлий Зыслин родился в Москве. В США с 1996 года. Кандидат технических наук, коллекционер, культуролог, издатель, бард. Основал в Москве музыкально-поэтический клуб «Свеча» (1979-1995), а в Вашингтоне – «Музей русской поэзии и музыки» (1997), «Аллею русских поэтов, композиторов и художников» (2003), «Литературные чтения в парке» (1996). Инициировал создание русского отдела в одной из новых библиотек Большого Вашингтона (2006).

Автор 4 сборников стихов, 3 книг прозы, более 200 статей, 25-ти музыкально-поэтических композиций, сотен песен. Автор идеи создания «Американского музея русской культуры» для широкой публики. Публиковался в различных журналах и в ряде газет.

Обладатель медали Московского дома Марины Цветаевой «За достижение в цветаеведении».

Лариса ИЦКОВИЧ

НОВЫЕ СТИХИ

ДУША И ПЛОТЬ

Зое Никифорович

Меж бральной нашей плотью и душой
Дистанция с годами всё виднее,
Хоть вместе ими пройден путь большой,
Но год от года телу всё труднее –
Теряет или прибавляет вес,
Страдает от изжоги и артрита,
И лишь в душе задор и интерес,
Вся радость жизни ею не испита.
Она – дитя от света и теней,
Таинственная искра мирозданья.
Что станет с нею за чредою дней
И неизбежным мигом расставанья?
А будет так: она вспорхнёт в эфир,
Весенним струям подставляя губы,
Сама себе хмельной закатит пир,
Отжившей плоти сбросив кокон грубый.

ВЕСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Смотри, показались сегодня из почек листочки,
Жуки выползают, усами траву шевеля.
И мчится по космосу еле заметным комочком
Планета прекрасная, наша с тобою Земля.
Волшебным ковром устилают предгорья тюльпаны,
В объятьях лесов, трепеща, оживают поля,

И лишь человечьи, но бесчеловечные кланы
Не могут друг друга любить на планете Земля.
Смотри, как прекрасно, когда у пшеничного колоса
Не «Тополь» взлетает, а мирно растут тополя.
Господь не спасёт, не помогут пришельцы из космоса
Сберечь нам планету, что мы называем Земля.
Не дай же, Господь, чтобы в дальних мирах увидали
Со смрадом и дымом летящую грудой угля,
Бессмысленно тело несущую в дальние дали
Планету, что мы называли с тобою – Земля.

КОЕ-ЧТО О БЕССОННИЦЕ

Меня не будят петухи
Среди чикагской ночи,
Не сплю от всякой чепухи
(Смотри за двоеточьем) :
шумит в сливном бачке вода,
не дремлет боль в колене,
идут в трёх милях поезда,
по стенам бродят тени,
кот по паркету прошагал,
мурлычет холодильник,
и полнолуние правит бал,
и тикает будильник...
А я всё жду прихода снов
До предрассветной сини,
Не сплю до пятых петухов,
Которых нет в помине.
И мысль, назойливей, чем клин,
С советом лезет тоже –
Мол, принимай мелатонин,
Авось, поможет...

МОЛИТВА

Дай, Господи, мне умирать в сознании
И к жизни вечной подготовить душу.
Я не ропщу на плоти увяданье,
Слезами час прощанья не порушу.
Дай, Господи, мне передать потомству
Таланты (это всё, чем я богата!),
Чтоб без предательства и вероломства
Они хранили то, что в жизни свято.
Прости мои бывшие прегрешенья
И одержимость лишь одною целью –
Чтоб изредка хотя бы на мгновенье
Увидеть близких из небесной кельи.
Ещё даруй мне силу провиденья
(За добрые дела мои в награду),
Чтоб удержать их от грехопаденья!
А больше, Господи, мне ничего не надо.

ЭВОЛЮЦИЯ

Вот в каменном веке бывали сраженья –
Два рода друг в друга метали камень,
Кидали, швыряли, порой попадали,
Потом соплеменников дружно съедали,
Занявши пещеру побитого рода,
И камень на камне хранили у входа.
Потом, когда предки металл выплавляли,
То сразу мечи и секиры ковали,
Чугунные ядра метали из пушек
(Их делали больше, чем ложек и кружек),
И если селенья в сражениях брали,
Лишь камень на камне от них оставляли.
В грядущей картине немислимых судеб
Представьте, сограждане, что с нами будет,
Когда чемоданчиком с ядерной кнопкой
Маньяк завладеет рукою не робкой,

И атомный гриб всё сожжёт и отравит,
И камня на камне уже не оставит.

НАШ ДОБРЫЙ ДЕНЬ

Застолье наше скромное, простое,
Не нужен разносолов нам букет,
Без стула с нами за столом бывшее,
Копившееся восемьдесят лет.
Бокал до верха мы не наливаем –
Не та в нас прыть, не тот уже задор,
Но разговор мы наш перебиваем
Рассказами, что помним до сих пор.
Какое разнопутье и сплетенье
Дорог и судеб, взглядов и идей!
Но память не приводит в умиление
К стране, где в нас не видели людей,
Готовых и к открытиям, и к служенью,
Лишь «пятый пункт» она брала в расчёт,
Не позволяя собственного мненья,
Ломая крылья рвавшимся в полёт...
Сидим и пьём вторую чашку чая,
Гордимся достижениями внучат...
С друзьями мы сегодня отмечаем
Наш добрый день и тихий наш закат.

Лариса Ицкович родилась в Азербайджане, выросла в Украине, зрелые годы провела в Белоруссии. В Одессе и в Минске получила университетское образование. Специализировалась в физической химии, работала научным сотрудником и преподавателем в Белорусском политехническом институте. С 1994 года живет в Чикаго.

Писать стихи стала в основном во второй половине прожитых лет, публиковалась в русскоязычных газетах и журналах Америки, Германии и Израиля, в поэтических сборниках. Издала две поэтические книги.

Виктор НОРД

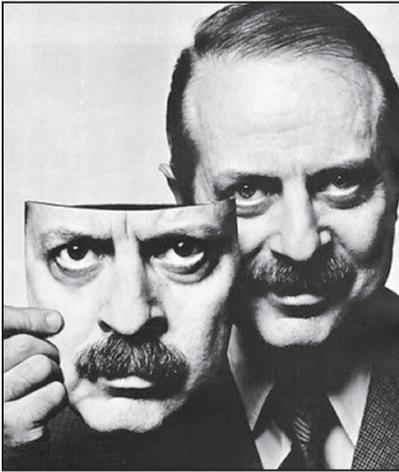
СИМВОЛ БРОДВЕЯ ДЭВИД МЕРРИК

Окончание. Начало в № 2, 3

Очевидно, стоит пояснить, почему при всей его феноменальной энергии, честолубии и способностях успех так медленно и трудно давался Меррику. Дело в том, что он, привыкший считать себя натурой цельной, ясно определявшей свои устремления, на самом деле втайне страдал от серьезного внутреннего разлада. Не зря же один из наиболее пронизательных его авторов когда-то прозвал Дэвида мышью, притворяющейся крысой. Он жил в Нью-Йорке вот уже десять лет; прошло три года с тех пор, как он покинул офис Германа Шумлина, своего первого босса и наставника. Но и сегодня, как десять лет назад, Дэвид был вовсе не уверен, что встречи с ним так уж будет жаждавать Орсон Уэллс, этот избалованный славой мальчишка, любимчик критики. Да, за спиной Дэвида был успешный спектакль, выдержавший более двухсот представлений, но это была всего лишь комедия положений, салонный импорт из Лондона, светский, несколько старомодный юмор. Убежать от бедности – да, это Меррику удалось. Но вот куда прибежать с этим успехом, на что его употребить, оставалось пока не очень ясным.

Неясным – потому что при всей своей любви к деньгам и страстном желании покорить толпу он не мог избавиться, сбросить с себя, забыть то, что в беседе с коллегами, за неимением лучшего слова, называл «класс». Нет, нет, он все делал правильно. Он никогда не считал себя иммигрантом. Он сменил фамилию и стиль жизни, не употреблял принятые на Бродвее соленые идишистские словечки, он старался пореже встречаться с друзьями юности, демонстративно отрешивался от своего нищего еврейского прошлого. И все же... Этот чертов дядя Моррис с его бруклинским акцентом, бедняк, торговавший шляпами, чтобы оплачивать любительские постанов-

ки классиков, не давал Меррику покоя. Дэвид знал, что никто на Бродвее не начинает карьеру с Ибсена, что, ставя классику, люди тратят деньги вместо того, чтобы их делать – и все же... И все же он никак не мог совладать с собой, со своей природой: в потаенных



уголках души он оставался одним из еврейских мальчиков, которых острый глаз Чехова заметил еще в «Ионыче». Тех самых, кто в русской глубинке, сгорбившись над книгами в пустующих земских библиотеках, дни напролет портили свое зрение и здоровье, чтобы улетать в заоблачный, столь далекий от них мир классики – мир высокой литературы и драмы, мир Софокла, Шекспира, Толстого, Расина, Шиллера, Гёте... Весь прошедший год Дэвид день и ночь охотился за ма-

териалом для своего первого мюзикла, и ему уже не раз и не два попадались испытанные временем либретто (или, как называли их на Бродвее, книги); от них пахло – чутье его не обманывало! – успехом у публики, очередями за билетами в квартал длиной и хорошими деньгами. Но когда он воображал эти изношенные сюжеты на сцене, ему... ему не хотелось подобным путем зарабатывать себе славу. Да, да! Ему не в радость стали бы и такие деньги! Обычными долларами было не окупить все эти адские усилия и бесконечные унижения на пути к сцене. Ему, как ни странно, требовалось – и он продолжал поиски – начать с чего-нибудь получше, повыше классом. Черт бы побрал этого дядю Морриса, заразившего его театром! Лучше б уж Дэвиду было вообще не знать ни Мольера, ни Чехова, ни Стриндберга...

Придя домой, он прежде всего заказал срочный международный разговор. Было без четверти шесть утра, в Париже уже почти полдень. Ему нужно было непременно узнать частный адрес Паньоля, автора трех пьес, которые он теперь никому ни за что не уступит. Прежде всего, попробовать через обычное адресное бюро Парижа. Там не говорят по-английски, но ничего, надо попытаться...

Пока ждал связи, Дэвид разбудил Леонор. Та, хоть и спросонок, но поняла своего мужа с полуслова – да, был ее ответ, разумеется, она согласна! Она весьма заинтересована вложить первые, самые рискованные деньги в новый мюзикл. Да, она вполне отдает себе отчет, что на сей раз – это очень серьезная сумма. Но разве не за этим и ехали они в Нью-Йорк?

Зазвонил телефон. Первая удача. Оператор понимает английский и соединяет его с секретариатом Académie Française; там ему должны помочь связаться с любым из членов Академии. Выясняется, что Марсель Паньоль живет не в Париже и вообще не во Франции. Его место жительства – княжество Монако, Монте-Карло. Там другие законы, и номер телефона без его разрешения получить нельзя, только почтовый адрес.

Прямо на месте Дэвид Меррик набрасывает черновик письма. Предложение о покупке прав на мюзикл по трилогии Марселя Паньоля, по всем его трем пьесам. Утром двуязычная канадская секретарша отправляет в Монте-Карло письмо, отпечатанное на дорогой бумаге под грифом «Лично в руки – конфиденциально» с подстрочным переводом на французский.

После этого в ожидании ответа отсчет пошел на минуты.

Потом на часы.

Потом на дни и недели. Потом прошли два месяца непрерывных телеграмм, телексов и телефонных звонков на все мыслимые адреса и коды. На третий месяц глухого молчания Меррик прямо из дома отправляется в аэропорт Ла Гвардиа, захватив с собой из багажа только паспорт и бьювар с подготовленным на двух языках предложением: передача сюжетных прав с открытой суммой гонорара!

Через пятнадцать часов он утром без предупреждения звонит в дверь дома Паньоля в Монте-Карло. Неожиданно ему отворяет сам владелец – и прямо с порога Меррик, как есть, с дороги, в своей наглухо застегнутой тройке, начинает свой «питч», страстное изложение причины визита. Слегка опешивший Паньоль сперва принимает американца в темном костюме не то за шулера, не то за погребального директора, и думает, что ему предлагают услуги похоронного бюро или билеты в новое казино. Не проходит, однако, и двух минут, как подкупленный наговатым, но искренним энтузиазмом Дэвида Паньоль приглашает его пройти в дом.

Двадцать минут спустя, в принципе согласившись на условиях, они ударяют по рукам – и сделка завершена.

Счет теперь идет действительно на минуты. Соглашение надо юридически оформить, прежде чем о нем пронюхают конкуренты и попытаются предложить автору условия получше. Всю дорогу домой Меррик записывает в своем желтом блокноте пункт за пунктом детали будущего контракта. Слава Богу, ему не требуется адвокат.

Членов Академии во Франции официально называют Бессмертными. На всю страну их (живых), может быть, сорок человек, не более. Избранный в возрасте 42 лет, Марсель Паньоль стал самым молодым академиком и первым бессмертным кинодеятелем. Картина по его пьесе «Мариус» была первым звуковым французским кинофильмом. Поставлена она была, правда, не им, а Александром Корда, знаменитым англичанином (и в недавнем прошлом, как и Меррик, нищим эмигрантом – венгерским евреем, сбежавшим от большевиков). Хотя в свои 45 маститый Паньоль все еще считался молодым автором, Меррик отдавал себе отчет, что имеет дело не с каким-то там новичком, жаждущим успеха на Бродвее. Прежде чем были подписаны финальные варианты всех бумаг, Дэвиду пришлось еще дважды слетать в Монте-Карло, а потом еще и объехать пол-Франции, покупая у многочисленных незаконных детей Паньоля их долю на права. Только для приобретения полноценной лицензии на мюзикл ему пришлось проделать в поездках более 2,5 тысяч миль...

Еще прежде своего юридического вступления в права Меррик оплатил гигантский подстрочный перевод всех трех киносценариев; для бродвейской их адаптации он нанял пару подающих надежды молодых драматургов; те предложили перенести действие в Бостон. Терпение Дэвида подходило к концу: веря в очевидный успех литературного материала, он поторапливал авторов. Но тут ему пришлось, что называется, проглотить пулю и расплатиться за нетерпение. Переделка явно не удалась, материал сопротивлялся американизации. Меррик полностью оплатил работу юных талантов и молча убрал все написанное ими в архив. До финальной версии либретто мюзикла ему предстояло ждать еще долгих два года.

На третью встречу с французским академиком Меррику удалось привезти с собой и будущего постановщика спектакля Джошуа Логана. Сам Логан, правда, предпочитал слову будущий менее обязывающее предполагаемый, но Дэвиду было не до нюансов: он чувствовал, что ковать железо пора прямо сейчас, не оглядываясь и не жалея ни сил, ни времени, ни средств. Было жизненно важно, чтобы режиссер Логан, увлеченный материалом, и его автор Паньоль понравились друг другу и нашли общий язык. И они нашли его с помощью Меррика, вернее, его способностей продавать идеи, но главное – из-за его искренней влюбленности в образы, созданные академиком-французом.

Образы и характеры эти резко отличались от привычных зрителю персонажей бродвейских музыкальных спектаклей...

Прежде всего – героиня. Царившие на музыкальной сцене Бродвея 50-х американские инженерю, бойкие, загорелые, грубовато кокетливые, но при этом ханжески целомудренные, никакого отношения не имели ни к реальности, ни тем более, к Фанни, юной матери незаконного ребенка, выросшей в старом, пропахшем рыбой и колониальными пряностями порту Марсея, главного города веселого солнечного Прованса.

Даже если перенести действие вместо описанного Паньодем Марсея, скажем, в дельту Миссиссипи, в Нью-Орлеан, Фанни все равно гляделась бы там посторонней, чужой. А может, это и к лучшему, думал Меррик? Ему и самому приелись банальные характеры стерильных блондинок из маленьких американских городков, под видом гимнасток-маджореток без труда проходивших сквозь рогатки свирепой театральной цензуры, несмотря на их вызывающе короткие юбки и обтягивающие свитеры.

Вероятно, здесь стоит на минуту остановиться и коротко пересказать хотя бы завязку шестичасовой трилогии Паньоля.

Дочь торговли устрицами Фанни с детства влюблена в Мариуса, сына владельца портового кабачка. Мариус любит Фанни, но больше всего он мечтает стать матросом и увидеть мир, уплыть подальше от надоевших ему доков Марсея. Оставив Фанни, Мариус надолго уходит в море. Фанни ожидает ребенка. Малышу будет нужно имя, ему понадобится отец, а писем от Мариуса все нет. Мать находит для Фанни подходящего мужа, пожилого бездетного вдовца. Весель-

чак Панисс, преуспевающий парусный мастер, рад возможности одним махом стать и мужем молодой женщины, и отцом наследника. Не дождавшись вестей от Мариуса, Фанни решается выйти замуж... Когда малышу исполняется год, Мариус неожиданно объявляется в Марселе. Он настаивает на раскрытии тайны рождения ребенка и хочет забрать его, а возможно, и Фанни, с собой. Однако отец Мариуса и старый друг Панисса, известный в порту своей мудростью Сезар решительно пресекает его планы. В незамысловатых выражениях он дает сыну понять, что родители – это те, кто берут на себя права любить и растить детей, а не просто их зачинают, и что такие родительские права он заставит своего сына уважать...

Проблема отцовства и любви к чужим детям, этот извечный человеческий конфликт между биологией и душой проходил и далее сквозным действием по всей трилогии до самого финала. Он был главной темой этой народной комедии, густо населенной уличными философами и уличными девицами, сошедшими на берег морскими волками, танцовщицами живота, пьянчугами – чудаками и мудрецами старого портового города.

Главная тема – вот, наверное, из-за чего никогда не знавший отеческой заботы Меррик время от времени шумно сморкался и вздыхал, шагая под утро к себе домой по опустевшему Бродвею. И это именно то, из-за чего рафинированный аристократ американского театра Джошуа Логан пошел, вопреки всем прогнозам и советам, на партнерство с Дэвидом Мерриком. Чувствами и мыслями Логана завладела драма, от которой ханжеская бродвейская сцена 50-х годов старалась держаться подальше. Сам бездетный, Логан был отцом приемных детей. Физический его отец покончил с собой, когда Джошуа было всего три года. Своему отчиму, скромному преподавателю военной школы, он был обязан и положением в обществе, и успешной профессией, и даже своей стипендией на поездку в Москву, на репетиции к великому Станиславскому – и Логан этого никогда не забыл. Звездный, кичащийся богатством Нью-Йорк – не послевоенная Франция; добираться до Логана Меррику было намного сложнее, чем до Паньоля, но права на постановку открывали ему множество дверей, настолько трилогия была хороша. А владевший французским Логан мог к тому же и на все

сто процентов оценить ее пенящийся жизнелюбием и уличной дерзостью прованский юмор. Джошуа Логан, коронованный критиками в качестве надежды американского театра, условно согласился на режиссуру и партнерство с начинающим импрессарио Мерриком. Главным его условием, однако, было участие в постановке Роджерса и Хаммерстайна 2-го в качестве композитора и автора текстов песен.

Закружилась ли в этот момент у Дэвида голова? Ничуть.

Да, речь шла о гигантах музыкального театра. Да, этой паре было судьбой начертано подарить миру такие шедевры, как «Оклахома!», «Карусель», «Тихий Южный», «Король и Я», «Золушка» и, разумеется, «Звуки Музыки»! Да, их арии распевали везде, мальчишки насвистывали их мелодии, не зная ни авторов, ни названий; их играли на улицах, во дворцах, в ночных клубах, на свадьбах, на стадионах – во всех уголках земного шара, на всех существующих в мире инструментах! Можно было сбиться со счета, перечисляя их награды: все эти «Оскары», «Тони» и «Эмми». Их премьеры за один вечер делали суперзвездами актеров, о которых прежде никто не слышал: Юла Бриннера, Джули Эндрюс, Теодора Бикеля... Но Леонор была убеждена, что ничего менее масштабного ее Дэвид и не заслуживает, и поэтому он не должен разменивать себя на более доступные творческие контакты. «Большинство и так-то хочет для себя лишь немногого, – напоминала она мужу, – а по закону Фортуны непременно получает и того меньше!»

Обычно за обоих авторов переговоры вел Ричард Роджерс, и личного свидания с ним Меррик добивался из последних сил. Он верил в свой дар убеждения, и его вера в материал обещала успех такой встречи. Но время шло, внятного ответа из офиса Роджерса не поступало, и Логан сам отправился к композитору с подстрочником пьесы и предложением совместной работы. В конце концов это в его, Логана, постановке собирал сейчас толпы зрителей их мюзикл «Тихий Южный». И это он, Джошуа Логан, лично переписал для них страниц пятьдесят, если не больше, нового либретто, репетируя этот спектакль! Логан вернулся со встречи вне себя от бешенства. В офисе Роджерса его предложение не только встретили решитель-

ным отказом, но и намекнули, что даже за прошлое авторство переделанных им сцен Логану придется еще побороться в суде. Успех «Тихого Южного» был настолько велик, что речь шла уже о тяжести за несколько миллионов авторских.

Что касается условий участия Меррика, довольно скромных надо сказать (на афише под названием спектакля – титр мелкими буквами: «При участии Дэвида Меррика») – они вызвали не только гнев, но и насмешки Роджерса. Участие?! Да для любого новичка участие в работе Роджерса и Хаммерстайна означало новые горизонты, новую творческую жизнь – но что могло дать великой паре участие в их проекте какого-то Меррика?

Отказ! Но композитор еще и злобно буркнул Логану вслед: «И вообще, скажи, чтобы этот шмок оставил нас в покое». Этого, по слухам, Меррик никогда Роджерсу не забыл.

Как ни странно, инцидент этот сыграл решающую роль в дальнейшем сотрудничестве Меррика и Логана. Не на шутку разозленный грубым высокомерием композитора, режиссер отбросил, наконец, условие его участия в постановке и согласился на равное партнерство с Мерриком.

С начала работы над проектом «Фанни» прошло, между тем, уже почти три года.

12-го сентября 1953 года, в который уж раз проглотив пулю (то есть, запрятав поглубже в карман самолюбие), Меррик предпринял последнюю попытку заполучить Роджерса и Хаммерстайна и написал им из Парижа письмо. В нем он извещал, что Паньоль продлевает ему действие контракта еще на несколько лет, «... и было бы прекрасно, если вы и м-р Хаммерстайн стали авторами этого шоу. Как жаль, что переговоры так быстро прекратились...» И далее, прибавлял Меррик самым скромным и любезным тоном, на который только был способен: «Я знаю, что совершил ошибку, допустив, чтобы третье лицо обсуждало наши деловые предложения с писателями или иными творческими людьми. Тесное сотрудничество, к которому мы стремимся, является настолько личным, что помимо принципиальных сторон, любой посредник может только помешать успешному соглашению». Ответа Меррик не дождался и в этот раз, и тогда, поставив крест на великой паре, он вплотную

занялся поисками нового композитора. Но зато теперь у него был Логан!

Тот, правда, должен был закончить работу еще над тремя постановками: таково было еще одно условие. Время не стояло на месте, но сейчас уже и сам Логан трудился день и ночь, чтобы поскорее закончить с прежними обязательствами и приступить к «Фанни». Для пробных прогонов «на публике» Логан выбрал необычный город – Нью-Орлеан. Большинство продюсеров эту стадию работы над спектаклем предпочитало проводить поближе к дому, в Бостоне, например, в Нью-Хэйвене или в Филадельфии. Там и климат полегче, и публика более привычная к новым постановкам, но Логану было важно вернуться в свой родной город сейчас, на вершине мировой славы, и с пьесой, обещавшей в скором будущем шумный успех на Бродвее. В этот портовый город он пригласил на местную премьеру и Меррика. В своем плотном темном костюме и котелке Дэвид выглядел почти комично среди легко одетой публики, привыкшей к духоте и жаре Миссиссипи. Однако, как и всегда, он создавал впечатление, что ни жара, ни дождь не властны над складками его брюк и туго накрахмаленной манишкой. Дэвид Непробиваемый...

Намеренно не заметив ироничных взглядов, которыми обменялся режиссер со своей женой, Меррик, войдя в театральное фойе, прежде всего кивнул своему шоферу, и тот распаковал коробку с подарком от нового партнера. Это была механическая кукла начала 19 века. Она изображала веселого мавра в феске, курившего кальян, выпуская настоящий дым. Логаны коллекционировали старинные французские автоматы, и эта игрушка точно подошла к металлическому мавру, играющему в шахматы, когда-то подаренному им самой Коко Шанель! Партнерство начиналось с верно взятой ноты...

Местная критика в целом отнеслась благосклонно к новой премьере Логана «Любезный Сэр», комедии характеров о связи романтической театральной актрисы и холостяка-банкира. Актерское исполнение было признано безупречным, однако рецензенты отмечали ряд неловких перипетий сюжета. Режиссер отнесся к этому легко. Для профессионала его уровня поправки – это было не более, чем для хорошего портного отделка почти готового, хорошо скроенного костюма: стоит только убрать нитки здесь, загладить шов там,

срезать торчащие излишки материала... То, на что рядовому автору потребовался бы еще с десяток репетиций, Логан планировал завершить «на ходу» за одну неделю, не прекращая представлений. Уже наутро после премьеры, однако, появились первые признаки, что он несколько переоценил свои силы. Проработав всю ночь над новым текстом, режиссер не смог появиться на дневном спектакле, был не в состоянии даже просто отвечать на телефонные звонки. Через два дня, утром отослав исполнителям еще ряд дополнений и сокращений, Логан приехал, наконец, на вечерний показ проверить, как принимает их публика. Его было не узнать, он был мрачен, подавлен, с трудом реагировал на окружающих. Едва дождавшись конца представления, Логан, не сказав никому ни слова, исчез из театра.

Через три четверти часа его с помощью Меррика обнаружили запершимся в ванной комнате своего гостиничного номера. Перепуганному портье, полицейскому и вызванным им санитарам скорой помощи пришлось взламывать дверь. Полностью одетый, в пиджаке и туфлях, даже не ослабив галстук, режиссер стоял под холодными струями душа и кричал, чтобы к нему не приближались, чтобы его оставили в покое, так как он умирает от жары и духоты. Когда Логана пришлось затянуть в смирительную рубашку, чтобы увезти в госпиталь, у Меррика, по словам свидетелей, подкосились ноги и он попросил, чтоб ему помогли сесть и принесли соды. Выглядел он много хуже, чем сам Логан. Казалось – вспоминал он впоследствии – от него уводили, зажатую в железные объятия санитаров, саму жизнь. Ровно тридцать пять лет назад точно так же увели из дома его мать – и он помнил, как она так же кричала, что задыхается в смирительной рубашке.

Он еще долго сидел на стуле один в пустом номере после того, как все разошлись. Полиция уже собрала подписи всех свидетелей происшествия, и гостиничная обслуга, отправив на хранение личные вещи Логана, занялась уборкой комнат. Чтобы не мешать, Дэвид перешел на балкон и уселся на балюстраде, не в силах двигаться дальше.

К нему уже дважды подходили горничные, напоминая, что пора опечатывать номер. Наконец, появился хамоватый молодой человек, очевидно, их бригадир, и попросил освободить помещение.

Номер был оплачен до конца недели, но у Меррика не было желания вступать в спор. Он просто достал двадцатидолларовый билет и попытался объяснить, что снимет этот номер до утра, а сейчас хочет, чтобы его оставили в покое.

Не тут-то было! Неизвестно с чего, служащему попала вожжа под хвост, и он начал читать Меррику лекцию о правилах отеля, единых для всех. Дэвид огрызнулся довольно миролюбиво и прибавил еще десятку – парню на чай, но этот невинный жест вдруг вызвал настоящую истерику. Служащий вызвал охрану отеля и стал кричать, что не позволит каждому «везучему сукиному сыну» плевать на тяжелый труд простых людей. «Еще один пациент, – подумал Дэвид, и когда охранники с извинениями удалились вместе с бунтарем – бригадиром уборщиц, он неожиданно для себя рассмеялся.

«Удачливый сукин сын» – так когда-то уже называли его в детстве, на собачьих бегах друзья, которые в момент спускали все свои гроши, делая наугад вслепую глупые ставки.

Везучий сукин сын Меррик... вот уж действительно редкое везение, дальше некуда! После трех лет тяжелой работы и сотен тысяч, затраченных на покупку прав, он остался ни с чем, вернулся туда, откуда начал: ни пьесы в руках, ни режиссера, ни хореографа, ни партнера... Пара могущественных врагов – единственное, что приобрел он за это время: Роджерс и Хаммерстайн – к тому времени уже отчаянно сожалели, что упустили возможность стать авторами проекта, и все время пытались ставить ему палки в колеса. Так Дэвид и просидел до самого утра в номере, не задумываясь ни о будущем, ни о прошлом. Ступор обычно помогал ему прийти в себя после очередного нокдауна судьбы.

Впрочем, в таком ступоре он пробыл недолго и уже на вторые сутки горячо, брызгая слюной в телефонную трубку, объяснял найденному им новому композитору Бэртону Лэйну, что тому выпала редкостная удача – войти в историю в качестве соавтора бессмертного произведения, стать живым классиком музыкального театра. Как и обычно, на согласие Лэйна потребовалось лишь двадцать минут междугороднего разговора по телефону. Имя Логан заставляло тут же отвечать на телефонные звонки, а Меррик-сэйлсмен был не менее талантлив, чем Меррик-шоумен. Продавец... Продавец воздушных замков. Продавец идей.

Меррик-мечтатель, тем не менее, поставил Лэйну железные условия: он дал ему ровно месяц, чтобы освободиться от всех прошлых обязательств. Получится – и тогда тот «в доле», если же нет – увы...

Что касается Логана, врачи пока что даже не решались отправить его домой в Нью-Йорк, и Меррик, специально оставшись для этого в Нью-Орлеане, каждый день аккуратно навещал его в госпитале. Дэвид уверял, что у него вполне хватит и финансов, и сил, и желания, чтобы дождаться выздоровления режиссера и начать совместную работу над спектаклем. Когда жена Логана рассказала об этом репортерам – те, зная Меррика, не поверили ни одному ее слову. Они были убеждены, что мадам Логан просто сочиняет, пытаясь преуменьшить тяжесть заболевания мужа...

Трогательное внимание и великодушие, поражавшее хорошо знавших Дэвида коллег, было в немалой степени вызвано влиянием Леонор. Это она убеждала мужа сохранять и продлевать деловые отношения с Логаном, надеяться на улучшение его состояния, невзирая ни на какие расходы, и ни разу не вспомнив о растущем риске ее капиталовложений. Пораскинув мозгами, Дэвид, впрочем, и сам сообразил, что даже и в нерабочем состоянии Логан одним своим именем открывал ему столько возможностей, сколько ни один самый шумный успех на Бродвее не смог бы.

Как и когда-то в нищей юности, Дэвид упрямо ставил на фаворита, на Логана – и на меньшее идти не хотел.

И, как в далеком прошлом, его умение терпеть на сей раз полностью окупилось: не прошло и пяти месяцев, как Логан смог снова занять свое режиссерское кресло.

К этому времени с начала работы над «Фанни» прошло, правда, уже с лишком четыре года!

Единственным настоящим везением этого сукиного сына Меррика оказался его кошачий дар приземляться на все четыре лапы, падая с любой высоты...

События с этого момента понеслись с нарастающей скоростью – и счет времени наконец-то стал действительно измеряться часами.

И каждый час приносил новые проблемы. Но теперь они реша-

лись на ходу, даже самые сложные – без остановки работы, чистой импровизацией! Напрочь лишенный мелкого самолюбия, Логан пригласил в соавторы С.Н. (Сэмюэля) Бермана, самого европейского из американских драматургов. За несколько минут ими было решено, вопреки всем советам, оставить действие в Марселе. Узнав об этом, суперзвезда Мэри Мартин отказалась от главной роли, считая, что она не подходит для роли по характеру. Логан, не моргнув, тут же позвал на роль ее всегдашнюю дублершу Флоренс Хендерсон, заметив: «Мэри права, уж слишком она... американиста. А эта будет меньше капризничать и комплексовать, а стараться – больше». В неслыханно короткий срок авторам удалось многословную трилогию превратить в энергичное компактное музыкальное представление в двух актах – и Логан начал отбор остальных исполнителей. Как всегда, доделки и увязки режиссер оставил на потом; нетерпеливо дернув плечом, он заметил, что нестыковками сюжета сможет позже заняться любой бродвейский «доктор»: ему не до мелочей. Мелочи?! Ничего подобного Меррик прежде и представить себе не мог. Он впервые столкнулся с необходимостью выстраивать спектакль практически с нуля и во многом сам пробирался на ощупь. Лишь одно он твердо запомнил, благодаря прошлому опыту: талант, первоклассный талант творцов – это главное, во что стоит, не жалея, вкладывать средства, единственное, что способно превратить провал в неслыханный успех. Меррик гордился тем, что внял совету Леонор: трижды, не давая воли своим страхам и сомнениям, продлевал договор с Логаном – и дождался-таки выздоровления этого первоклассного мастера!

Счастливейшей находкой Дэвид считал и отбитого им у Голливуда композитора Бэртона Лэйна. Последнему был обещан щедрый аванс, и Дэвиду не терпелось познакомить Логана с открытым им талантом. По настоянию Меррика Лэйн весь уик-энд провел в междугородних звонках, пытаясь аннулировать свой прежний договор на три фильма со студией Метро-Голдвин-Майер. Наконец, это удалось, и в понедельник утром он, торжествуя, позвонил Меррику, чтобы сообщить радостную новость.

Ответом ему было глухое молчание. «Эй, Дэвид, ты слышишь меня? Всё, я свободен для нашей работы! – повторил Лэйн. Пауза продолжалась, а потом раздались короткие гудки: на другом конце провода повесили трубку.

Лишь через два часа композитору, только что успешно отказавшемуся от голливудского контракта на четверть миллиона долларов, принесли телеграмму, фальшиво датированную прошедшей субботой. В ней сообщалось, что в силу некоторых (!) обстоятельств продюсеры «Фанни» решили пригласить другого композитора, так что мистер Лэйн с этой минуты может считать себя свободным.

Меррик-мечтатель и открыватель талантов существовал в полной гармонии с Мерриком-сукиным сыном, и никто не припомнит, чтобы в этом ему когда-либо помешал голос совести.

Логан наотрез отказался даже знакомиться с композитором, прежде с ним не работавшим. И без того слишком много канонов предстояло нарушить авторам «Фанни», чтобы включить еще одно неизвестное в уравнение. Режиссер выбрал Харолда Роума, ставшего известным благодаря их совместной работе «Жаль, что вас здесь нет»: год назад две песни из этого скромного мюзикла стали хитами сезона. Роум, самоучка, писал и тексты песен, и музыку. Дэвид не стал спорить. Что он мог предложить своему блестящему партнеру? Свое понимание юридических тонкостей бизнеса? Свое знание беззастенчивых трюков рекламы, невероятное честолюбие, да еще, пожалуй, владение технологией сцены – от альфы до омеги?...Мало. Прежний опыт в расчет не шел: Меррик всего лишь переносил на американскую сцену проверенный на публике чужой успех; импортировал готовую продукцию на Бродвей напрямую с лондонского Вест-Энда.

Логан, уверенный в себе мастер, не чурался работать и с полупрофессионалами – на что Меррик с его комплексами выскочки в жизни бы не пошел. На роль кабатчика Сезара был подписан контракт с Эзео Пинза, баритональным басом, любимцем Артуро Тосканини. Когда выяснилось, что известный певец музыкально неграмотен, не может читать ноты, а все свои девяносто пять партий в Метрополитэн Опера выучил на слух, ... Меррик схватился за сердце – но Логан пришел в восторг: действительно, к чему формальное образование самородку? Значит, в последнюю минуту ни одной новой арии ему не подсунуть, то есть компоновать зрелище придется теперь из имеющихся готовых эпизодов, без переделки вокальных номеров. Блеск! Такого еще не видали на Бродвее, но чем труднее,

тем интереснее Логану. Эзю Пинза утвержден – и тут же возникает еще одна проблема.

Впервые на бродвейской сцене должны появиться две звезды равного калибра: роль пожилого мужа Фанни, Панисса, поручена баритону Вальтеру Слезаку, великолепному характерному актеру, известному своей ролью Якова в киноверсии «Ревизора».

Большинство бродвейских режиссеров как огня боится кровавых схваток соперничающих звезд и строго соблюдает иерархию: на сцене должна быть лишь одна звезда – и все остальные. Но Логан умел укрощать актерские самолюбия – не зря же он провел два месяца в Москве, на репетициях Станиславского. Во МХАТе на сцене в ансамблеработали сразу несколько равновеликих талантов – и это не разрушало спектакль, но только помогало его успеху! Секрет был в чувстве такта режиссера, или, как русские выражались, в его «интеллигентности». На практике это означало тонны дипломатии, порой откровенную лесть, а нередко – лицемерное самоуничижение диктатора-режиссера.

Склонный не к такту, а наоборот, к грубой прямоте Меррик однажды не выдержал, подслушав особенно задушевный разговор Логана и обидчивого Слезака, жалующегося, что партнер его часто забивает на сцене.

Вне себя от ярости, Дэвид выскочил через боковой запасной выход в аллею, черную смрадную щель между зданиями, и немногочисленные свидетели слышали, как он кричал оттуда на всю Сорок Пятую улицу: «Я плачу Логану жалованье Джошуа Логана, чтобы он указывал актерам что делать на сцене, а не ползал перед ними на брюхе!» Обеспокоенные сторожа позвонили Дэвиду домой, но Леонор успокоила их, сказав, что приступ скоро пройдет без следа.

Наутро, когда вежливый сторож спросил Меррика, чувствует ли он себя лучше после вчерашнего взрыва эмоций, Дэвид уверил его, что никакого взрыва и не было, тому просто показалось...

Дом Логанов был известен на весь город своими приемами. Попасть на суарэ к ним в «River House», на террасу, выходящую на East River, уже само по себе означало признание определенного статуса: снобливая публика хвасталась друг перед другом такими приглашениями. Обычно равнодушный к светской жизни Дэвид болезненно

переживал, что после года знакомства Логаны ни разу не позволили ему ни на одну из своих блестящих вечеринок. «Я подхожу ему для совместной работы, но, видно, недостаточно хорош, чтоб представить меня своим гостям, этим высокомерным принстонским бездельникам, – жаловался он жене. Леонор как могла, утешала его, уверяя, что большой успех уже близок, и скоро от подобных приглашений у него не будет отбою. Она тактично умалчивала при этом, что сама уже несколько раз отказывалась от приглашений на чай – но без Меррика! – от жены Логана Недды.

И Леонор не ошиблась. Успех уже был на пути из Бостона в Нью-Йорк. Пробные показы в целом понравились тамошней публике: на сцене ожил Марсель, другая Франция, совершенно не знакомая зрителю, привыкшему к местной вульгаризации парижских оперетт. Критика была смешанной: рецензенты не очень понимали, как принимать это необычное зрелище, но кого сейчас интересовали бостонские рецензенты! Логан жонглировал номерами с необыкновенной легкостью, не пугаясь возможных дыр в сюжете. Уже стало ясно, что несмотря на название, главными персонажами должны быть два старика, а молодая пара – Фанни и Мариус – лишь поводом для их веселых рассуждений и философствований. До того считалось правилом, что на сцене комические старики должны были находиться не больше пяти минут, ибо зритель в театре более всего желал юной любви. Но Логан не боялся нарушать привычное. Уже в Нью-Йорке авторы решили начать шоу с «Песни Осьминога», пьяного признания старого портового сумасшедшего в любви к моллюску. Роум мастерски приправлял лирику иронией – его музыка и трогала, и смешила. Как и режиссер, бездетный композитор усыновил двух приемных детей, и тема была ему не менее близка, чем Логану.

Отношение же Меррика к детям было весьма простым: он их не хотел, точка. Он предпочитал, чтобы их любила и переживала за них его публика в зрительном зале. Леонор принимала это молча, как должное.

В последний момент перед нью-йоркскими прогонами устроил скандал исполнитель роли Мариуса Вильям Табберт, угрожая разрывом контракта. Актеры не любят появляться в начале действия и

потом исчезать навсегда, а его роль сильно сократили! Логану сейчас было не актерских истерик, и он потребовал, чтобы Меррик вызвал «шоу-доктора» для мелких доделок и увязок сюжета. Это оказалось самым счастливым решением: «доктором» оказался не кто иной, как будущий классик Пол Осборн. Он в момент предложил заменить финал пьесы на более счастливый; лишенный авторского самолюбия Логан немедленно согласился; актер был счастлив получить свой заключительный выход: теперь он сам возвращал сына его умирающему приемному отцу! Получив надежную драматическую конструкцию, Логан дал свободу своему воображению; он ввел в действие цирк: канатоходцев, клоунов, жонглеров и даже дрессированных морских львов. И все зрелище засияло теперь новым, горьким, но вселяющим надежду романтическим финалом!

В офис начали звонить люди бизнеса, интересуясь, нельзя ли поучаствовать в финансировании если не самой постановки, то хотя бы ее рекламы и продвижения на рынок. В который раз Меррик мысленно похвалил себя за то, что, преодолев скупость, полностью выложил «доктору» заломленную им сумму.

Это был успех – и теперь Дэвид бросился продвигать спектакль, используя весь свой арсенал рекламных ухищрений, или гиммик-ов, как называют их на своем сленге пресс-агенты.

Он превзошел в этом самого себя. Подал прошение переименовать надвигающийся на город ураган «Флора» на «Фанни». И когда в Службе Погоды ему, отказав, вежливо предложили обратиться к ним через год, Дэвид опубликовал это приглашение во всех вечерних газетах!

Реклама шоу размещалась не только в нью-йоркской прессе, но и в провинции, во всех туристических буклетах – где только возможно, но главное – в парижском издании «Геральд Трибюн». Меррик вычислил, что по дороге домой из Европы туристы обычно задерживаются на день-другой в Нью-Йорке и захотят посмотреть мюзикл на Бродвее.

Перед премьерой на фронтоне театра «Маджестик» появилась четырехметровое фото едва одетой танцовщицы живота. По ходу действия она появлялась в «Фанни» лишь на полторы минуты – какая разница! Водители, проезжая по 44-й, вертели шеями и глазели не на дорогу, а только на нее, да еще на аршинные буквы

названия «Фанни», и полицейские требовали убрать изображение, опасаясь за жизнь пешеходов. В Центральном парке полиция со скандалом убрала обнаженную статую той же танцовщицы, которую ночью кто-то водрузил на пьедестал между памятниками Колумбу и Вальтеру Скотту! И все эти происшествия немедленно тиражировались бульварной хроникой, с непрерывным упоминанием самого главного: слова «Фанни»! «Фанни»!! «Фанни»!!! В разговорном американском это имя означает также и задницу. А в британском английском – и того хуже: «Вульгарное обозначение женских наружных половых органов», судя по Оксфорду. За день до премьеры во всех общественных уборных Нью-Йорка появились желтые наклейки с текстом: «Фанни еще не видели? Бегом на Вест 44-ю, в театр «Маджестик»! В рекламе Меррик не брезговал ничем.

Премьера состоялась 4-го ноября 1954 года, ровно через четыре года и девять месяцев после начала работы над проектом. Публика была в восторге, критика – одобрительная, хотя и с некоторой долей растерянности. Даже издавшие виды нью-йоркские рецензенты пока не готовы были судить о новом зрелище по его собственным законам, да еще столь отличавшимся от общепринятых канонов Бродвея...

Но Дэвида интересовала не критика, а касса. В первую же неделю сборы перевалили за 66 тысяч (Это около шестисот тысяч в сегодняшних долларах!).

Имена Слезак и Энза не сходили с уст поклонников, толпа на тротуаре не давала актерам после спектакля садиться в машины и уезжать домой. Кажется, никому особенно не мешала цена на билеты, беспрецедентно завышенная по тому времени: семь пятьдесят на лучшие места (\$69.80 сегодня). Дэвид спешил вернуть вкладчикам их капитальные затраты, чтобы освободить средства для дальнейшего продвижения спектакля на мировой рынок. Шестидесяти трем спонсорам постановка обошлась в триста тысяч или два миллиона семьсот тысяч по нынешнему курсу, и они вернули свои инвестиции всего через семнадцать недель! Меррик, как правило, держался в стороне от обсуждений творческих сторон постановки, зная, что это приводит только к ненужным обидам и склокам.

Однако в те считанные разы, когда авторы просили его высказать мнение об эффективности того или иного сюжетного хода, музыки или хореографии, он удивлял их меткостью и практичностью своих замечаний. Пару раз, проверив действие его советов на публике, Логан стал воспринимать Меррика по-иному, гораздо серьезнее... Впрочем, невзирая на успех совместной работы, Логаны на свои знаменитые вечеринки Мерриков упорно не приглашали. Лишь через четыре месяца, когда выяснилось, что стараниями Дэвида предварительные продажи билетов достигли 950 тысяч (8.5 миллионов долларов), и впервые за свою карьеру режиссер стал мультимиллионером, Меррики получили, наконец, желанный кусок веленевого картона с золотым обрезом: приглашение к Логанам на их торжественный банкет.

Но на этом банкете Меррик появился без Леонор. Вместо нее его сопровождала какая-то молоденькая застенчивая инженерю. Как и всякому мало-мальски успешному продюсеру, считал Меррик, ему положено было участвовать в карьере юных дарований женского пола.

Прожив четырнадцать лет вместе – и это не считая девяти лет гражданского брака – Дэвид с женой расстались.

«Я была к этому готова, – просто сказала Леонор в ответ на выражения сочувствия многочисленных друзей. – Я знала, что мы будем вместе, лишь пока его карьера не наберет нужную скорость».

«Но ты же сама помогала ему в этом. Зачем же? – спросил драматург Берман, один из многих ее поклонников.

«Не так все просто, – вздохнула она в ответ. – Я не уверена, что хотела бы жить с Дэвидом-неудачником...»

Именно тогда С.Н. Берман и дал свою вошедшую в историю характеристику: Меррик – мышшь, играющая роль крысы.

Слово крыса в американском английском имеет еще одно важное значение: так обычно называют предателя – негодяя, двуличного мерзавца. Берман явно недооценивал натуру Дэвида. Тот не просто играл в жизни крысу – часто Меррик ею действительно был!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

...Он вернулся из прошлого назад в «Илэйн». За окнами было еще темно, но ресторан постепенно пустел, – первые признаки наступающего дня. У него было странное ощущение конца, своего рода пост-партум, послеродовая депрессия – такое бывало с ним и раньше после успешной премьеры, но сейчас это чувство было особенно острым. Начало карьеры напомнило ему, сколько жертв было безжалостно принесено им и брошено под ноги божеству Бродвею – ради создания мифа о самом себе, истории, подошедшей к своему хэппи-эндингу сейчас, здесь, сию минуту.

По законам драматургии, открытым еще Аристотелем, ему бы лучше было скоростижно скончаться сейчас, на вершине успеха... Как любой смертный, он не знал, сколько еще лет отпущено ему в этом мире, но не сомневался, что пик уже пройден; отныне все в его жизни будет лишь холоднее, труднее, печальнее – хуже... Всю свою жизнь глядя только вперед, он бежал, спасался от прошлого – и вот оно настигло его под утро здесь, в опустевшем ресторане. Он понимал, что никогда уже не будет у него такого тонкого, всегда неуверенного в себе, талантливого, влюбленного в театр партнера как Гауэр. Не будет больше и заслуженного им самим триумфа, вознаграждения за дерзость, терпение и страсть... Да, да, страсть! Как и Гауэр, он любил свое дело, но главное – свою милую, кашляющую и сморкающуюся публику. Такую доверчивую, такую... такую готовую обожать и преклоняться перед своими идолами – за что? Возможно, лишь за те бесценные мгновения, когда человек вдруг обнаруживает, что он стал лучше, стал способен любить других, совершенно посторонних ему, выдуманных, незнакомых, куда больше самого себя – и понимать их, и жить их радостями, горестями и надеждами!

Он знал, что сколько бы ни предстояло связей ему впереди, ни домашнего очага, ни настоящей жены-друга, какой была Леонор, ему никогда не найти. У него не осталось и друзей – да и не было их, настоящих, положила руку на сердце. Он давно пожертвовал всем этим, и все сбылось по его желанию: его идеей дома стал номер в гостинице, куда после спектакля можно позвать какую-нибудь полную надежд сопрано и заказать на двоих поздний ужин... И он это получил – во имя чего? И что будет дальше? Никогда прежде он не

задумывался о том, что будет, когда его личное шоу закончится, отзвучат последние овации и наступит время выйти из-за кулис – и начать, наконец, жить.

Он сидел в тени, по лицу ползли вниз огромные плебейские, непривычные ему слезы, и он стеснялся их вытирать, надеясь, что в полумраке их никто не увидит. Неуязвимый Меррик, беспощадный к себе и другим; Меррик, после очередного удара судьбы привыкший только сплевывать выбитые зубы и утирать разбитый нос, думая про себя: ничего, злее буду! – вдруг сейчас, на вершине успеха пожалел, что его никогда не любили просто так, за то, что он есть – за то, что он был тем, что он есть! И, как всегда с его везением, уползавшая домой «на бровях» сплетница Лиз успела-таки заметить его опухшее лицо. «Только глянь, ребята, что делается! – воскликнула она. – Рыдающий Меррик! Для финала этой драме не хватает только еще пары крокодилов... проливающих свои слезы».

Многие старые актеры верят, что Там Наверху происходит постоянное распределение ролей, open call, открытое прослушивание. Окруженный Ассистентами, Самый Главный Режиссер решает, куда направлять и на какую роль назначать постоянно прибывающих к нему новых претендентов.

И в зависимости от прожитой ими жизни, артисты – очень трудный и не всегда приятный народ – направляются либо Наверх, в театр, полный голубых и розовых декораций, звезд и тихой музыки; либо – во второй состав дублерами, на изматывающие репетиции в грязном нетопленном помещении и вечном ожидании шанса выйти на сцену. Либо, наконец, Вниз, в смрадное варьете, в душный подвал, где истекающий потом комедиант должен перекрикивать пьяный рев зрителей, где на сцену швыряют бумажные стаканчики и кубики льда, хозяин грозит увольнением, а беременные женщины из первого ряда вечно пробираются, наступая всем на ноги, в уборную – всамой драматической паузе монолога! Когда Ангел-Ассистент положил перед Главным папку Меррика, Тот и смотреть ее не пожелал: тиран и мерзавец, давно уже до Него слухи доходили. Вон его, Вниз, пьяной толпе на растерзание! В этот момент откуда-то сбоку появился торговец шляпами, страстный театрал дядя Моррис и подал Главному лист бумаги. Это был список безумных поэтов,

тех, кому первым проложил дорогу к признанию Меррик, этот бездушный и циничный колбасник, заботившийся, по слухам, только о прибыли. Но никто до него в Нью-Йорке не поставил бы и пенни на антикоммерческие опысы этих малоизвестных нонконформистов. Вот он, далеко не полный их список:

Вуди Аллен («Не пейте воды!») Джордж Осборн («Оглянись во гневе» и др.)

Тони Ричардсон («Оглянись во гневе» и др.)

Питер Устинов («Романов и Джульетта»)

Шелах Деланэ («Вкус меда»)

Жан Ануй («Беккет»)

Джанкарло Менотти («Мария Головина»)

Том Стоппард («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»)

Петер Вайс («Марат/Сад»)

И разумеется, друг молодости, некто по имени Томас Ланиер Уильямс 3-й, впоследствии сменивший имя на Теннесси!

И поскольку Оттуда никто не возвращается, мы так и не узнаем, куда именно Там Наверху решили отправить Дэвида Меррика, невыносимого шоумена.

Не пиши, пока можешь не писать.

Виктор Норд, автор множества кино- и телесценариев, всю свою жизнь честно пытался следовать этому принципу. По не зависящим от него причинам это не получалось. Прежде всего – при поступлении в Институт кинематографии. Без авторских работ не допускали к сдаче приемных экзаменов. По одной из них был сделан документальный фильм «Ночной вокзал». Виктору было тогда девятнадцать лет.

Ему было двадцать шесть, когда он уехал из России. Перед тем успел сделать дипломную картину под названием «Это были мы» по сценарию своего товарища А. Миндадзе. Это был единственный раз, когда Виктору удалось поставить фильм по чужому сценарию. С тех пор ему приходилось писать для кино, хотелось этого или

нет, на разных языках, но не по-русски. А кроме того, быть еще и «кинодоктором» («story doctor»), то есть переписывать не полу-

чавшиеся сценарии и фильмы, сделанные другими. Виктор Норд появлялся в титрах то в качестве сценариста, то редактора, то автора-либреттиста, а то и просто автора диалогов.

Написанные для себя и поставленные им фильмы представлялись на международных кинофестивалях в Каннах, Сан-Франциско и других. Среди наград, им полученных – ЭММИ – приз Телеакадемии США (за «Эль Сальвадор») и специальный приз жюри за дебют в Каннах «Плодотворное Око» (фильм «Сад», начавший карьеру актрисы Мелани Гриффитс).

Не так давно Виктор начал писать книгу по-русски, и это давалось ему намного труднее, чем киносценарии. Роман «Непредвиденные последствия» после выхода в свет в 2014 году зажил своей особой жизнью и потребовал от автора заняться прозой с полной отдачей.

Сейчас Виктор готовит к печати уже третью книгу, отрывки из которой он предоставил нашему журналу.

Владимир ФРУМКИН

**КАК СОВЕТСКИЕ ДИССИДЕНТЫ В АМЕРИКЕ
СТАЛИ ОХРАНИТЕЛЯМИ ПУТИНСКОГО РЕЖИМА**

Долгие годы между мной и моими друзьями-товарищами царило полное взаимопонимание.

Первые раскаты грома раздались тогда, когда покинутая нами (и все еще сильно интересовавшая нас) страна повела себя не так, как мы надеялись и предполагали. На что мы надеялись и что увидели на самом деле, превосходно выразил уважаемый и любимый в нашем кругу Лев Лосев – известный русский поэт, литературовед, эссеист, эмигрировавший в США в 1976 году.

«Когда рухнул Советский Союз, в одночасье развеялся морок «железного занавеса» и в стране повеяло свободой. Да только порча зашла слишком уж далеко. На мрачный риторический вопрос своего первого поэта: «К чему рабам дары свободы?» (у Пушкина «стадам», а не «рабам». – В.Ф.) – народ, как и предсказал поэт, ответил: «Без надобности». Которые порастороннее – кинулись воровать с небывалым даже в русской истории размахом: нефть – так целыми месторождениями, недвижимость – так заповедными роцями и историческими кварталами, кино – так целыми студиями и госфильмофондами, и власть, власть, власть. Ну, а спившееся, нездоровое, не умеющее думать за самих себя большинство затосковало по родимому уюту несвободы – комната в бараке, с как-никак, но работающим центральным отоплением, выстоянная в очереди колбаса по два двадцать и знание, что завтра будет так же, как вчера. И стало чаять воссияния новых сапог на верхушке власти: «Любимый вождь, наступи мне на харю!» Сегодня в связи с годовщиной передавали результаты опроса: 53% нынешних россиян относятся к Сталину «только положительно» или «скорее положительно, чем отрицательно», – писал он в своих воспоминаниях, опубликованных в «Звезде» в июне 2007 года, за два года до своей кончины.

Кто бы мог подумать тогда, что столь ярко обрисованная Лосевым картина крушения наших надежд вызовет полное неприятие у одного из моих единомышленников – искусствоведа, бывшего москвича, человека очень неглупого и пишущего. Узнал я это, прочитав его реакцию на мою статью, появившуюся через полгода после Лешиной публикации. Называлась она «Возвращение Александра Галича. К 30-летию со дня гибели» (<http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer19/Frumkin1.htm>). Моего приятеля больше всего всего возмутила следующая фраза:

«Его поэзия будет возвращаться – после каждой новой попытки страны вырваться из порочного круга, с каждым новым откатом в несвободу, в бездумие, инфантильность и холуйство. Сегодня она вновь актуальна, причем, судя по всему, в большей степени – для нас, уехавших, чем для тех, кто остался».

Этот откат бумерангом вернулся ко мне в виде отлупа: кто я такой, чтобы корить Россию за такие временные недостатки, как ограничение свободы, плюс какие-то сомнительные инфантильность и холуйство! Ей сейчас посерьезнее вещи нужны, чем пресловутые либеральные вольности и прочее европейско-американское баловство. А пуще всего нужна – стабильность, которая позволит развить экономику и повысить качество жизни. Остальное приложится потом. (Ну что, приятель, десять лет прошло, и как – сбылись твои прогнозы и надежды хотя бы по одному пункту?).

В ответ я послал несколько текстов, написанных теми, кто остался, и где ситуация в стране описывалась примерно так же, как ее обрисовали аутсайдеры вроде Лосева и Фрумкина. Тут-то и услышал я от него словечко, которым он с той поры повадился пригвозждать российских несогласных – русофобы. А те из них, кто, опасаясь за свою безопасность, переместились на Запад, клеймились им как перебежчики, писания которых не залуживают доверия, ибо авторы их явно выслуживаются перед новыми хозяевами. Переписка наша почти полностью завяла в начале 2014 года, когда разразился «крымнаш» и брешь в цепочке российских интеллигентов стала стремительно расширяться.

У меня не было дурных предчувствий, когда другой мой друг, плодовитый писатель и философ, прислал мне свою статью о рос-

сыйско-украинском конфликте. Тридцать шесть лет знакомства прошли у нас спокойно, безбурно, серьезных разногласий между нами не возникало.

И вдруг – читаю...

Статье предпослан пушкинский эпиграф:

О чём шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?..

Оставьте: это старый спор славян между собою...

«Шумят, грозят, протестуют политические недоросли – «народные витии». Никогда не признают простой истины: своими подзуживаниями и несбыточными посулами они раздули очередной пожар в очередной стране, разрушили шаткую постройку незрелой Украинской республики, лишили миллионы людей укрытия от социальных бурь.

Когда в Канзасе очередное торнадо разнесёт в щепки городок, выстроенный не из железобетона, а из досок и картона, никто не осудит соседние города, давшие приют бездомным. Но Россию, давшую укрытие двум миллионам соотечественников в Крыму, оставшимся без социальной крыши над головой, будут проклипать неустанно. Потому что посмели истолковать право народа на самоопределение по-своему. И потому что краткосрочный политический капиталец можно зарабатывать на антироссийской брани легко и безотказно».

Вина этих раздувателей пожара усугубляется еще и тем, что они повадились с утра до вечера поносить российского лидера – главного (если не единственного) архитектора гуманной политики Кремля:

«Ох, этот Путин! Вот он – враг священных принципов свободы и демократии, ухитряющийся без бомбёжки чужих столиц достигать своих целей. Жаль только, что у него от советских времён остался мощный ядерный арсенал. Не то бы наши гуманитарные ракеты и бомбардировщики давно вылетели в направлении Москвы, как они уже вылетали в сторону Могадишо, Белграда, Кабула, Багдада, Триполи. Не дал, злодей, нам хотя бы разбомбить Дамаск!

Ах, как хорошо, как удобно иметь универсального супер-агрессора, борьба с которым оправдывает – затеняет – все наши отступления от высоких принципов. Раньше мы лелеяли такие обременительные правила как «презумпция невиновности», «тайна банковских вкладов», «священное право собственности», не отступали от них даже в противоборстве с безжалостными главарями мафиозных кланов. Теперь всё стало гораздо проще! Без суда и следствия, без улик и свидетелей, мы включим соратников Путина в чёрные списки и обрушим на них всевозможные кары, как это делало когда-то большевистское ЧеКа – по классовому признаку! – да ещё назовём это красивым словом «санкции».

Итак, на исконный русский вопрос «Кто виноват?» автор статьи об Украине ответил однозначно: недалекие и подлые «политические недоросли» Америки и Европы. Что до России и ее правителя, то они всего лишь защищают интересы своих соотечественников, по несчастью оказавшихся вне родных пределов и лишившихся социальной защиты.

В умении найти истинных возмутителей спокойствия, обнаружить первопричину всевозможных смут и катаклизмов мой друг не знает себе равных. Как и в умении логически, привлекая исторические примеры, доказывать истинность предлагаемых им рецептов спасения человечества. Его пытливый ум постоянно нацелен на выведение категорий, формул и схем, которые, по его убеждению, приложимы почти ко всем общественным формациям за последние пять тысяч лет человеческой истории.

В его позднейших работах изложено стройное учение о причинах общественных катаклизмов и путях достижения пусть шаткого, но более или менее сносного социального равновесия. Подтекст всех этих трудов предельно ясен: «Вникните в открытые мной законы, прислушайтесь к моим рекомендациям и призывам – и человечество навсегда избавится от кровавых социальных потрясений».

Но вот что интересно: пророческий пафос у нашего философа с попытками ввести этот пафос в приемлемые рамки, слегка приглушить, тщательно контролируя свою риторику. Для чего? Чтобы не оттолкнуть *«людей дорогих мне и близких по духу,*

по вкусам, по жизненной судьбе» и не «утратить их доброе ко мне расположение».

Напрасный труд, чудак ты этакий. Невыполнимую поставил ты себе задачу. Невозможно и денежки получить, и невинность сохранить. Попробуй-ка не огорчить близких тебе по духу людей, если, отвечая на вопрос, кто есть главный виновник едва ли не всех кровавых революций прошлого, ты, ничуть не колеблясь, указываешь пальцем на мыслящих интеллигентов, то есть прямехонько на них, своих ближайших друзей. И на дороге им моральные ценности, усвоенные ими от свободолюбивых предшественников.

Что же делает этих интеллигентов причиной катастрофических социальных взрывов? А вот что: их упорное нежелание понять, что власть предрежащие заслуживают не поучений и критики, а уважения и любви:

«Ну, не может интеллигент полюбить правителя – хоть ты его режь!»

Российский интеллигент – тем более.

Разве что великий Пушкин в зрелые годы сумел с сочувствием взглянуть в судьбу Бориса Годунова, восхититься Петром Первым, даже найти слова одобрения для Николая Первого: «он честно, бодро правит нами». Но друзьям его молодости, которые потом вышли на Сенатскую площадь в Петербурге, больше нравились его юношеские строчки про Александра Первого: «кочующий деспот», «плешивый щёголь», «враг труда».

Так уж и не может полюбить? Хоть режь? Несправедливый упрек. Обидная напраслина на мыслящее русское общество: не раз доказывало оно сыновнюю преданность своим правителям, демонстрируя чудеса истинного патриотизма. Достаточно вспомнить, как реагировала русская общественность на второе польское восстание 1863 года.

«Дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис», – отметил в «Колоколе» Александр Иванович Герцен. Даже просвещенный помещик-славянофил Александр Кошелев, немало сделавший для освобождения крестьян, узнав о решительных мерах нового генерал-губернатора Польши Муравьева, восхищенно воскликнул: *«Ай да Муравьев! Ай да хват! Расстреливает и ве-*

шаает. Вешает и расстреливает. Дай Бог ему здоровья!» Нужны примеры поновее? Пожалуйста: знаменитый документ «**Деятели культуры России – в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму**». Среди пятисот с лишним поддержавших я с удивлением и грустью обнаружил нескольких моих знакомых...

Патриоты-подписанты, продолжившие славную традицию российского интеллигентского коллаборационизма, вряд ли успели прочесть работы моего друга, плодовитого писателя и философа, начавшие выходить в свет аккурат около этого времени. Поступили они, тем не менее, в полном соответствии с изложенным в них учением о механизме государственного устройства, познакомившись с которым любой здравомыслящий интеллигент постарается остепениться и стать более зрелым. Такой интеллигент по-новому отнесется к столь чтимым в его среде «призываньям» (Пушкин, «К Чаадаеву») воспеть свободу в свой жестокий век. И преодолет в себе родовой интеллигентский изъян – «сладкую похоть ниспровержения», как выразился в письме другой мой приятель, перешедший в лагерь защитников и охранителей государственного порядка, каким бы кошмарным этот порядок ни был на сегодняшний день.

Вся эта перестройка сознания совершится у внимательного читателя вышеозначенных трудов, когда он постигнет глубинную суть государственной власти. Вот как об этом говорит сам автор:

«В любом человеческом обществе существует расслоение, связанное с врождённым неравенством, которое я в своих других писаниях охарактеризовал терминами «высоковольтные» и «низковольтные». Между этими слоями будет неизбежно возникать противоборство, непонимание, напряжение. Роль и задача верховной власти состоит не в том, чтобы быть умнее, талантливее, честнее, «высоковольтнее» всех остальных, а в том, чтобы быть арбитром между этими вечно противостоящими друг другу слоями, чтобы не дать их скрытой вражде выплёскиваться наружу, доходить до кровопролитий».

Да, природа несправедлива. Одни люди умнее, одареннее, энергичнее, честлюбивее других, с этим спорить не буду. Но есть в доводах и формулировках моего друга нечто такое, что царапает мой слух и подрывает веру в их непогрешимость. Он призывает талант-

ливых и успешных не зарываться и не требовать у власти того, что выгодно им, но и даром не нужно прозябающему большинству. Ну, например, всяких там свобод и человеческих прав. Каким образом расширение прав и свобод (например, в экономической сфере) может навредить большинству и еще больше его ожесточить, я из рассуждений нашего автора так и не понял. Вот одно из них, относящееся к высоколобым критикам нынешней российской власти:

«Умники политологи не хотят видеть, что дорогая им шкала моральных и интеллектуальных ценностей для народной массы не может быть привлекательной, ибо обрекает её – массу – на безысходное прозябание внизу».

Ну, прямо по пословице: «Что русскому здорово, то немцу смерть»... И все потому, что в российской **«народной массе ностальгия по сильной руке, по порядку, по тотальной уравниловке всех в одинаковом подобострастном подчинении живёт и накапливается без всякого внешнего подзуживания».** Так что оставьте это пустое занятие, уважаемые умники, – в **поработанные бразды бросать живительное семя.** Не приживется семечко свободы на скудной российской почве, не даст желаемых всходов...

Хорошо. Допустим. И предположим, что населению современной России до фени такие интеллигентские ценности, как сменяемость власти или пресловутая и бесценная «свобода слова», как написал мне недавно один из новоявленных охранителей. (Именно так изобразил он эту «ценность»: со снижающим словечком «пресловутая» и в иронических кавычках.) А как насчет звучащих в не запрещенных пока оппозиционных СМИ призывов к властям меньше красть и больше вкладывать в медицину, образование или строительство дорог? Или это тоже народным массам по барабану? И еще больше озлобит их против вечно протестующих высоколобых?

В одном из своих трудов наш философ излагает упрощенную версию своей теории. Так сказать, вариант «для чайников». Современное государство уподоблено в ней плывущему по океану кораблю. На этом корабле имеются лоцман, дозорные на мачтах, **«на мостике стоит капитан, окружённый помощниками, мичманами и боцманами, отдаёт приказы рулевому, выслушивает дозорных, принимает решения, вершит суд над ослушниками и нарушителями дисциплины».** А в трюмном помещении гребцы налегают на

вёсла, кочегары бросают уголь в топки, пушкарчи чистят пушки, повара готовят обед»..

Ну, и каково этим трудягам («угнетенным», «низковольтным») там, в трюме?

«Гребцам и кочегарам будет казаться, что их перегружают надрывным трудом, заставляют двигать корабль неведомо куда, когда в трюмах ещё полно запасов еды и пресной воды, львиная доля которых достаётся бездельникам, окружающим капитана или болтающимся в своих комфортабельных смотровых гнёздах на мачтах».

Эти настроения – вечный источник напряженности, чреватой взрывом. Того и гляди, случится **«новый «Бунт на Баунти» или «Броненосец Потёмкин»**. Кто же затевает эти корабельные бунты, революции и гражданские войны? Отчаявшиеся несчастные работяги, которым нечего терять, кроме своих цепей? Никак нет! Виновники всему – лоцманы, боцманы и дозорные, которых приятель мой в другом месте называет «высоколобыми хозяевами знаний». Которые *«не в силах разглядеть глубинную суть верховной власти, описанную Томасом Гоббсом в его главном труде «Левиафан»: её главная роль состоит не в том, чтобы господствовать над всеми и вести народ за собой, но в том, чтобы служить арбитром между враждующими группами населения, между дальнорукими и близорукими, между управляющими и управляемыми»*.

В общем, куда ни кинь, виноват все тот же российский образованный слой, сильно потрепанный большевиками и превратившийся, по выражению Солженицына, в «образованщину».

Но теории теориями, споры спорами, а российский корабль плывет себе и плывет, все более отдаляясь от материка под названием «Западная цивилизация». Мои друзья, которые вдруг превратились в неосменовеховцев*, ухитрились перебраться на этот материк в то время, когда на мачте корабля развевался красный флаг с серпом и молотом. Теперь там полощется триколор, который все больше смахивает то ли на красно-коричневый, то ли на черный, пиратский. Те, кому это активно не нравится, один за другим перемещаются в наши края, чтобы не повторить судьбу тех,

кого сбросили с корабля, предварительно отправив на тот свет. Оставшаяся в России далеко не могучая, раздробленная кучка умников продолжает говорить, писать, кричать о том, что кораблю нужен капитальный ремонт, и что идет он ложным, гибельным курсом.

Между тем мой друг-философ, бывший диссидент, публиковавший в Сам- и Тамиздате труды, за которые мог получить до пяти лет лагерей, сегодня из своего безопасного западного далека призывает своих российских коллег уняться, не раскачивать лодку, обуздать свою патологическую страсть ниспровержения и посочувствовать пахану-капитану, взвалившему на себя труднейшую и неблагодарнейшую роль арбитра между трюмом и верхней палубой. Роль эта до того обременительна, что капитану на мостике порою чудится, что он заброшен в самый низ, в трюм, на самую тяжелую работу: **«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил»**. Это было сказано в Кремле 14 февраля 2008 года.

Девять с лишним лет минуло с тех пор, а он, болезный, все еще пашет. И, надо думать, долго еще будет пахать, грести, рулить и отдавать приказы с капитанского мостика. Он ведь там – «наше всё», властная вертикаль в одном единственном лице, так что можно не тревожиться: арбитраж обеспечен, режим не рухнет. Корабль, правда, будет ржаветь, дно обрастать ракушками и водорослями, ход его замедлится, но потонет он не скоро. На их – капитана и его сатрапов – век хватит вполне.

* **Сменовеховство** — идейно-политическое течение, возникшее в 1920-е годы в русской эмиграции первой волны. Название происходит от сборника статей «Смена вех», изданного в Праге, в котором были сформулированы основные идеи этого течения. Сменовеховцы выступали за примирение и сотрудничество с Советской Россией, мотивируя свою позицию тем, что большевистская власть уже «переродилась» и действует в национальных интересах России. Первым идеологом сменовеховства был харбинский профессор Николай Устрялов, позднее работавший на советской администрации КВЖД, вернувшийся в СССР и расстрелянный в 1937 году.

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, эссеист. Закончил теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957 году был принят в Союз советских композиторов.

Среди опубликованных работ – «От Гайдна до Шостаковича» (очерк истории симфонии), «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих» (о музыкально-поэтическом стиле Булата Окуджавы). В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов.

В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Б. Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), с 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. В 2005 году в издательстве «Деком» (Нижний Новгород) вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

В. Фрумкин живет в Маклейне – вирджинском пригороде Вашингтона.

Евсей ЦЕЙТЛИН

МОЖНО ЛИ РАСЧИСТИТЬ ПЕСОК ЗАБВЕНЬЯ?

К 80-летию Эрнста Зальцберга

Из цикла «Откуда и куда. Писатели Русского зарубежья»

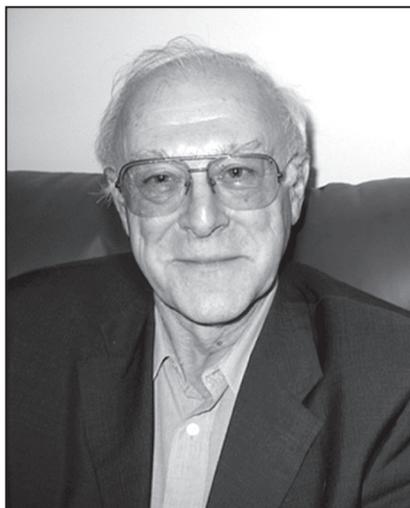
Когда говорят о Торонто, я всегда вспоминаю Эрнста Зальцберга – геолога, музыканта, романтика, который многие годы своей жизни безоговорочно посвятил одной цели. Что делает Зальцберг? Он инициирует исследования об истории российских евреев в Америке, а потом издает их на собственные деньги.

Помню, однажды мы говорили с Эрнстом Абрамовичем об энтропии – мрачной силе, которая уничтожает труды человека. Особенно разрушительна энтропия в эмиграции, где отсутствуют многие культурные институты, призванные систематизировать и сохранить созданное людьми. «Конечно, нам никогда не справиться с песком забвенья, – сказал я. – Но мы, сообразно правилу, которое так любил Толстой, должны делать то, что должно, и пусть будет то, что будет». Зальцберг помолчал, а потом воскликнул, как-то особенно аккуратно подбирая слова: «Знаете, а я всегда думал, что песок забвенья можно расчистить. Разве стал бы иначе выпускать РЕВА?»

РЕВА – это его сборники «Русские евреи в Америке».

Предваряя нашу беседу с Эрнстом Зальцбергом, приведу сейчас несколько мнений об этой уникальной книжной серии. Известный московский профессор Владимир Телицын с удивлением констатирует: «Глобальное исследование по истории эмиграции из России». Знаменитый петербургский литературовед и критик Константин Азадовский утверждает: «Многие публикации, помещенные в этих томах, открывают совершенно новые темы». А вот обращение к Зальцбергу выдающегося лингвиста и литературоведа Анатолия Либермана (Миннесотский университет, США): «Чужие дети быстро

растут и редко болеют. Так и нам, с неизменным одобрением следящим за Вашим детищем, трудно оценить, чего стоит издавать том за томом РЕВА... Сотни имен в указателях – это не просто списки: это часто люди, воскресшие из небытия. Перед нами прошли великие деятели науки и искусства, писатели, политические деятели и, что не менее важно, люди, которые переселились в Новый свет из притеснявшей и травившей их Европы. И здесь улицы не были вымощены золотом, но эмигранты пробили стену упорством и способностями. РЕВА – памятник не только героям всех Ваших выпусков, но и Вам, Вашему бескорыстию и усердию... Продолжайте дело, которому Вы отдали столько сил, и слово отзовется не только в среде ваших друзей, но и там, где Вы не ждете отклика».



Писательница Маша Рольни-кайте («литовская Анна Франк», которая тоже вела в гетто дневник) когда-то назвала Зальцберга одиноким мечтателем. А я подумал сейчас: парадокс нашего прагматичного времени состоит в том, что именно идеалисты часто побеждают в своей схватке с «песком забвенья».

ЕЦ *Ваша биография необычна. Сначала Вы окончили геологический факультет Горного института, а вскоре – Ленинградскую консерваторию как пианист. Шли годы. Вы защитили кандидатскую диссертацию по гидрогеологии, опубликовали множество научных работ, добились международного признания в этой области. Одновременно появлялись Ваши глубокие очерки о деятелях культуры, прежде всего – музыкантах. Как сосуществуют эти две разные сферы деятельности в Вашей жизни – конфликтуют или гармонично дополняют друг друга?*

ЭЗ Вспоминаю сейчас, как в 1955 году, окончив с медалью ленинградскую школу, я должен был ответить себе на вопрос, кото-

рый встает перед большинством людей: что же дальше? Сразу от-мел смутное желание поступить в университет – для еврея это было практически невозможно. Подал документы в Горный институт, куда медалистов брали без экзаменов и который до войны окончил мой папа. Так и стал студентом геологоразведочного факультета.

Но все это время – и раньше, и позже – со мной была музыка. Нередко рассказывают о том, как родители заставляют ребенка часами сидеть у инструмента. Меня никогда и никто не принуждал. Это было радостью, отдохновением. Уходом из серых буден. Естественно и без особого напряжения я окончил с отличием музыкальную школу и, уже будучи студентом Горного, три курса музыкально-педагогического училища. В 1960-м начал работать гидрогеологом, но – почти одновременно – поступил на заочное отделение Консерватории в класс замечательного фортепианного педагога М.Я.Хальфина. Нравилась ли мне моя работа? Я изучал подземные воды в Ленинграде и на Северо-Западе России, их влияние на строительство и сельскохозяйственное производство. Звучит скучно, но, пожалуй, и здесь я находил гармонию, которую не хочу сейчас пытаться передать словами.

В 1967 году с отличием окончил Консерваторию и после очередных долгих колебаний решил все же остаться в геологии. В 1972-м защитил кандидатскую диссертацию и в последующие семь лет опубликовал ряд статей (некоторые из них перевели на английский) и две монографии по гидрогеологии. (Кстати, когда я приехал в Санкт-Петербург на празднование 50-летия со дня окончания института, то был приятно удивлен: обе мои книги до сих пор используются студентами в качестве учебных пособий).

Страсть «к писанию» проявилась у меня рано – это шло, наверное, от мамы. Она была хирургом, работала в научно-исследовательском институте, откуда ее уволили после пресловутого «дела врачей». Но и потом, служа в городской больнице и будучи оторванной от научной среды, мама стала автором многих публикаций по военно-полевой хирургии (во время войны она была военным врачом). А мои первые научно-популярные статьи о подземных водах появились в ленинградских газетах и журналах в 1960-е.

...И снова я должен был сделать выбор: после того, как в декабре 1979-го советские войска вторглись в Афганистан. Несмотря на срав-

нительно успешную карьеру, в 1980 году я покинул СССР – и оказался в Канаде. Об эмигрантских «хождениях по мукам» сказано много. Не хочу повторяться. Моя адаптация в новой стране проходила долго и трудно. Перебивался случайными заработками (здесь, кстати, пришлось вспомнить и профессию пианиста – играл на уроках в балетных классах). Наконец, в 1988-м был принят в Министерство защиты окружающей среды, в котором проработал почти пятнадцать лет, а в 2002 году вышел на пенсию. Работа была увлекательной – поездки по стране, общение с разными и чаще всего интересными людьми (включая аборигенов), сознание нужности того, что делаешь.

Выход на пенсию, который был тогда обязателен для государственных служащих в Канаде по достижении 65-летнего возраста, оказался для меня тяжелой травмой. Иногда удавалось участвовать в каких-то проектах (в том числе канадско-российских), но это почти ничего не меняло в моем самоощущении: «лишний человек». Меня спасла музыка. Я стал больше играть на фортепиано и преподавать, находя в этом утешение.

На первый взгляд, неожиданно пришли ко мне издательские мечтания. Одно время хотелось составить антологию «Подземные воды в русской поэзии» (упоминания о них встречаются в стихах Пушкина, Лермонтова, Фета и других поэтов). Неосуществленным остался и проект «Русские названия на карте Северной Америки» (здесь есть свои Москва, Санкт-Петербург, Одесса и т.п.). К числу осуществленных отнесу издание книги *Great Russian Musicians from Rubinstein to Richter* («Знаменитые российские музыканты от Рубинштейна до Рихтера», Mosaic Press, 2002), цикл статей о выдающихся российских исполнителях и (не удивляйтесь!) гидрогеологах: они появились в престижных американских журналах. И вот, наконец, книжная серия РЕВА.

ЕЦ *Сейчас очевидно: издание сборников «Русские евреи в Америке» стало Вашей миссией. Как бы Вы ее сформулировали?*

ЭЗ Главная цель РЕВА – подчеркнуть выдающуюся роль русских евреев в развитии американской экономики, науки, культуры, политических и общественных институтов. При этом я имею в виду

не только США (хотя большая часть публикаций РЕВА посвящена этой стране), но и Канаду, и Латинскую Америку (Аргентину, Бразилию, Чили). Другая цель альманаха: вернуть в научный оборот имена и работы людей, как зачастую говорят, незаслуженно забытых. Боюсь замучить Вас перечислением, однако все же назову сейчас некоторых деятелей литературы, искусства, науки, военного дела, которые обрели «вторую» жизнь на страницах РЕВА. Об их путях и судьбах я много думал в минувшие годы.

Чарльз Спивак (1861, Россия-1927, Денвер), врач, писатель, администратор, борец за общественную систему здравоохранения, один из организаторов крупного туберкулезного санатория и Национального еврейского госпиталя в Денвере, пионер борьбы с туберкулезом в США. Абрахам Соломон Фрейдус (1867, Рига-1923, Нью-Йорк), библиограф, директор еврейского отдела Нью-Йоркской публичной библиотеки, создатель оригинальной системы классификации и поиска еврейской литературы. Соломон (Шломо) Давидович Зальцман (1873, Гродненская губерния -1946, Тель-Авив), книгоиздатель в России, Германии, США и Израиле. Продукция его издательств отличалась высоким полиграфическим мастерством и художественным оформлением. Осип Соломонович Габрилович (1878, Санкт-Петербург -1936, Детройт), пианист, многолетний дирижер Детройтского симфонического оркестра. Помимо исполнительской деятельности, занимался композицией; автор нескольких оркестровых произведений и фортепианных миниатюр, которые исполнял с блеском и элегантностью. Илья (Илиаху) Маркович (Мордухаевич) Троцкий (1879, Ромны -1969, Нью-Йорк), публицист, общественный деятель, ходатай за русских литераторов в изгнании, много сделал для присуждения Нобелевской премии И.Бунину. Артур Велш (Абрахам Велчер; 1881, Киев-1912, Дейтон), первый в истории летчик-испытатель-еврей, погиб при испытании последней модели самолета братьев Райт. Александр Яковлевич Браиловский (1884, Ростов-на Дону -1958, Нью-Йорк), поэт, переводчик, эссеист, революционный деятель (...Придет пора, и, новый Муций/Я шею протяну ножу/ В минуту буйных революций). Давид Сарнов (1891, Узляны -1971, Нью-Йорк), генерал, президент радиокорпорации RCA, организатор радиоэлектронной промышленности США, основатель американского радиовещания и телевидения, общественный

деятель, филантроп. Гизелла Сигизмундовна Лахман (Рабинерсон) (1893, Киев-1969, Вашингтон), поэтесса, которую называли «американской Ахматовой». Автор поэтических сборников «Пленные слова» (Нью-Йорк, 1952), «Зеркала» (Вашингтон, 1965) и многих публикаций в эмигрантской периодике. Менахем Риболов (1895, Чуднов-1953, Нью-Йорк), журналист и критик. Писал главным образом на иврите и отчасти на идиш. Редактор многих периодических изданий на иврите, составитель «Антологии поэзии на языке иврит в Америке». Иосиф Моисеевич Шиллингер (1895, Харьков -1943, Нью-Йорк), композитор, музыковед, педагог, поэт, скульптор, фотограф, математик. Разработал математическую теорию анализа произведений искусства, создал универсальную теорию сочинения музыкальных произведений. Среди его американских учеников был Д.Гершвин, автор первой американской оперы «Порги и Бесс». Сидор Беларский (Исидор Лившиц; 1898, Крижополь -1975, Нью-Йорк) совмещал в одном лице оперного певца (газеты называли его «наследником Шаляпина»), исполнителя камерного репертуара, симфонической музыки и еврейских народных песен, собирателя песен на идиш и иврите, аранжировщика и композитора. Хаймон РикOVER (1900, Маков, Польша-1986, Арлингтон), адмирал, кавалер многих орденов и медалей. Возглавлял работы по созданию первой атомной подводной лодки «Наутилус» (1952) и атомного подводного флота США. В 1983 году была спущена на воду мощная атомная подводная лодка «РикOVER». Евгений (Эжен, Юджин) Лурье (1903, Харьков -1991, Лос-Анджелес), художник, арт-директор и режиссер, работал во Франции и США с выдающимися режиссерами Ж.Ренуаром, М.Офлюсом, М.Аллегре и Ч.Чаплиным. Сол (Соломон) Алинский (1909, Чикаго -1972, Калифорния), создатель и пропагандист новых технологий социальных и политических движений; среди его ярых поклонников – Б.Обама и Х.Клинтон.

ЕЦ Конечно, Вы помните, как родилась идея и сформировалась концепция РЕВА. Давайте перенесемся в те дни.

ЭЗ Идея создания серии «РЕВА» принадлежит покойному Михаилу Ароновичу Пархомовскому. Еще живя в Москве, он стал одним из первооткрывателей темы «Евреи в культуре Русского за-

рубежья». Эмигрировав в 1990-м в Израиль, Михаил Аронович организовал Научно-исследовательский центр «Русские евреи в зарубежье» (РЕВЗ, 1997). Под руководством Пархомовского и при его участии было издано более 20 томов, включая тематические сборники о русских евреях в Англии, Франции, Германии и Австрии, Польше и Палестине/Израиле.

В 2002-м вышла первая книга РЕВА, которую мы редактировали вместе с Михаилом Ароновичем. Начиная со второго выпуска, я стал единоличным редактором-составителем сборников РЕВА: с 2013 года они выходят под эгидой Научно-исследовательского центра «Русские евреи в Америке».

Вы спросили о моем спонсорстве? Когда-то на вопрос, как далеко простирается моя книжная филантропия, я ответил: на деньги, потраченные на РЕВА, мог бы купить новый «Порше». Спросивший меня человек выразил мне свое недоумение. А мне близки слова одного из псалмов: «Счастливы те, кто щедры во все времена».

В этом году вышла 16-я книга РЕВА. В каждом томе примерно 300 страниц; за 15 лет было опубликовано около 250 статей. Среди них немало биографических очерков, посвященных самым разным людям – от всемирно известных до полностью забытых. Нередко в статьях рассматриваются профессиональные группы (врачи, учителя, художники, музыканты, деятели театра и кино) и общественно-политические движения (Ам олам, рабочее движение, развитие социалистических и анархистских идей). Я стремился, чтобы эти публикации восполнили наши представления о русско-еврейской эмиграции, осветили те ее стороны и факты, которые до сих пор не привлекали внимания исследователей. Иногда удается дополнить, а порой и внести коррективы в установившиеся взгляды и концепции. В альманахе участвуют авторы из России, Украины, США, Канады, Израиля, Польши, Германии, Австрии, Италии, Аргентины. Наличие РЕВА во многих университетских и государственных библиотеках этих стран позволяет специалистам легко найти нужный им материал.

ЕЦ С самого начала зарождения русско-еврейской периодики стали популярны альманахи. Этот тип издания отличает и Вашу серию. Здесь публикуются научные работы, популярные очерки, ме-

муары русских евреев об их первых шагах на чужой земле. Не раз Вы познакомили читателей и с образцами творчества Ваших героев – писателей, поэтов, журналистов. Как проходит работа над очередным номером?

ЭЗ По-моему, самое трудное – заметить очередное «белое пятно», а потом найти автора, согласного безвозмездно и, конечно, профессионально написать статью на заданную мной тему или предложить собственную, интересную для РЕВА. Как ищу авторов? Просматриваю публикации в Интернете, российские и англоязычные журналы, материалы конференций и симпозиумов. Иногда авторы находят меня сами, но это – не часто.

Затем начинается работа над рукописью (редактура, корректура, приведение цитат и библиографии к принятым стандартам и т.п.). Объем и время работы зависят от того, кто автор. Если профессиональный исследователь или журналист, все сводится к минимуму (исправление опечаток, описок). Если автор непрофессионал, то нужно добиться логики изложения, выправить стиль, проверить имена, даты, библиографию. Бывают нерусскоязычные авторы, пишущие по-русски – здесь требуются большие усилия по переводу с «английского русского» на «русский русский». Случаются курьезы. Так, одна американская журналистка написала, что «дорога была усеяна уключинами»; мне пришлось долго убеждать ее заменить «уключины» на «ухабы». И, наконец, некоторые присылают рукописи на английском: их нужно в полном смысле слова перевести на русский, зачастую снабдив примечаниями. Если у меня возникают сомнения теоретического или методологического характера, я, к счастью, могу обратиться за помощью к членам редсовета РЕВА А. Либерману, Г. Кратцу, И.Обуховой–Зелиньска.

...А музыка? Я нередко слышу ее, редактируя очередную рукопись, и это – сам не понимаю, каким образом – неожиданно облегчает мою работу.

Август 2017

Евсей Цейтлин — эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Родился в Омске в 1948 г. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные

курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры.

Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии, Украине. В 1978 г. был принят в Союз писателей СССР, является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба ("Writers in Exile"). Дважды эмигрировал: в 1990 – в Литву, в 1996 – в США. Произведения Евсея Цейтлина переводились на литовский, немецкий, украинский, польский, английский, испанский языки.

Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). Редактор ежемесячника «Шалом» (Чикаго, с марта 1997).

Геннадий ЕВГРАФОВ

«КТО УСТОЯЛ В СЕЙ ЖИЗНИ ТРУДНОЙ...»

Из воспоминаний о Давиде Самойлове¹

Вместо предисловия

*Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит –
писал классик.*

Но февраль сменился мартом, слякоть (даже не грохочущая) отсутствует – стоит на удивление сухая погода².

Чернил давно нет, слезы кончились еще раньше, чем исчезли чернила, вот и пользуюсь, как и все, компьютером, который давно сменил гэдээровскую «Эрику» – ту, которая, как писал другой поэт, брала четыре копии.

Наступила настоящая весна, но не хочется писать ни стихи, ни прозу. Время, что ли, на дворе такое? А, может, потому, что «года к суровой прозе клонят»? Вот и взялся за воспоминания – о времени, в котором выпало жить. О Давиде Самойлове – человеке, с которым имел счастье дружить. О людях, которых знал и с которыми так или иначе был связан. Ну и, конечно же, об эпохе, на которую пришлось молодые годы.

Явление автора

Я познакомился с Давидом Самойловым в свои студенческие годы, в начале 70-х прошлого века – его старший сын от первого брака с Ольгой Лазаревной Фогельсон (ныне прозаик, переводчик,

редактор и издатель) Александр Давыдов был моим близким товарищем. Знакомство вскоре переросло в общение, общение в дружбу. Семидесятые плавно перетекли в восьмидесятые. Я преподавал в институте русский язык и литературу, и казалось, так будет всегда, но где-то подспудно вызревало желание все бросить и жить профессиональным литературным трудом, тем более, что изредка, то там, то сям я публиковался в тогдашних СМИ.

Когда желание созрело и оформилось, я принял окончательное решение. Но на пути осуществления задуманного встали неразрешимые вопросы.

Прожить на литературные заработки начинающему скрести пером, то бишь, постоянно стучать по клавишам «Эрики», было невозможно (компьютер не снился даже в фантастических снах) – на литературные гонорары могли прожить только советские литературные монстры типа Бондарева или Чаковского, либо почитавшиеся в те времена чуть ли не революционерами Евтушенко и Вознесенский, либо как Самойлов, Левитанский, Тарковский, Липкин подолгу (и успешно) занимавшиеся переводами. Остальные 2500 официальных членов Союза писателей были вынуждены где-то служить или перебиваться тем, что Бог, то есть редактор, пошлет с редакционного стола.

С подачи Саши Давыдова, который уже побывал в этой «должности» у другого писателя, я пошел в секретари к Самойлову. После ухода прежнего секретаря лакомая для многих одиночек, презиравших советский коллективизм и не принимавших царившую систему, должность оказалась вакантной, но меня все же мучили сомнения.

В один из его приездов в Москву – к тому времени он сделал крутой вираж и из московского морока перебрался как будто в другое время, в неспешно текущую прибалтийскую действительность («Я сделал свой выбор. Я выбрал залив...») и в столице бывал обычно наездами, по издательским делам или соскучившись по московской атмосфере разговоров и посиделок с друзьями – мы и оформили наши фиктивно-формальные трудовые отношения.

Фиктивно-формальные, потому что меня это ни к чему не обязывало – при таком раскладе и овцы (я) оставались целы, и волки (государство) были сыты – меня не смогли бы причислить к лику тунеядцев, и властям (свято блюдушим «трудовую нравственность», а

на самом деле всеобщую трудовую повинность советских граждан) не к чему будет придраться. Сиди в своем углу и пиши что хочешь. Но поскольку «что хочешь» публиковать в родных пенатах было затруднительно, а за «что можно» платили мало, Самойлов посоветовал мне окончательно преподавательскую работу не бросать и до поры до времени продолжать сеять «разумное, доброе, вечное».

Что я до поры и времени исправно делал.

А через некоторое время на страницах тогдашней литературной печати появился новый автор – Геннадий Евграфов (Д.С. посоветовал взять псевдоним – я взял).

Фиктивное секретарство» закончилось через несколько лет – пройдя хорошую литературную самойловскую школу и заимев необходимое количество публикаций, я вступил в Комитет московских литераторов.

Но отношения с Давидом Самойловым не прекращались, напротив – они стали еще теснее и ближе.

Время и место

Мы продолжали встречаться в Москве, по несколько раз в году я бывал у него в Пярну. И когда находилось время, под коньяк, шампанское и магнитофон мы вели беседы на самые разные темы. Я с умным видом задавал вопросы – Самойлов столь же умно на них отвечал. Предполагалось, что когда таких бесед соберется на книжицу, мы ее издадим.

Естественно, жили мы в определенном месте и в определенное время, говорили не в парижской студии радиостанции «Свобода», а в кабинете поэта – в Москве или Пярну. Но мы старались не прибегать к эзопову языку даже памятуя, что любой текст подцензурен, и прежде чем попадет в руки читателя, он должен пройти через цензуру. Но как Самойлов считал высказаться по тому или иному поводу, так он и высказывался, а я между рюмками коньяка старательно записывал.

Мои дальнейшие записки о Д. С. и о людях, с которыми я встречался, конечно же, несут в себе черты и приметы того времени. Но, думаю, что имеют не только исторический интерес и будут любопытны и сегодняшним интеллигентным и интеллектуальным читателям.

Книжку мы так при его жизни и не издали – время убыстрило свой бег, началась перестройка, с друзьями я стал создавать издательство «Весть», Д.С. все реже и реже приезжал в Москву, а я, вступив в Комитет московских литераторов и отдавая все силы будущему издательству, все реже и реже навещал его в Пярну. А потом он на вечере памяти Пастернака в Таллинне, который сам и вел, рухнул на сцене – и ушел в бессмертие.

Книжный бум

Мы довольно часто и много разговаривали с Самойловым о книгах, культуре чтения и влиянии прочитанного на самих писателей. Что-то я записывал, что-то нет. Теперь про это самое «нет» – жалею. Но вернуть ничего нельзя, остается довольствоваться тем, что есть.

Наброшаю несколько штрихов к портрету времени, когда велись эти разговоры.

Вплоть до 1991-го года существовало такое понятие как книжный бум. Книги, вернее хорошие книги, были таким же дефицитом как икра или колбаса. В разряд дефицитных входили не только Бунин, Ремизов или Ахматова, но и серия «Зарубежный детектив», псевдоисторические романы Пикуля или бездарное сочинение Анатолия Иванова «Вечный зов». Совсем безумные читатели гонялись за произведениями Всеволода Кочетова и даже – Ивана Шевцова.

Но все же те, кто интересовался книгами больше, чем другим дефицитом, самыми разными путями ухитрялись доставать и Ахматову, и Кафку, Пастернака и Фолкнера, ну и так далее, иногда переплачивая втридорога.

У Самойлова были две библиотеки – одна в Москве, другая в Пярну. И та, и другая собирались в течение многих лет.

Д.С. рассказывал о детстве, юности и тех временах, когда я еще не был с ним знаком. Говорили мы и о том, как добывались выходявшие по советским меркам небольшими тиражами (по нынешним – огромными) Мандельштам, Цветаева или Булгаков. В стране существовали книжный «черный рынок», книжная «Березка» и прочие «спецраспределители». Ну а кому-то книги (и не только книги) доставлялись просто на дом. Кому – понятно.

Советское общество было довольно строго структурировано, каждому слою полагались от щедрот власти те или иные, точно отмеренные блага. Не имеет смысла распространяться сейчас о том, как распределялись эти блага среди номенклатуры – это подробнейшим образом описано М. Восленским в книге, которая так и называется «Номенклатура»³. Скажу только, что писательская прослойка тоже «кормилась» с барского стола, хотя не все входили в привилегированную часть общества. Поэтому и «кормились» все по-разному – чиновникам от литературы (К. Федину, Г. Маркову, А. Васильеву и проч. – кто сегодня помнит их имена?) полагалось одно. Тем, кто литературу делал – другое. Но в чем все писатели были равны, так это именно в приобретении книг. Впрочем, и здесь, как у Оруэлла в «Скотном дворе», некоторые «животные» были «равнее других».

В советские времена члены Союза могли приобретать книги на втором этаже в Лавке писателей (затем она стала называться «Пушкинской») на Кузнецком мосту. Там безраздельно властвовала некая Кира Аркадьевна, сухая, пожилая дама в очках, с довольно тяжелым характером. Она и решала, кому из «простых» смертных выдать те или иные дефицитные издания. Секретари СП, лауреаты Гос- и Ленинских премий, писатели – члены и кандидаты в ЦК, естественно, в эту категорию не входили – в иерархической таблице о рангах они были небожители.

Но как это обычно бывает, из каждого правила есть исключения, и, как правило, эти исключения вызывались обычными человеческими проявлениями чувств – знакомством, симпатией и т.д. (я не говорю сейчас о том, что в те времена именовалось блатом). В нашем случае – любовью к тому или иному поэту или прозаику. И поэтому иногда обычным членам перепадало то, что и привилегированным.

Поскольку Д. С. постоянно обитал в Пярну, то список необходимых ему книг он присылал мне в Москву и просил отправиться с ним в Лавку к Кире. Самойлова Кира любила и потому редко отказывала ему в просьбах. Но иногда я наткнулся на отказы. Отказы, в основном, зависели от ее настроения.

Времена и «Времена» – выбрали Андропова

Когда выходил очередной сборник стихов, Самойлов дарил книги своим близким друзьям, как правило, надписывая нечто шутовское. От выхода «Залива» до выхода уж совсем тощего сборничка поэм «Времена» прошло два года. «Залив» вышел в более-менее нормальном издательстве «Советский писатель», там работали разные люди, и книги они издавали самых разных авторов. Рукопись «Времен» долгое время пролежала в «почвенническом» издательстве «Советская Россия». Люди, собравшиеся там, сплошь были шовинистами, публиковали только своих – почву понимали весьма своеобразно.

Давид Самойлов был для них чужой, но не замечать его они все же не могли, и худющая книжица, несмотря на все чинимые препоны редакционного начальства, все же увидела свет в 1983-м году, несмотря на нелюбовь к поэту с «другого берега».

Мне на этой книжице Д.С. надписал:

*Гене книгу «Времену».
Чтоб нашел себе жену.
И в любовном упоенье
Ей читал мои творенья.*

Посвящение было связано вот с чем. Я в то время находился в послеразводном раздрае. Д.С. вникал в мои дела, советовал, кого нужно брать в жены, а кого нет.

Я делал вид, что прислушиваюсь к его советам. Он – что я буду им следовать. Но я шел своим путем.

За эти «времена» ушел в небытие Брежнев, и над страной распростер гэбэшные крыла Андропов. У нового генсека были ястребиные глаза, скрывавшиеся за линзами очков, широкий лоб и хищническое выражение лица. Советский морок продолжался, несмотря на некоторое оживление. Один больной старец сменил другого и начал убирать уж совсем одиозных лиц прежнего режима, прежде всего расправившись со своим давним врагом и другом своего предшественника, главным милиционером страны, генералом армии Н.А. Щелоковым. Затем посадил зятя Леонида Ильича – за-

местителя министра внутренних дел, то есть все того же Щелокова, генерала армии Юрия Чурбанова, и отправил на покой краснодарского князька, не уступавшего в воровстве генералу армии, первого секретаря Краснодарского обкома С.Ф. Медунова. А потом по извечной российской традиции стал расставлять на ключевые посты своих людей.

Может быть, бывший шеф ГБ и хотел реформировать систему, но ее нужно было не реформировать, а менять. Как во всем известном анекдоте про девочек (менять надо не девочек, а систему).

Помню, как 12 ноября 1982 года я пришел к Саше Давыдову. Дверь открыла его жена Лена, на ней не было лица: «Выбрали Андропова! – «Я слышал», – безнадежно сказал я. И мы, начинающие литераторы, отправились в ближайший магазин, чтобы водкой отметить наступление новых времен, не суливших нам ничего хорошего, а потом с горя запили начавшуюся новую эпоху пивом.

Мы и не предполагали, как быстро она закончится, а самое главное – чем. Мы только понимали, что опять надо будет писать в стол, перепрягивать самиздат и уповать, что, в конце концов, и эти времена истончатся и когда-нибудь кончатся.

Но, как сказал Александр Кушнер:

*Времена не выбирают.
В них живут и умирают.*

Мы были молоды и хотели жить, насчет Соломоновой мудрости «и это пройдет» мы тогда и не задумывались.

Вернусь к Самойлову. Чтобы закончить с его «Временами», приведу еще одну надпись, которую Д.С. сделал через некоторое время на этой книжке своему близкому другу Петру Горелику:

*За эту книжку «Времена»
Издателей послать бы на...
Но, как гласят стихи поэта,
Что все-таки «придет она»,
И может быть когда-то где-то
Напишут наши имена.*

Вот и времена изменились – «она пришла...». Остается писать имена. Что я и делаю. А власть как в те незапамятные времена, как и во времена Осипа Мандельштама, по-прежнему «отвратительна, как руки брадобрея...».

Одних уж нет, а те далече

Свой слой близких людей 50-60-х годов постепенно исчезал в конце 80-х – одних уж нет, а те далече. В те дни, что мы проводили у Д.С., он не раз возвращался к разговорам, почему было принято решение об отъезде на «берега пустынных волн», в Прибалтику.

Когда при этом присутствовала Галина Ивановна (вторая жена Д.С.), она добавляла что-то свое – какие-то штрихи, детали, которые иногда упустил муж.

В середине 70-х годов личное время Давида Самойлова пришло к очередному рубежу, но на этот раз уперлось не в стену, как это было после войны, когда молодого поэта не печатали и могли посадить, а в вату – и это было похуже стены. Что же касается времен, то они стояли сумрачные и выморочные – кто-то из друзей эмигрировал, кого-то посадили, кто-то тихо угас. Среда таяла на глазах, привычный московский круг распался – людей вокруг было много, а прежнего круга не было.

Д.С. всегда и везде оставался самим собой и от литературной братии, постоянно околачивающейся в ЦДЛ, держался особняком. Игнорировал заседания и официальные собрания Союза, не участвовал в склоках и разборках противоборствующих лагерей, группировок и течений, иногда заканчивавшихся пьяными проклятьями в коридорах Клуба и руганью на кухнях московских квартир. А если высказывался, то в официальной печати делал это насколько возможно честно, в дружеском же общении не стеснялся, точно определяя – кто есть кто.

Никогда не скрывал своего презрения ко все больше и выше поднимающим голову руссита́м, как тогда называли откровенных шовинистов. Не раз говорил мне, что у всей компании Стасика Куняева и фашиствующего идеолога «правых» Вадима Кожина никаких идей, кроме поганых, вроде антисемитизма, нет. Я об этом знал, поскольку регулярно, преодолевая отвращение,

читал статьи этой шайки в «Нашем современнике» и «Молодой гвардии».

В те годы Самойлов дружил с Лидией Чуковской, Львом Копелевым, Юлием Даниэлем, Комой Ивановым и Юрием Карякиным, Владимиром Лукиным, композиторами Борисом Чайковским и Давидом Кривицким и, конечно же, Юрием Левитанским.

Все больше и больше сближался с актерами – Зиновием Гердтом и Михаилом Козаковым, не утрачивал связей со старыми школьными друзьями Люсей Дорошенко, астрономом Феликсом Зигелем, Анатолием Черняевым, в эти годы работавшим в ЦК и ставшим помощником Горбачева в годы его нахождения на Олимпе власти. Изредка презванивался с Олегом Трояновским, в те времена – послом СССР в Японии. До войны они вместе учились в ИФЛИ. Но общение было более душевным, нежели духовным.

Постепенно назревал кризис – не творческий, а возрастной. Все больше и больше думалось о том, «что там, за поворотом». Возрастной кризис не обязательно совпадает с творческим, который может случиться в любое время. Поэтому стихи писались (и какие!) и собирались в очередную книгу «Весть». Там были такие вещи, как –

*И ветра вольный горн
И речь вечерних волн,
И месяца свеченье
Как только стали в стих
Приобрели значенье
А так – кто ведал их!*

*И смутный мой рассказ,
И весть о нас двоих,
И верное реченье,
Как только станут в стих,
Приобретут значенье.
А так – кто б знал о нас!*

И «Выйти из дома при ветре...», и одно из моих любимых «Кто устоял в сей жизни трудной...».

«Холодно. Вольно. Бесстрашно»

В эти же 70-е годы окончательно надоела советская власть. Если «от детских простуд ежедневных»⁴ еще можно было куда-то деться – в конце концов, со взрослением детей простуд становилось все меньше и меньше, – то от Советской власти, казавшейся в те времена болезнью вечной – некуда. Разве только на Запад. К чему и призывала Галина Ивановна, которая убеждала Д.С. уехать из страны и почему-то в Италию.

Но он эмигрировать не собирался – был убежденным противником участвовавших отъездов и доказывал тем друзьям и знакомым, которые вознамерились идти по этому пути, что это путь наименьшего сопротивления, что русский писатель (как бы это пафосно ни звучало) не должен покидать родину. На этот счет Д.С. разделял взгляды Ахматовой и Солженицына, хотя с последним расходился по многим другим наиважнейшим вопросам.

Подобно Пушкину, кожей ощущал потребность быть независимым. И от безжалостной государственной машины. И от освободительного движения (как называли правозащитное течение причастные к нему люди), загнанного государством в подполье. И от народа, под которым его любимый Александр Сергеевич разумел в своем «Пиндемонти» чернь.

Но независимым – **здесь, а не там:**

Д.С. не был ни диссидентом, ни правозащитником, у него была другая профессия. Но как крупный и честный писатель, придерживавшийся в своем литературном поведении правил чести и благородства – да и по внутреннему своему мироощущению тоже, он не мог не только сочувствовать правозащитникам, но и помогать – подписывал в их защиту письма, под своим именем публиковал переводы Юлиа Даниэля, когда тот вышел из тюрьмы и государство (в лице издательств) не давало отмотавшему свой срок Даниэлю работы, следовательно, лишало возможности нормального существования.

Все идеи диссидентов не разделял, поскольку диссидентская среда, как и любая другая, исповедующая определенные взгляды, была неоднородной, и люди встречались там самые разные и разношерстные (некоторые с нравственной червоточинкой) и самого

разного калибра и масштаба: были Лев Копелев и Лидия Чуковская, но были и крайние русские националисты – сторонники «особого пути» России, исповедовавшие махровое православие и монархию; были люди, придерживавшиеся умеренных почвеннических взглядов; замечались и «истинные баптисты», и «истинно-православные христиане»; участвовали в протестах против режима и активисты сионистского движения, требовавшие отпустить их в Израиль.

...Вспоминается первый вечер Д.С. в ЦДЛ. Он был устроен в начале июня 70-го к его пятидесятилетию. Молодые, веселые и легкомысленные, мы пришли на этот вечер с Сашей. И сразу же отправились в буфет пить пиво. Затем, устроившись на балконе, стали внимательно наблюдать за происходящим.

Зал был переполнен, пришли все, кто любил поэзию Давида Самойлова. Пришел на вечер и старый друг (с которым у Д.С. всегда были непростые отношения) Борис Слуцкий, пришел и Андрей Дмитриевич Сахаров, чье имя тогда уже было под запретом. Два года назад он опубликовал свои «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», которые гуляли в самиздате и которые глухо, не называя имени автора, критиковали в подцензурной печати.

По молодости лет мы не понимали тогда всего значения личности Сахарова, для нас он был очередной фрондер, только не из литературной среды. ЦДЛовское начальство косилось на Д.С., который не просто раскланялся со своим знакомым, но и публично приветствовал его.

Для тех времен это был не просто жест вежливости, а поступок.

Через двадцать лет А. Д. Сахаров в своих «Воспоминаниях» опишет, как незадолго до своей высылки он с женой побывал на авторском концерте Окуджавы, а затем в гостях у Д.С., с которым Елена Боннэр была знакома с давних времен.

Из «Воспоминаний» Андрея Сахарова⁵:

В те же осенние дни Люся повезла меня к Давиду Самойлову – прекрасному поэту, быть может, лучшему сейчас поэту классического звучания, прямому наследнику поэзии XIX века. Самойлов жил за городом, в большом доме деревенского типа. Они с женой

радушно приняли нас – тут отношение ко мне было явно отражено их отношения к Люсе. Самойлов прочитал свои новые стихи, осведомившись сперва, могу ли я долго слушать чтение. Он прекрасный чтец, голос его в домашней обстановке звучал, по-моему, даже лучше, выразительней, чем на эстраде. Читал он тогда и не свои стихи. Мог ли я представить себе что-либо подобное еще за полгода до этого?

После визита опальной пары Д.С. записал в «Дневник»⁶:

Приезжала Е. Боннэр со своим новым мужем – академиком Сахаровым.

Чудаковат, добр, необычен.

Сахаров в конце своей книги скажет, что самойловские строки из одного стихотворений, посвященных Пушкину («Болдинская осень»):

Благодаренье Богу – ты свободен –

В России, в Болдине, в карантине!

могли бы быть внутренним эпиграфом («для самого себя») к его «Воспоминаниям».

Д.С. всегда дарил Сахаровым все свои новые книги и никогда не скрывал своих отношений ни с ними, ни с Копелевым, ни с Даниэлем, а времена были не такими

уж и вегетарианскими.

«Враг народа»

Осенью 1976-го он обедал с уже жестко преследуемыми властями академиком и его женой в публичном (во всех смыслах) месте – ЦДЛ. Об этом возмутительно-вопиющем факте писательскому начальству, в котором, кстати, настоящих писателей было кот наплак, все сплошь партийные функционеры и бывшие кагэбэшники – донесли «доброжелатели» Самойлова.

«Преступление» Д.С. было столь велико, что «дело» обсуждалось на секции поэзии. Но нашлись трезвые головы, которые высказались, что не нужно плодить лишних обиженных на Советскую власть, их и так хватает. Руководители секции к этим доводам прислушались, «дело» похерили, и до Московского секретариата оно не дошло.

А еще раньше, в 1968-м, когда власть после взятия Чехословакии решила перекрыть все и без того слабые краники общественного недовольства, Самойлову и другим не менее достойным людям вlepили выговор с занесением «за политическую безответственность, выразившуюся в подписании заявлений и писем в различные адреса, по своей форме и содержанию дискредитирующих советские правопорядки и авторитет советских судебных органов, а также за игнорирование факта использования этих документов буржуазной пропагандой в целях враждебных Советскому Союзу и советской литературе».

Выговор аукнулся через несколько лет – юбилейный сборник «Равнодействие» в издательстве «Художественная литература» должен был выйти в 1970, но издание книги задержали из-за того, что он подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля, и на свет этот хилый (по объему) младенец появился только через два года.

«Я сделал свой выбор»

Тем временем Галина Ивановна свои попытки к отъезду из страны не прекращала – Д.С. этим попыткам всячески противостоял. Когда противостояние перешло в сопротивление, она оставила свой замысел, потому что когда Самойлов сопротивлялся – сломить его было невозможно.

В жизни, как известно, большую роль играет случай. У Галины Ивановны в Таллинне с давних времен проживал родной брат Леонид. Однажды он пригласил их к себе, повез по побережью. Остановились на несколько дней в Пярну. Море, напоенный сосновым запахом, пряный, чистый воздух, неторопливый спокойный быт очаровали Д.С. Он и раньше не раз бывал в Эстонии, но только сейчас обратил внимание на то, на что раньше внимания не обращал. Затем еще несколько раз он с женой приезжал отдохнуть в Пярну. После этих наездов и был найден компромиссный вариант – купить дом в этом замечательном эстонском городке.

Сошлись на том, что Бродский прав:

*Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции, у моря.*

Расставаться с Москвой, привычным читательским и дружеским кругом было нелегко. В те годы Д.С. был одним из центров поэтического притяжения и одним из немногих, кто вел себя безукоризненно в литературной жизни. Это привлекало к нему читателей и притягивало некоторых собратьев по цеху. Интеллигенция всегда тянулась к честному, не затасканному и не заштампованному поэтическому слову. Молодым, да и не только молодым литераторам требовался образец литературного поведения.

Но решение было принято и отступаться от него не хотелось. Оставалось предпринять усилия, чтобы сохранить городскую квартиру, дабы в любой момент беспрепятственно наезжать в город – по делам, увидеть старенькую маму и старшего сына, окунуться в вихор столичных новостей, да и просто пообщаться с близкими сердцу людьми.

В конце 75-го года все было готово к отъезду – куплен нижний этаж самого обычного пярнусского дома по ул. Тооминга (а через несколько лет – верхний), вещи собраны, мальчики – Петька и Пашка – психологически подготовлены, старшую дочь Варвару было решено из школы не дергать, оставить в Москве с бонной.

В январе 76-го года началась новая жизнь.

В 77-ом все переплавилось в стихи:

*Я сделал свой выбор.
Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.*

*Я сделал свой выбор. И стал я тяжел.
И здесь я залег, словно каменный мол.
И слушаю голос залива
В предчувствии дивного дива.*

¹ Журнальный вариант.

² Писано весной 2017 года.

- ³ М. Восленский Номенклатура, Лондон, ОРІ, 1990.
- ⁴ Парафраз стихотворной строки стихотворения Д. Самойлова «Куда мне деваться от этих забот ежедневных...».
- ⁵ Цит. по: А. Д. Сахаров. Воспоминания. В 2-х т. М: Права человека, 1996. Т.1.
- ⁶ Цит. по: Давид Самойлов. Поденные записи. В 2-х т. М.: Время, 2002.

Окончание – в следующем номере

Геннадий Евграфов – член Комитета московских литераторов, автор эссе о поэтах и писателях Серебряного века. Публиковался в Советском Союзе, России, Франции, Германии и Австрии. Лауреат премии журнала «Огонек» за 1989 г.

В 1986-1989 гг. один из организаторов и редакторов экспериментальной редакционно-издательской группы «Весть», возглавляемой В. Кавериним.

Как редактор в издательствах «Аграф», «Вагриус», ХГС (ныне «Время») и др. подготовил к печати книги З. Гиппиус, Е. Шварца, И. Эренбурга, Д. Самойлова, Ю. Левитанского, Венедикта Ерофеева и др.

Владимир ФРУМКИН

ПРИДВОРНЫЕ МУЗЫ

Окончание. Начало в №3

4. О вкусах не спорят

*Вы, может быть, удивляетесь, что
в Центральном Комитете
большевиков требуют от
музыки красоты и изящества. Что
за новая напасть такая?!
Да, мы не оговорились, мы заявляем,
что мы стоим за красивую,
изящную музыку.*

А.А. Жданов

Спорить о вкусах с теми, кто заказывает музыку, бессмысленно и небезопасно. Особенно, если у заказчиков имеется такой веский аргумент как абсолютная, ничем не ограниченная власть. Советские композиторы довольно быстро усвоили эту истину, и, встречаясь со своими высокопоставленными работодателями, дисциплинированно внимали их речам, а потом – горячо благодарили за ценные указания. И вдруг им, на полном серьезе, предлагают поспорить с партией! Честно и открыто, не прячась по углам, выразить свое несогласие! И кто предлагает? Секретарь ЦК товарищ Жданов, пригласивший их на совещание о проблемах советского музыкального творчества!

Оно состоялось в январе 1948 года. Как вскоре оказалось – в те дни, когда ЦК и лично товарищ Сталин вносили последние штрихи в зубодробительное Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая дружба», появившееся в «Правде» 11-го

февраля. Вот что сказал тогда Андрей Александрович в своей большой программной речи:

«Если ЦК не прав, защищая реалистическое направление и классическое наследство в музыке, пусть об этом скажут открыто. Быть может, старые музыкальные нормы отжили свой век, быть может, их надо отбросить и заменить новым, более прогрессивным направлением? Об этом надо прямо сказать, не прячась по углам и не протаскивая контрабандой антинародный формализм в музыке под флагом якобы преданности классикам и верности идеям социалистического реализма. Это нехорошо, это не совсем честно. Надо быть честными и сказать по этому вопросу всё, что думают деятели советской музыки».

Речь Жданова была встречена бурными и продолжительными аплодисментами. Особенно горячо аплодировали композиторы-песенники – у них с партийным руководством не было никаких эстетических разногласий... В ответных выступлениях звучали слова благодарности и обещания перестроиться. Шостакович, будущая главная жертва Постановления от 10 февраля, заверил партию и правительство, что «критика, прозвучавшая по моему адресу, правильная, и я буду всячески стараться работать больше и лучше... Мне хотелось бы, как, думаю, и другим, получить экземпляр того выступления, которое сделал товарищ Жданов. Знакомство с этим замечательным документом может нам дать очень много в нашей работе». (Как выяснилось через много лет, получив текст ждановской речи, Д.Д. тут же пустил его в дело: настрогал цитат для либретто своего потайного сочинения – издевательского «Антиформалистического райка»...).

Спросим себя: мог ли кто-либо из выступавших упрекнуть Центральный комитет за то, что тот защищает реалистическое направление и классическое наследство в музыке? Никто и никогда! Это были слова и понятия, овеянные святостью. Наподобие слова «революция», которое, по меткому замечанию брата Надежды Мандельштам Евгения Хазина, обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни.

Не было у реализма противников среди творческой интеллигенции. Была другая проблема. Эдакая маленькая семантическая не-

увязочка, когнитивный диссонанс, который заключался в том, что для распорядителей культуры реализм означал одно, а для ее мастеров – нечто другое. Мастера по старинке связывали слово реализм с такими понятиями, как реальность и правдивость. В то время как для их хозяев реалистическим в искусстве было прежде всего то, что привычно, понятно и красиво. И доступно народу, что в конце концов и есть главное требование, потому как интересы советского народа для них – превыше всего. Так что, товарищи композиторы, пишите просто! Не мудрствуйте лукаво! Не увлекайтесь поисками новых форм и звучаний! Создавайте музыку ясную и понятную, а не ребусы и загадки, как выразился товарищ Сталин в беседе с начальником советской кинематографии Борисом Шумяцким. Думайте не об избранной элите, а о простом народе. Помните, как сказал об этом Владимир Ильич в письме к Кларе Цеткин? ***Что сладкие, утонченные бисквиты нужны лишь небольшому меньшинству, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в чёрном хлебе.***

Любопытная деталь: верные продолжатели дела Ленина в своей искусствоведческой практике забывали об утонченно-бисквитной ленинской метафоре и, отзываясь о не понравившейся им музыке, позволяли себе выражения куда более крепкие, которыми, в частности, пестрит та самая речь товарища Жданова:

«Надо сказать прямо, что целый ряд произведений современных композиторов <...> напоминает, простите за неизящное выражение, не то бормашину, не то музыкальную душегубку. Просто сил никаких нет...»

А об одном из таких произведений – опере Вано Мурадели «Великая дружба» – Андрей Александрович выразился так:

«Отдельные строфы и сцены элегического или полумелодийного характера или претендующие на мелодичность внезапно прерываются шумом и криком в два форте, тогда музыка начинает напоминать шум на строительной площадке в момент, когда там работают экскаваторы, камнедробилки и бетономешалки. Эти шумы, чуждые нормальному человеческому слуху, дезорганизуют слушателя».

Грубовато, прямо скажем. Бормашина и душегубка... Экскаваторы и камнедробилки... шумы, чуждые нормальному человеческому слуху... Но, в конце концов, даже Ильич умел, где надо, вста-

вить крепкое русское словцо. Например, говоря о лакеях капитала, о жалких интеллигентиках, мнящих себя мозгом нации. На самом деле – объяснил Ильич Горькому – это не мозг, а говно.

Но что больше удивляет в речи Жданова и Постановлении политбюро, так это не грубые слова, а *грубые ошибки*, тем более странные, что докладчика и его необъявленного соавтора – интеллигентного и образованного меломана Шепилова – консультировали профессиональные музыковеды.

Так, полной нелепостью прозвучало обвинение композиторов в проповеди атонализма: в те годы атональная музыка в СССР не сочинялась и никем не проповедовалась.

Досталось им также за *«отказ от полифонической музыки и пения, основывающихся на одновременном сочетании и развитии ряда самостоятельных мелодических линий, и увлечение однотонной, унисонной музыкой и пением, зачастую без слов, что представляет нарушение многоголосого музыкально-песенного строя, свойственного нашему народу, и ведет к обеднению и упадку музыки»*.

Непонятно, откуда, из какого пальца был высосан этот бред – отказ от полифонической музыки плюс увлечение музыкой унисонной. Одноголосие, монодия издавна и до сих пор практикуется в народной музыке Востока! Кто из советских композиторов-профессионалов увлекался однотонной, унисонной музыкой и пением, зачастую без слов? Никто!

Еще одна инвектива:

«...одностороннее увлечение сложными формами инструментальной симфонической бестекстовой музыки и пренебрежительное отношение к таким музыкальным жанрам, как опера, хоровая музыка, популярная музыка для небольших оркестров, для народных инструментов, вокальных ансамблей и т.д.»

Подоплеку этого диковинного упрека, который в равной мере мог быть обращен к Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту, Шуману, Шопену, Брамсу, Чайковскому, Рахманинову и многим другим классикам, точно подметил ленинградский поэт Владимир Уфлянд – в ироническом стихотворении под названием «После симфонического концерта»:

*Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.
Почем узнаю без канвы словесной я,
враждебная она или советская?..*

И в самом деле, о чем они – эти бестекстовые симфонии, квартеты и сонаты?! Да еще написанные в сложных формах? К чему эти изыски, в которых сам черт ногу сломит! Нужны ли они народу? Помогают ли выполнять важнейшую задачу советского искусства – формирование нового человека, строителя нового общества? Разве не полезней для этой цели музыка с ясным, а не зашифрованным смыслом, выраженным в поющих словах? Или пусть даже инструментальная, но программная, с заголовком, помогающим понять ее смысл – наш он или не наш.

Нет, не зря томили эти сомнения и страхи наших вельможных музыковедов в штатском, не зря. Потому что именно в этой музыке, лишенной словесной канвы, и таилось то, чего они больше всего опасались: правда о той жизни, которой, по их воле, жили подвластные им строители счастливого будущего.

5. Правда правде рознь

*Жизнь, где бы она ни сказалась.
Правда, как бы она ни была солона.
Вот моя закваска, вот чего я хочу.*

Модест Мусоргский

Цитату для эпиграфа я привел по памяти, не заглянув в источник. Проверил – не подвела память: афоризмы классиков во славу художественной правды нам, студентам, полагалось зазубривать на всю жизнь. А нашим учителям полагалось уберечь нас от прямолинейного их толкования. Как они, бедные, старались! Сколько слов и времени тратили на то, чтобы открыть нам принципиально новый смысл понятия жизненная правда!

Нам терпеливо объясняли, что Модест Петрович Мусоргский жил в эпоху критического реализма, который тогда, в условиях эксплуататорского общества, был оправдан и необходим. В ТОМ – глу-

боко несправедливом и отсталом – обществе было что критиковать и чем возмущаться. Были язвы, которые надо было обличать, и лживые маски, которые следовало безжалостно срывать. Наш творческий метод – социалистический реализм – учит нас зоркости, умению высмотреть в потоке жизни главное. Он помогает художнику отсеивать случайное и запечатлевать типическое, то есть то, чему суждено расцвести в возводимом нашим обществом прекрасном коммунистическом будущем. Цель советского искусства – формирование гармонической личности с цельной, здоровой психикой, человека, верящего в неминуемый прогресс человечества и конечную победу социализма в мировом масштабе.

То, что внушалось нам в консерваторских классах, предъявлялось нашим взрослым коллегам как неперемное условие их профессиональной деятельности. *Единомыслие*, упорно внедряемое во все слои и поры общества, подкреплялось *единостилием*, введенным в обязательном порядке во всех без исключения творческих союзах СССР. Советский художник – это, конечно же, *соцреалист*, призванный изображать жизнь, с одной стороны, «*правдиво*», но, с другой стороны, «в ее революционном развитии». А это значит, что день *сегодняшний* он должен видеть через призму дня *завтрашнего*, показывая читателю, зрителю, слушателю пробивающиеся через почву обнадеживающие ростки будущего. Выполнение этого требования диктовало строгую и тщательную дозировку красок. Светлые тона должны были превалировать над темными. Уныние и пессимизм не приветствовались. Положительные герои, если и испытывали нечто подобное, обязаны были их преодолевать. Советская трагедия могла быть только оптимистической.

Несокрушимый оптимизм, бодрость духа, вера в неизбежный прогресс уже в 1920-е годы стали нормой, правилом идеологического хорошего тона, признаком принадлежности к передовому классу. В «Котловане» Андрея Платонова активист Сафронов постоянно озабочен тем, чтобы сердце каждого «обратило внимание на жар жизни вокруг костра классово́й борьбы, и произошел бы энтузиазм!» Бывало, однако, что и он «начинал сомневаться в счастье будущего» и «боялся забыть про обязанность радости»...

Товарищ Сталин был озабочен проблемой настроения масс не менее, чем активист Сафронов. И высказал эту озабоченность мо-

лодому и подающему большие надежды кинорежиссеру Григорию Александрову, встретившись с ним в августе 1932 года на даче у Алексея Максимовича Горького. Встреча эта описана Александровым в книге «Эпоха и кино» (<http://coollib.com/b/250046>), в главе «Жизнерадостное искусство».

Иосиф Виссарионович завел разговор об успехах первой пятилетки, позволяющих народу и партии «с оптимизмом смотреть в завтрашний день». А вот «искусство, к сожалению, – заметил вождь, – не успевает за темпами хозяйственного строительства. Искусство, по-моему, задержалось во вчерашнем дне. Известно, что народ любит бодрое, жизнерадостное искусство, а вы не желаете с этим считаться. Больше того, — с нескрываемой иронией продолжал Сталин, — в искусстве не перевелись люди, зажимающие все смешное. Алексей Максимович, — обратился он к Горькому, — если вы не против веселого, смешного, помогите расшевелить талантливых литераторов, мастеров смеха в искусстве».

Осенью того же года было созвано важное совещание, целью которого было *расшевелить* и повернуть к комедии талантливых деятелей кино. «Нам было сказано, – продолжает Александров, – что кинозрители в своих письмах требуют звуковых кинокомедий, которых на наших экранах почти нет. Говорилось и о том, что звуковые фильмы комедийного жанра должны вытеснить старые развлекательные комедии, прийти на смену оставленным нам в наследство царским строем бессодержательным фарсам. Музыка и песни этих новых советских картин должны заменить «жесткие романсы» и бульварно-блатные песни, еще бытующие в нашем обществе. Почему-то мастера кино «считают жанры «малых форм» недостойными своего внимания, и этот участок советского кинофронта остается открытым». Это был новый социальный заказ. Не могу передать, как обрадовало меня партийное поручение мастерам кино – создать жанр советской кинокомедии».

Заказ этот суждено было выполнить именно ему, Григорию Александрову, который незадолго до встречи с вождем в Горках вернулся из Голливуда. Трехлетняя командировка, санкционированная лично Сталиным, имела целью изучение техники звукового кино. Однако Григорий Васильевич научился там еще кой-чему. «Фабрика грез» регулярно выпускала в массовый прокат веселые и нарядные

фильмы с музыкой и танцами, помогавшие миллионам американцев справляться с шоком от обрушившегося на них стихийного экономического бедствия – Великой депрессии. То, что молодой и талантливый советский режиссер основательно овладел тайнами голливудской кухни, он убедительно доказал через два года после судьбоносной беседы с вождем.

В зловещем декабре 1934 года, через три недели после убийства Кирова на экраны выходят «Веселые ребята», первая кинокомедия Александрова с музыкой И. Дунаевского на слова В. Лебедева-Кумача и с женой режиссера, Любовью Орловой, в главной роли. Страна, как по мановению дирижерской палочки, подхватила марш «Легко на сердце от песни веселой» и лирическую «Сердце, тебе не хочется покоя». Так началась повальная песенная эпидемия второй половины 1930-х, и развивалась она, по странному (а, может, и не очень странному) совпадению, параллельно с ужесточением и расширением репрессий.

Через полтора года советский народ получил новую инъекцию оптимизма в виде фильма «Цирк» – второго боевика Александрова в голливудском стиле, украшенного неотразимой «Песней о Родине» Дунаевского – Лебедева-Кумача. Миллионы граждан охватила настоящая песнемания, авторы и издательства не успевали насытить рынок: невиданные до того тиражи листовок с новыми песнями – до 600 тысяч! – расходились с невероятной быстротой. К мощной армии песенников-профессионалов присоединились отряды любителей: тысячи самодеятельных авторов принимают участие в конкурсах на лучшую песню. Конкурсы проводятся даже за колючей проволокой, и песни, сложенные лагерниками, публикуются в специальных нотных сборниках. Читатели газет постоянно жалуются на нехватку нот...

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!» – гласила одна из самых удачных пародий на классические советские песни. Парадоксально, но факт: желание лишний раз наполниться радостью, излучаемой любимыми песнями, перекрывало жуть, которой веяло от тех же газет, печатавших – на самых видных местах – материалы показательных процессов. Эти страницы со зловещими заголовками крупным шрифтом до сих пор стоят перед моими глазами. Обвинительные заключения. При-

говоры. Списки приговоренных к расстрелу. Резолюции трудовых коллективов: «Нет и не будет пощады врагам!»; «Собакам – собачья смерть!»... Призывы к населению быть бдительными и разоблачать еще не выявленных врагов...

В кампанию по нагнетанию ненависти включились все средства, формы и жанры массового воздействия. Все – кроме музыки. Ей выпала иная миссия. Она приняла участие в другой кампании, которая велась *параллельно* и была направлена, с точки зрения психологического эффекта, в прямо противоположную сторону. Если первая тянула психику вниз, в темную, пугающую бездну, то вторая толкала ее вверх, к свету. Одна порождала ощущение незащитности, подозрительности и страха, другая должна была создавать атмосферу побед и свершений, молодости и прогресса.

Леденящий страх и окрыляющая радость были реальны в равной степени для миллионов советских людей. Нелишнее здесь вспомнить и высказанную Ханной Арендт в «Истоках тоталитаризма» отрезвляющую мысль о том, что тоталитарное общество в отличие от тирании создается снизу и в определенных условиях отвечает глубоким потребностям масс. Террор порождает социальную мобильность, активную вертикальную миграцию. Александр Зиновьев заметил как-то, что если бы не Великая Чистка, не стать бы ему, крестьянскому сыну, видным московским философом. И в самом деле, в те годы многие из тех, кто был ничем, становились хоть чем-то, а потому «Ну как не запеть в молодежной стране...».

В годы Большого террора эти две главные темы психологического воздействия сосуществовали и переплетались в прессе и радио, в поэзии и прозе, в искусстве плаката, в театре и кино. Советская музыка предвоенных лет избежала кричащей раздвоенности. Она не примкнула к хору озлобленных, охрипших от ярости голосов, призывавших к сыску и расправе. Погромные стихи Д. Бедного («Пощады нет!»), Джамбула Джабаева («Уничтожить!») или П. Антокольского («Ненависть») так и остались стихами, никто не положил их на музыку. Традиционный для революционных песен мотив классовой ненависти притих и подчинился общему пафосу прославления сущего: упоминание о враге (это, как правило, внешний враг) связывается с мотивом защиты социалистического Отечества («Но сурово брови мы насушим, / Если враг захочет нас сломать»).

Музыке хватило деликатности, чтобы не включиться в кровавую оргию 30-х годов. Грех подстрекательства к убийствам или их восторженного одобрения ее не коснулся. Над ней тяготеет другой грех – соучастие в создании миража, который для многих стал «реальнее действительности». Мифическое светлое будущее, которое вроде бы еще только строилось, уже было воздвигнуто в душах людей. Массовая музыка – талантливый манипулятор и гипнотизер, великий ловец человеческих душ – сыграла в этой роковой операции далеко не последнюю роль. Ловко обвела она вокруг пальца и иностранных граждан: перелетевшие за рубеж советские песни 30-х годов стали важнейшим элементом камуфляжа, улыбочивыми посланцами гуманной социалистической страны. Государство-монстр напаялило и выставило миру ярко раскрашенную маску. Многие приняли ее за человеческое лицо.

6. Шум времени на пяти линейках

*Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река...*

Анна Ахматова

И горе возвели в позор...

Борис Пастернак

“Это была первая великая опера и первая великая симфония, появившиеся в России после революции. Оба сочинения поражают широтой охвата жизни, широтой, которую хочется назвать шекспировской; проникновением в сердцевину вечных проблем существования человека в мире. Оба потрясают глубиной трагизма, особенно неожиданной у композитора, известного своим музыкальным остроумием, чувством юмора, талантом карикатуриста”.

Приведенная выше характеристика оперы «Леди Макбет Мценского уезда» и Четвертой симфонии Дмитрия Шостаковича принадлежит музыковеду Генриху Орлову, любимому ученику Михаила Семеновича Друскина. Взята она из статьи «При дворе торжествующей лжи. Размышления над биографией Дмитрия Шостаковича»,

которую Генрих написал в 1975-м году по просьбе Ефима Григорьевича Эткинды сразу же после смерти композитора, но опубликовал значительно позже.

Есть над чем задуматься: музыка, поражающая *широтой охвата жизни* и потрясающая *глубиной трагизма*, появилась в те же самые годы, что и служившие советскому мифу лучезарные гимны и кантаты! Причем одно из этих сочинений было многократно исполнено в СССР! Пока не подверглось разгрому в «Правде» в январе 1936 года. Второе репетировалось оркестром Ленинградской филармонии, но после статьи в «Правде» поступило распоряжение отменить его премьеру.

Русская музыка тех лет звучала в крупнейших культурных центрах Европы и обеих Америк. В одном только 1935 году опера «Леди Макбет Мценского уезда» была поставлена в Кливленде, Филадельфии, Цюрихе, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, Лондоне, Праге и Стокгольме. В крупнейших концертных залах Запада продолжала звучать Первая симфония Шостаковича, созданная 19-летним композитором в 1925 году. Премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» – одного из самых популярных балетов XX века – состоялась в 1938 году в Брно – за два года до советской премьеры в ленинградском Кировском театре.

Уже этот «послужной список» русских композиторов лишь за одно предвоенное десятилетие (в него можно добавить созданный тогда же Шостаковичем Концерт для фортепиано и трубы с оркестром, два концерта с оркестром – фортепианный и скрипичный – Арама Хачатуряна и начатые в конце 30-х Шестую, Седьмую и Восьмую фортепианные сонаты Прокофьева) свидетельствует, что музыке тогда повезло больше, чем литературе и другим видам искусства, действительно оказавшимся в те годы на задворках мировой культуры. Музыку крупных форм спасло то, что большевики некоторое время робели перед ее смысловой неопределенностью и воздерживались от попыток давать композиторам ценные указания. Даже Ленин, неплохо знавший классическую музыку, предпочитал отзываться только о тех сочинениях, которые ему по-настоящему нравились.

Однажды Ленин и к музыке предъявил претензию. И почти перестал ее слушать. Не понравилось ему то, что она настраивает

его на нежелательный лад: делает мягким и сердобольным. Оказывается, «*мыслящая гильотина*», как назвал Ленина лично знавший его художник Юрий Анненков, иногда превращалась в гильотину чувствующую. Вполне возможно, что смутившее отца-основателя СССР размягчающее, «гуманизирующее» воздействие музыки повлияло на принятое им в августе 1922-го труднейшее решение: закрыть, «*положить в гроб*» российские театры, в первую очередь – Большой и Мариинский. В самом деле, только ли в дороговизне бывших императорских театров было дело, о чем говорилось в его письмах Луначарскому и другим ответственным лицам? Или также – в несозвучном задачам времени репертуаре, пронизанном чуждыми пролетариату общечеловеческими, «буржуазными» идеями и ценностями?

Люди, ответственные за порядок в музыкальном хозяйстве страны, проявляли порой недопустимую беспечность и давали путевку в жизнь сочинениям, идеологически и художественно чуждым и вредным. Они-то и прохлопали, зазевались, расслабились – и допустили до сцены «Леди Макбет Мценского уезда»! Целых два года эта опера шла в двух театрах Москвы и Ленинграда и была показана около двухсот раз! И что? Сплошное восхваление – и ни единого по-настоящему тревожного сигнала! Потерявшие голову критики заходились в дифирамбах.

Мало того: руководство театрами страны выпустило специальный приказ, в котором говорилось, что опера Шостаковича «*свидетельствует о начавшемся блестящем расцвете советского оперного творчества на основе исторического решения ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года*».

Неизвестно, сколько бы длился этот угар и куда бы он завел советскую культуру, если бы в дело не вмешался лично товарищ Сталин. 26 декабря 1935 года «Леди Макбет» была поставлена в филиале Большого театра. Ровно через месяц, 26-го января 1936-го, на ее представление пожаловал вождь, сопровождаемый ближайшими соратниками. Реакция была мгновенной: редакционная статья «Сумбур вместо музыки» появилась в «Правде» уже через два дня! Она была написана при непосредственном участии Сталина и звучала как директива, спущенная с самого верха.

Соглашусь с Соломоном Волковым, автором книги «Шостакович и Сталин», изданной в Москве в 2005 году:

«Даже и теперь, десятилетия спустя, невозможно читать «Сумбур вместо музыки» без содрогания. Нетрудно понять, почему 29-летний композитор почувствовал, что земля под ним разверзлась. Его оперу, любимое его детище, уже завоевавшее признание во всем мире, подвергли грубому, бесцеремонному, безграмотному разнесу».

Некоторые пассажи статьи вызывали у деятелей культуры содрогание особого рода – от них веяло ужасом прямой угрозы:

«Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевых оригинальничаний. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо».

Непосредственным результатом выступления «Правды» было то, что *«первая великая опера и первая великая симфония, появившиеся в России после революции»* (как их определил Генрих Орлов в цитированной выше статье) на долгие годы исчезли из музыкальной жизни страны, причем Четвертая симфония подверглась изъятию еще до премьеры и четверть века оставалась «таинственной незнакомкой». У Шостаковича, замечает Орлов, «за плечами была лишь одна пятая творческого пути, впереди — множество сочинений, которые принесут автору широкую известность, но вид, открывающийся с этой двуглавой вершины, никогда больше не предстанет нашему взору... Теперь нам остается только гадать, каков был бы его дальнейший путь и чем стало бы его последующее творчество, если бы они могли развиваться без помех».

Да, именно так: миру не довелось увидеть того Шостаковича, каким он мог бы стать, если бы не катастрофа зимы 1936 года и если бы его гений мог в дальнейшем «развиваться без помех». Но не только он один был затронут безжалостным ударом, нанесенным по его опере. Директива, спущенная через ЦО («Центральный орган») «Правда», относилась ко всей советской музыке. И не только к музыке:

«Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что

и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное «новаторство» ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы».

Партия вела наступление по всему фронту культуры, искореняя отовсюду «левацкое уродство» и «мелкобуржуазное новаторство», то есть все, что было непохоже на классику и казалось ей чрезмерно сложным, заумным, субъективным и экспрессивным; все, что отдавало углубленным психологизмом, гротеском, мистикой или эротикой.

Вслед за разгромом оперы «Леди Макбет» «Правда», следуя указаниям Сталина, наносит удары по балету («Балетная фальшь», о балете на музыку Шостаковича «Светлый ручей», 6 февраля), кинематографу («Грубая схема вместо исторической правды», 13 февраля), архитектуре («Какофония в архитектуре», 20 февраля), живописи («О художниках-пачкунах», 1 марта), театру («Внешний блеск и фальшивое содержание»).

Одним из результатов этой тщательной сталинской лепки, можно даже сказать – одной из ее жертв, стала *интонация*, которая укоренилась в России в годы сталинщины. Попробую объяснить, что я имею в виду, на примере из области кино.

Лет через пять-шесть после смерти вождя в Москву из Парижа приехал режиссер Жан Древилль снимать совместный фильм о французской эскадрилье «Нормандия–Неман», которая во время войны сражалась на территории СССР. Начало съемок пришлось отложить на несколько месяцев: режиссер обнаружил, что у советских и французских актеров совершенно различная манера речи. Французы произносили свои реплики обыденно и просто, о чем бы ни шла речь. Русские же как-то странно пыжились, впадали в пафос, даже говоря о самых что ни на есть обыкновенных вещах. Вроде, «А не попить ли нам чайку?» Пришлось режиссеру с ними как следует повозиться, чтоб научить их говорить перед камерой нормальным человеческим тоном.

Приподнятая, пафосная интонация проникла повсюду – в кино и в театр, на радио, в речь ораторов и в речь письменную: поэзию, прозу, журналистику.

Историю с постановкой фильма «Нормандия–Неман» расска-

зала в годы «оттепели» «Литературная газета». О заметном сдвиге в характере советской риторики за несколько лет до этого написал Андрей Синявский – в опубликованной на Западе статье «Что такое социалистический реализм»:

«Начиная с 30-х годов окончательно берет верх пристрастие к высокому слогу и в моду входит та напыщенная простота стиля, которая свойственна классицизму. Все чаще наше государство именуется «державой», русский мужик – «хлеборобом», винтовка – «мечом». Многие слова стали писаться с большой буквы, аллегорические фигуры, олицетворенные абстракции сошли в литературу, и мы заговорили с медлительной важностью и величественной жестикуляцией».

К социалистическому реализму *массово приобщались* в те же годы и советские композиторы. Но на музыке этот процесс сказался иначе. Композиторы, обладавшие могучим и оригинальным талантом, не стали писать хуже. Они, как принято было тогда говорить, **«перестраивались в ответ на мудрые указания партии»** и меняли творческую стратегию, чтобы так или иначе, «не мытьем так катаньем», выразить себя в музыке, запечатлеть нотными знаками свой внутренний мир и свои представления о мире внешнем. У Шостаковича это получилось, но – ценой целого ряда корректив и уступок, на которые ему пришлось пойти. Поэтому Генрих Орлов и назвал «Леди Макбет» и Четвертую симфонию Шостаковича «двуглавой вершиной», вид с которой **«никогда больше не предстанет нашему взору»**. Эти сочинения, по словам критика, **«оказались вершинами его внутренней свободы – концентрированным и неискаженным проявлением того, чем был Шостакович в возрасте 25-30 лет»**.

Парадокс, гримаса судьбы: художник, который создал эти две трагедии, находясь в относительном благополучии, был вынужден смягчить свою палитру в момент, когда трагедия ворвалась в его жизнь: заработав в 1936 году опасные титулы *формалиста, антинародного композитора* и, как его называли в нескольких газетах, врага народа, в 1937-м он оказался в совсем уж губительной близости к тем **«врагам народа»**, которые уже попали в мясорубку террора. Когда Ленинградское отделение НКВД вызвало Шостаковича на допрос, он решил, что настала его очередь. Следователь Закревский обвинил его в участии в террористической группе, готовящей покуше-

ние на Сталина, и потребовал выдать имена остальных заговорщиков. Допрос состоялся в субботу и длился много часов. Закревский отпустил подозреваемого с условием, что в понедельник он явится снова. И предупредил: если не предоставите сведений о своих сообщниках, будете тут же арестованы!

– Самым страшным было то, – рассказывал Шостакович своему биографу Кшиштофу Мейеру, – что надо еще было прожить воскресенье. В понедельник допрос не состоялся: Закревский был уже расстрелян...

С тех пор, – читаем далее в книге К. Мейера, – Шостакович *«в течение долгих месяцев ложился спать одетым, а на случай ареста всегда имел наготове небольшой чемоданчик... Он был совершенно подавлен, его начали посещать мысли о самоубийстве, которые с большими или меньшими перерывами преследовали его в следующие десятилетия. Длительное ожидание худшего оставило прочные следы в его психике, и панический страх перед потерей свободы сопровождал его до самой смерти. Этот страх то уменьшался, то набирал силу, но не исчезал никогда... Он искал забвения в алкоголе, причем все в большей степени»*.

Летом 1937 года Шостакович сочинил свой первый после разгрома «Леди Макбет» *«Ответ советского художника на справедливую критику»*, как гласит подзаголовок его Пятой симфонии. Другим его ответом было то, что он перестал писать оперы: рожденный мастер музыкальной драмы навсегда оставил этот жанр. Слишком глубока оказалась травма. Хоть он и «не перестроился» полностью, но все же произвел некоторую реконструкцию своего стиля. Что же изменилось в Пятой по сравнению с Четвертой?

Во-первых, *масштабы*. Четвертая была написана для огромного оркестра с резко увеличенным составом духовых и ударных. И длилась целый час, хотя и состояла всего из трех частей – вместо обычных четырех. В Пятой оркестр значительно более скромный, а ее четыре части длятся 45 минут.

Во-вторых, изменилась *драматургия*. Не вдаваясь в детали, понятные и интересные профессионалам, скажу лишь о том, что способен услышать, понять и оценить человек, ни в каких консерваториях не обучавшийся.

1. *Финал Четвертой симфонии открывался траурным маршем.* Главная тема 3-й части, ее господствующий образ напоминает суровые и скорбные похоронные шествия из симфоний Густава Малера и оперы «Гибель богов» Рихарда Вагнера. Пятую он также закончил маршем, но его характер, пульс, поступь – совсем иные. Он источает уверенность, решительность и силу. В конце финала марш перерастает в победное, торжественное шествие: воцаряется ослепительный мажор, гремят размеренные и оглушительные удары литавр, во всю медную мощь режут трубы, валторны и тромбоны. Впечатление ошеломляющее, но – странное, двоящееся. Почему-то не очень радуется этот мажор, не опьяняет, а, скорее, настораживает это громогласное ликование.

Филармоническая публика встретила симфонию шквалом долго не утихавших оваций. Дирижер Евгений Мравинский, откликаясь на них, поднял над головой партитуру Пятой... Между тем, официальная критика не спешила с вынесением своего приговора. Наконец, через месяц с лишним после премьеры, 28 декабря 1937 года, «Известия» опубликовали рецензию, подписанную Алексеем Толстым, которому в последние годы явно благоволил Сталин. Неудивительно поэтому, что отзыв писателя прозвучал для Шостаковича как сигнал спасения:

«Перед нами реалистическое большое искусство нашей эпохи... Слава нашей эпохе, что она обеими пригоршнями швыряет в мир такое величие звуков и мыслей. Слава нашему народу, рождающему таких художников».

Начальство решило простить композитору подозрительную амбивалентность финала.

2. *Сильно действовало на слушателей Пятой другое драматургическое новшество* – странное, необычное поведение лирических мелодий первой части: по мере разворачивания инструментальной драмы они резко меняют свой облик. В классической музыке ничего подобного не было: симфонисты прошлого бережно обращались с такими темами и стремились сохранить их первоначальный характер.

В Пятой нет никакой объявленной программы. Тем не менее, Шостакович счел нужным пойти по тому же пути и продвинулся по нему еще дальше. Композитор подвергает «пластической опе-

рации» не одну, а ВСЕ мелодии, на которых зиждется первая часть симфонии – наиболее «событийный» и значимый «акт» симфонической драмы. Ради этого новшества он полностью реформирует ее драматургию. Композитор начинает симфонию не с «событий», а с углубленной лирики. И поэтому отказывается от быстрого темпа, в котором написано подавляющее большинство заглавных частей классических симфоний. Образы действия, борьбы заменяются звучаниями, которые ассоциируются с ходом мысли, с интенсивной работой души, вопрошающей и ищущей ответов.

Но вот заканчивается первый раздел, и движение ускоряется. Все громче и жестче звучит оркестр – и мы с ужасом замечаем, что возвышенный лик неспешных мелодий искажается, уродуется как в кривом зеркале. Они теряют тепло и трепет, наливаясь грубой, агрессивной силой. Напряжение растет, достигая нечеловеческого накала. Наступает трагическая кульминация, после которой восстанавливается медленное течение музыки и возрождается (хотя и не полностью) первоначальный облик тем...

Наиболее последовательно эта новая драматургия первой части представлена в центральных симфониях Шостаковича – Пятой, Восьмой и Десятой.

Шостакович не оставил нам никаких разъяснений о подоплеке этих преобразований. Ни слова о том, что им руководило и была ли у него какая-либо четко осознанная цель. Мастер не любил распространяться о своем творчестве, о своих истинных художественных намерениях, уклончиво отвечал на попытки критиков проникнуть в секреты его мастерства, «поверить алгеброй» его гармонию, мелодию, принципы формообразования. Замечательный ленинградский музыковед, Александр Наумович Должанский, как-то рассказал мне, как, встретившись с Шостаковичем в консерваторском коридоре, поделился с ним своим открытием – теорией шостаковичевских ладов. Дмитрий Дмитриевич, внимательно выслушав взволнованный монолог теоретика, неожиданно спросил: «Ну, а как поживает ваша семья?» И ни звука не обронил по поводу развернутой перед ним стройной системы ладовых структур, объясняющих своеобразие и сгущенную напряженность его мелодики.

...Не так давно я услышал Пятую симфонию в исполнении Балтиморского оркестра под управлением Юрия Темирканова. Впечат-

ление было ошеломляющим. Особенно – от первой части, когда после неумолимого разгона движения возникает – у труб и ударных – зычный и наглый марш, злая карикатура на тихую и трепетную тему так называемой «главной партии». Манипулируя оттенками темпа и динамики, дирижер резко усилил воздействие этого эпизода, довел до предела, до жути вызываемое им ощущение трагического абсурда. Повееяло полузабытым советским кошмаром... После концерта, в артистической я сказал Юрию, что такой сокрушающей кульминации первой части мне еще не доводилось слышать. Он пристально на меня посмотрел: «Что, страшно стало? Ты от этого уехал?»...

Новая симфоническая драматургия была подсказана, внушена новой реальностью, которая породила создававшееся в те же – ока-янные тридцатые – другое великое произведение – «Реквием» Анны Ахматовой.

*Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
**Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать...***

Художнический гений Шостаковича подсказал ему, что классическая драматургия симфонии не может полноценно работать в мире кошмарных метаморфоз, в мире, все более напоминающем фильм ужасов или театр абсурда. Зло утратило абстрактность, оно проникло во все поры общества и поселилось в самом человеке. Его уже необразишь по-старому – как нечто принципиально чуждое, врывающееся издали, из враждебных сфер, как глас судьбы, смерти, адских сил. И композитор изобразил зло по-новому: оно вырастает из мелодий, излучавших человечность, добро и благородство. **Кто зверь, кто человек, теперь не разобрать...**

«Реквием» Ахматовой был опубликован спустя много лет, в 1987-м, когда в России объявили «гласность». Между тем, **музы-**

кальное свидетельство о страшной эпохе – Пятую симфонию Шостаковича – исполнили публично в разгар Большого террора. Советское государственное издательство выпустило ее партитуру. В условных значках, размещенных на пяти нотных линейках, запечатлелись эмоции и образы, родственные тем, что вопиют со страниц ахматовской поэмы, но, тем не менее, пробившиеся на поверхность и услышанные современниками. Русская музыка XX века – та, что сочинялась не по заказу, а по зову души – звучит намного суровее, жестче и трагичнее, чем музыка Западной Европы или Америки, сочинявшаяся в то же время. В стране, где «горе возвели в позор» (Б. Пастернак), где автор поэмы о горе, перед которым **«гнутся горы, не течет великая река»**, опасаясь за свою жизнь, немедленно сжигала листочки с новыми главами, после того как их запоминали ее ближайшие друзья, – в этой стране звучала музыка, говорившая о том же, но иначе: потоком звучаний, лившихся прямо в душу слушателей, в их подсознание.

Вот и тут Россия оказалась «впереди планеты всей». Победительницей почудившегося мне сейчас гипотетического, воображаемого международного конкурса: «Музыка какой страны глубже и ярче выразила катаклизмы и страдания безумного двадцатого столетия?» Сомнительная честь. Не слишком ли дорогую цену пришлось заплатить ей за это первенство?..

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ

НЕОФИТЫ: ЛИДЕРЫ, БОГОСЛОВЫ, ДИССИДЕНТЫ

Вклад евреев в христианскую религиозную философию

История иногда делает поразительные кульбиты. В конце двадцатого – начале двадцать первого века постсоветское пространство выбросило в Германию двести тысяч русскоязычных евреев. Разумеется, слово «выбросило» здесь не передает истоков движения этой эмиграционной волны, Бог знает какой по счету для России. Конечно же, они уехали сами, скорее вырвались из географического пространства, в котором жили поколениями, приспосабливаясь к разным политическим режимам. Оказавшись в Европе, они и здесь попытались приспособиться к другой реальности, открывая в себе новые внутренние черты, иные духовные потребности.

Воспитанные в духе советского казенного атеизма, в рамках которого слово Бог писалось с маленькой буквы, эти люди пытались обрести своего Бога, познать религиозную культуру, принадлежащую им по праву рождения. Сделать это оказалось нелегко. Синагога принимала их, но незнание библейского иврита не давало возможности участвовать в традиционном молитвословии, да и смыслы литургии, религиозных праздников как и многого другого, что составляет духовное начало еврейской цивилизации, был им непонятен. Но желание войти в эту реку новой для них религиозной культуры оставалось.

Еврейские общины шли навстречу этому желанию. Одним из проявлений заботы о духовном просвещении новообращенных единоплеменников стал религиозно-философский семинар, который мне довелось вести сначала в рамках Центральной еврейской благотворительной организации Германии, а затем – Еврейской общины Берлина. Немало такого рода просветительских материалов публиковалось на страницах «Еврейской газеты» и «Еврейской панорамы»,

где я вел соответствующие разделы. На этих площадках предпринимались попытки ответить на многие интересующие русскоязычную еврейскую аудиторию вопросы.

Каковы символы иудейской веры, философия и духовная подоплека религиозных праздников, что такое каббала, что представляют собой современные религиозные течения иудаизма – на все эти и многие другие вопросы предстояло отвечать на понятном слушателям языке, вместе с тем учитывая их довольно высокий культурный уровень. Так родились очерки духовного наследия иудаизма. Думается, что они могут представлять интерес для всякого человека, стремящегося познакомиться с духовным багажом еврейского народа, приобретенным им на протяжении нескольких тысячелетий.

Епископ Лука, он же знаменитый хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий рассказывает, как после проповеди к нему обратилась пожилая прихожанка с вопросом: «Так если дева Мария была еврейка, стало быть и Иисус был еврей?» Видимо, ее мучили сомнения: как же так, распятый евреями Христос – сам еврей. Как это может быть?

Подивившись такому невежеству, епископ развеял сомнения своего простодушного духовного чада.

Не знаю, насколько глубоко просвещал он ее и упоминал ли, что в первую христианскую общину входили евреи Иерусалима (позже их назовут иудео-христиане), которые строжайшим образом соблюдали иудейский Закон и покинули Иерусалим лишь после разрушения Храма в 70 г. н.э. И только когда христианство стало распространяться в эллинизированных колониях Сирии, Малой Азии и Греции, в среде столь отличной по своему духу от еврейства, апостол Павел, как об этом рассказывается в Новом Завете, принял решение освободить новообращенных христиан от заповедей Закона и обрезания, благодаря чему он сразу изменил ход мировой истории.

Отступничество. В многовековой еврейской истории наряду с фанатичным упорством, с которым евреи держались за свою веру, предпочитая скорее умереть, чем отказаться от нее, есть и такое явление как отступничество.

Но дело в том, что с точки зрения еврейского религиозного закона переход еврея (то есть лица, родившегося от матери-еврейки или прошедшего по всем правилам обряд гиюра) в иную веру в сущности невозможен: «Еврей, даже согрешив, остается евреем» – говорится в Талмуде.

Для человека, рожденного евреем, иудаизм не предмет выбора, поэтому, даже если он прошел церемонию вступления в иную религию и заявил о своем отказе от еврейской веры, с точки зрения иудейского религиозного закона он продолжает оставаться евреем, хотя и считается грешником.

Отступник, желающий вернуться к иудаизму, не нуждается в прохождении особого ритуала, так как со строго галахической точки зрения он никогда не переставал быть евреем.

С возникновением христианства отступничество стало одной из центральных проблем в отношениях между евреями и их соседями, постоянным источником напряженности и вспышек межрелигиозной розни. Попытки иудео-христиан примирить еврейский Закон с христианскими догматами оказались тщетными и во второй половине II века были отвергнуты как евреями, так и подавляющим большинством христиан. Пути иудаизма и христианства окончательно разошлись, и принятие христианства стало рассматриваться евреями как отступничество и участие в идолопоклонстве..

В эпоху Ренессанса и Реформации отступничество вызывалось различными мотивами. Одним из типов отступника, характерным для этого периода, был еврей-интеллектуал, утративший национальные корни. Некоторые обратились в христианство в результате контактов с ренессансными кругами.

В XIX веке в эпоху Просвещения основной причиной отказа от еврейства в высших кругах еврейского общества Западной Европы было стремление к культурной и социальной ассимиляции и надежды на эмансипацию. Некоторые евреи видели в христианстве основу и высшее выражение европейской культуры, другие рассматривали отступничество как наиболее простой способ добиться гражданского равноправия.

Наконец, еще одной причиной отступничества служило безразличие к иудаизму некоторых членов еврейской общины.

Уже начиная со второй половины XVIII века крещение стало

условием принятия еврея в европейское культурное общество. В некоторых общинах, например, в берлинской, более половины потомков старых патрицианских еврейских семей приняло христианство. В Германии даже действовали общества по обращению евреев в христианство. Отступничество воспринималось как внешняя формальность, хотя некоторые более глубокие натуры как, например, Г. Гейне, сожалели о совершенном отступничестве. Другие, как крещенный в детстве Маркс, открыто выражали свое пренебрежение и вражду к еврейству

Предполагается, что в XIX веке во всем мире крестилось около 205 тыс. евреев (включая фактически насильственно обращенных кантонистов в России).

В царской России до 1917 г., только крестившись, можно было получить доступ к определенным профессиям и государственной службе. Однако ввиду того, что общественная и духовная сплоченность российского еврейства была сильна, отступники, перешедшие в христианство ради государственной службы, университетской карьеры и т. п., часто сохраняли свои связи с еврейством и подчеркивали свое еврейское происхождение. С другой стороны, были и такие отступники, которые становились яростными антисемитами. Достаточно вспомнить лидера московского отделения черносотенной организации «Союз русского народа» В. Грингмута, редактора газеты «Московские ведомости».

Секуляризация западного общества во второй половине XIX века – XX веке превратила еврейское самоопределение из преимущественно религиозного в национально-историческое. Антисемитизм постепенно утрачивал религиозно-культурную мотивацию и приобретал расовый характер, что нашло наиболее сильное выражение в Холокосте, когда на уничтожение обрекались все, в чьих жилах текла еврейская кровь, безотносительно к вероисповеданию.

Тем не менее, явление отступничества не потеряло своей идеологической остроты, напротив, в отличие от чисто религиозной точки зрения, согласно которой отступник продолжает оставаться евреем, с точки зрения еврейского секулярного самосознания отступничество — акт, безоговорочно исключающий отступника из еврейского народа.

Истоки крещения. В России 60-х – 80-х годов прошлого века проблема еврейского отступничества приобрела весьма своеобразные очертания.

С одной стороны часть еврейской молодежи, жившей в атеистическом обществе с декларированным, но отнюдь не реализованным интернационализмом, стала ощущать себя евреями не только по паспорту, но и по внутренней сущности. Если раньше в синагогах молились в основном старики, сохранившие связь с религией, то теперь там стала появляться молодежь. Создавались подпольные кружки еврейского религиозного образования, изучался иврит. В 90-е годы большинство этих неофитов отбыло в Израиль.

Но в то же самое время молодые и не очень молодые люди еврейского происхождения или полукровки крестились и реализовывали свою духовную сущность в христианстве. Что толкало их на этот шаг? Говорить о культурной и социальной ассимиляции, как это было с еврейскими отступниками в Европе XIX века, здесь не приходится. Евреи вполне успешно существовали в русской культурной среде. А скрытую или явную дискриминацию по национальному признаку, которой они подвергались, акт крещения мог только усилить, коль скоро он становился явным. Так что же? Ощущение внутреннего протеста против атеистического общества с диктатом так называемой коммунистической идеологии? Но этот протест нередко оставался тайным, глубоко личным. Тяготение к доселе незнакомой, но чем-то притягательной сфере духовной жизни, которая свойственна русскому народу?

Но почему же не иудаизм, религия твоих предков? Там чужой трудный язык, чужая религиозная традиция. Нужен очень сильный национальный импульс, чтобы преодолеть эти препятствия. А православие в какой-то мере проникло в поры русской культуры, истории, во все, что так дорого и интересно всякому российскому интеллигенту, будь он хоть и еврей по паспорту.

Впрочем, все это предмет изучения историка российской общественной мысли, а я, не будучи в состоянии дать окончательный ответ на такой вопрос, могу только констатировать, что в моей среде было немало евреев или полукровок, крестившихся и в той или иной мере соблюдающих православную традицию.

Но интересно другое: еврейство породило не только христиан-

ских неофитов, но и немало священников, и в том числе таких, кто внес свой вклад в христианскую религиозно-философскую мысль. О них-то и пойдет речь.

Кардинал Люстиже. Начнем с фигуры весьма яркой, с одного из высших иерархов католической церкви и главы этой церкви во Франции кардинала Люстиже.

Трудно представить себе судьбу более причудливую и удивительную, чем та, которая была суждена этому сыну мелкого еврейского торговца, перебравшегося перед Первой мировой войной из польского Бенджина в Париж. Там у него в 1926 году родился сын, нареченный Ароном.

Когда началась Вторая мировая и немцы оккупировали Париж, семья распалась. Сына отправили к христианским знакомым в Орлеан, отец бежал на юг, в неоккупированную часть Франции. Мать же осталась в Париже, надо же было кому-то сторожить лавку. Вскоре ее отправили в пересыльный лагерь Дранси, затем в Освенцим, где она и погибла. Отец же пережил войну, но контакт с сыном был утерян. Арон в 14-летнем возрасте принял крещение, несколько изменил на французский лад фамилию – не Люстигер, а Люстиже, добавил к своему родовому имени французское – Жан-Мари Люстиже, и стал глубоко верующим католиком.

Уже во время войны он окончил лицей в Орлеане, затем Сорбонну и Католический университет в Париже. И затем молодой христианский неофит зашагал по лестнице католической иерархии – приходский священник, Орлеанский епископ, и, наконец, в 1981 году – Парижский архиепископ, должность, означавшая главенство в церкви Франции. В этой должности он пробыл до 2005 года, когда вынужден был уйти по болезни в отставку и два года спустя умер.

Такая блестящая церковная карьера была следствием не только больших интеллектуальных способностей кардинала, но и особого благоволения папы Иоанна Павла Второго. Люстиже считался его фаворитом, поговаривали даже, что парижский архиепископ должен стать одним из кандидатов на римский престол. Некоторые видели некое предзнаменование в том, что будущий римский епископ происходит из того же народа, что и первый папа – апостол Петр.

Люстиже обладал славой выдающегося проповедника. При

этом он стремился вести диалог не только с паствой, но и с современным миром, так как был убежден, что христианин должен уметь разговаривать на понятном языке о проблемах, волнующих мир, будь то бедность, безработица, экология и все что угодно. Его беседы на радио «Notre Dame» пользовались большой популярностью, не меньшей, чем его проповеди во время богослужений в соборе Парижской Богоматери.

Интересно, что кардинал никогда не скрывал своего еврейского происхождения и даже им гордился. Известный богослов, автор множества трудов, среди которых есть книга «Народ Бога», он никогда не переставал считать себя евреем, а евреев – избранным народом. В христианстве он видел вершину иудаизма...

Он заявлял: «Я родился евреем и евреем останусь, даже если многие считали это неприемлемым». Свое крещение Люстиже не считал фактом отступничества и отрицания иудаизма, а, напротив, – полным завершением его. Он отвергал распространенное в католических кругах мнение, что Катастрофа являлась наказанием еврейскому народу, не принявшему Мессию – Иисуса. Люстиже полагал, что с христианской точки зрения понятие избранный народ в применении к евреям не утратило значения. Он заявлял: еврей – носитель избранничества, за что окружающие столь часто его отвергают и даже убивают.

Эти высказывания вызывали враждебность некоторых католических кругов, а также полемику в еврейской среде. Так, главный раввин Франции Жакоб Каплан утверждал в связи с высказываниями Люстиже: «Человек не может быть в одно и то же время христианином и евреем. Он должен сделать выбор».

Но кардинал продолжал твердить: «Я рождён евреем и остаюсь им, даже если это недопустимо для многих. Для меня призвание Израиля – нести свет к неевреям. Это моя надежда, и я полагаю, что христианство – средство для достижения этого».

Такая позиция главы католической церкви Франции вызывала смесь уважения и удивления. Тем не менее на памятной табличке в крипте собора Нотр-Дам, где был похоронен Люстиже, написана следующая многозначительная цитата из его высказываний: «Я родился евреем. Мне дали имя моего деда – Аарон, я принял христианскую веру и был крещен, но как и апостолы, я остался евреем».

На его похоронах, помимо президента и премьер-министра Франции, присутствовали все лидеры еврейской общины, узники Холокоста. Деревянный гроб с телом кардинала был установлен на площади перед собором Парижской Богоматери. Внучатый племянник Люстиже прочел 113-й псалом на иврите и французском и водрузил на гроб сосуд с землей, собранной на Святой земле. 83-летний Арно Люстигер, двоюродный брат кардинала, прошедший через ужасы нацистского лагеря смерти, прочел Кадиш.

В дни, когда Франция хоронила своего христианского лидера, один публицист так прокомментировал это событие: «Итак, либеральное общество позволило еврею выбирать себе любой вариант еврейства, сионизм доказал, что евреи являются нацией, а не конфессией, а нацисты объяснили, что еврейство есть прежде всего кровь и судьба. В этой ситуации появление христиан еврейского происхождения и с ярко выраженным еврейским самосознанием стало не только возможным, но и практически неизбежным. А поскольку среди евреев всегда хватало способных и талантливых людей, было бы странно, если бы хоть один из них не сделал головокружительную церковную карьеру».

Александр Мень. А теперь обратимся к другой не менее яркой, чем Люстиже, фигуре, только реализовавшей себя не во французском католицизме, а в русском православии. Это священник, чьи труды и судьба, несмотря на то, что прошло 27 лет с момента его трагической гибели, и по сей день занимают умы россиян, как религиозных, так и секулярных.

Но прежде чем говорить о трудах и пастырском служении этого человека, зададимся вопросом, каким образом сын Вольфа Герш-Лейбовича Менья, правда переделавшего свое имя отчество на Владимира Григорьевича, и Елены Семеновны (Соломоновны) Цуперфейн превратился в протоиерея Русской православной церкви Александра Владимировича Менья.

Когда речь шла о кардинале Люстиже, там его христианизацию можно было объяснить стремлением к выживанию в условиях Холокоста, хотя кардинал уверял, что он пришел к христианству сам, читая в детские годы Евангелие. Но во время войны такое обращение детей в иную веру случалось не раз. Еврейские родители из страха за

судьбу ребенка отдавали его в сердобольную христианскую семью, сами погибали, а в семье дитя крестили и затем воспитывали его в духе новой религии. Я сталкивался с такими ситуациями в Польше.

Но Александр Мень родился в 1935 году в Москве в семье обыкновенного советского инженера, безрелигиозного еврея. Однако имелась мать, и эта аидише мама была не просто глубоко верующей православной христианкой, но еще и принадлежала к катакомбной, не принимающей советский идеологический диктат церкви. Она-то и окрестила своего новорожденного сыночка с помощью духовного наставника, священника катакомбной церкви отца Серафима. И не только окрестила, но и в дальнейшем воспитывала его в духе христианских традиций. Но она-то, Елена Соломоновна Цуперфейн, как стала православной? На сей счет в семье имелась легенда о том, как бабушка Елены, жившая в конце XIX века в Харькове вдова с семью малолетними детьми заболела, судя по всему, онкологическим заболеванием. И соседка уговорила ее пойти к приехавшему в Харьков знаменитому священнику Иоанну Кронштадтскому, имевшему славу чудотворца. Отец Иоанн выделил женщину из толпы почитателей и сказал ей следующее: «Я знаю, что Вы еврейка. Но вижу в Вас глубокую веру в Бога. Помолимся господу, и он исцелит Вас от вашей болезни» Он благословил ее, опухоль вскоре исчезла, а исцелившаяся стала христианкой.

Эта история, напоминавшая евангельские легенды об исцелении и обращении, тем не менее послужила импульсом для череды обращений в нескольких поколениях одной еврейской семьи. Бабушка воспитывала Елену, ставшую под ее влиянием страстно верующей христианкой. Елена в свою очередь крестила и соответствующим образом воспитывала сына, ставшего священником.

Научила ли мать сына держать свою веру в тайне от советского атеистического окружения? Видимо, нет, ибо Александр, будучи студентом, был исключен из пушно-мехового института «за религиозные воззрения». Он поступил в ленинградскую духовную семинарию, окончил духовную академию и в 25-летнем возрасте стал священником. Но последующие 30 лет его служения в различных подмосковных приходах отнюдь не исчерпывались выполнением обязанностей приходского протоиерея.

Уникальное сочетание широкой эрудиции, открытости к свет-

ской культуре, науке, к другим конфессиям, нехристианским религиям выдвинули Меня в число ведущих христианских проповедников России. Так же, как и Люстиже, он считал, что проповедник должен говорить с паствой о волнующих ее проблемах на понятном языке. И так же как кардинал, с которым он, кстати, состоял в переписке, он не мог не писать книг, выражающих его христианскую позицию.

Но Мень жил отнюдь не в том демократическом обществе, как Люстиже, и к тому же не обладал высоким саном, оставался всю жизнь скромным приходским священником. Поэтому его книги положили начало христианскому самиздату и тамиздату, ходили по рукам и издавались за рубежом вплоть до перестроечных восьмидесятых годов, когда они стали издаваться и в России.

Главные труды Меня – книга об Иисусе «Сын Человеческий», а также шеститомная серия «В поисках пути, истины и жизни», в которой автор рассматривает историю нехристианских религий как путь к христианству в борьбе магизма и единобожия. Популярны также его книги «Таинство, слово, образ», «Как читать Библию?», переведенные, как и другие его труды, на многие европейские языки.

Он обладал удивительным даром общения, особой притягательной силой, к нему тянулись не только простые прихожане, но и представители творческой интеллигенции, диссиденты, В его скромной деревенской церкви можно было встретить Александра Исаевича Солженицына, чьим духовником он был, Фазиля Искандера, Александра Галича, Надежду Мандельштам, известного философа и культуролога Сергея Сергеевича Аверинцева.

После смерти Меня Аверинцев писал: «Специальным объектом миссионерских усилий отца Александра стало совсем особое туземное племя, которое зовется советской интеллигенцией. Племя со своими понятиями и преданиями, со своими предрассудками... Племя, с которым миссионер должен разговаривать на его собственном туземном языке; если нужно – на сленге».

За этой иронической сентенцией стоит понимание роли Меня в религиозном просвещении интеллектуального сословия России.

Особенно активна и плодотворна была его деятельность в последние годы его жизни, совпавшие с перестройкой.

Он стал одним из основателей Российского библейского общества, Общедоступного православного университета, журнала «Мир Библии», активно поддерживал благотворительную деятельность, стоя у истоков создания Группы милосердия при Российской детской клинической больнице, которая впоследствии была названа его именем.

...Смерть его была ужасна. Его зарубили топором по дороге со станции в храм ранним утром 9 сентября 1990 года, забрав портфель. Следствие тянулось долго и было странным, пропадали вещественные доказательства, появлялись какие-то люди, бравшие вину на себя, но потом это оказывалось самооговором. Версии возникали разные – сатанисты, КГБ, ненавистники из числа клира... Ни мотивы преступления, ни убийца так и не были найдены.

Надо сказать, что гибель Александра Меня была воспринята как национальная трагедия. Память о нем живет в обществе. Книги его переиздаются, существует фонд и премия его имени. О нем снимают фильмы, пишут книги, его прихожане в разных слоях общества отмечают памятные даты своего учителя.

Популярен он и за рубежом. Кардинал Люстиже, откликнувшийся на смерть горестным посланием, сказал, что несмотря на то, что он видел отца Меня всего один раз, он ощутил интеллектуальное и духовное сияние, исходившее от этого человека.

Интересна судьба его детей. Дочь Елена стала иконописцем, а сын Михаил сделал политическую карьеру в ельцинско-путинские времена, был ивановским губернатором, а сейчас является министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Митрополит Иларион. Пора переходить к следующей фигуре нашего рассказа. На сей раз это один из высших иерархов Русской православной церкви митрополит Иларион.

Много лет назад я прочитал в «Новом мире» повесть Валерии Алфеевой «Джвари». Так назывался грузинский монастырь, в который молодая писательница приезжает из Москвы вместе с сыном, 15-летним подростком, юным музыкантом, проникнутым религиозным чувством и мечтающим стать монахом. Повесть, как мне показалось, была написана по автобиографическим мотивам и запомнилась мне и темой, и проникновением в психологию монашества.

И вот спустя несколько десятков лет я, читая биографию Илариона, узнаю, что в миру его звали Григорий Валерьевич Алфеев и что он сын той самой писательницы, изобразившей его таким славным и чистым душой подростком.

Но почему он носит фамилию матери, ведь был же и отец. Да, отец, разумеется, имелся, звали его Валерий Григорьевич Дашевский, был он ученым-химиком, евреем по национальности. Получается, что митрополит Иларион по отцу еврей, но в отличие от кардианала Люстиже он об этом никогда не упоминал, да и русская православная церковь не афишировала, что один из ее высших иерархов полукровка. Обычно этот факт использовали в своих полемических дискуссиях лишь оппоненты и конкуренты Илариона, не согласные с его свободой богословских выступлений. Между тем в гнесинской музыкальной школе, где он учился, его знали как Гришу Дашевского. Видимо, смена фамилии произошла позднее.

Но не будем углубляться в эту национальную тему. Вырастая, Гриша Дашевский проявил блестящие способности в музыке, в богословии, в церковной дипломатии и многих других слагаемых этой яркой личности.

Первоначально казалось, что ему на роду написано быть музыкантом. После гнесинской школы он поступил в Московскую консерваторию на факультет композиции. Но через несколько лет оставил консерваторию, вернувшись к музыкальному сочинительству лишь многие годы спустя, уже будучи иерархом православной церкви. Его «Рождественская оратория», «Страсти по Матфею», «Божественная литургия» и другие сочинения духовной музыки исполняли лучшие оркестры и певцы как России, так и зарубежных стран. Но это будет уже в нулевые годы, а тогда в юности, в восьмидесятые годы (он родился в 1966 году и, стало быть, сейчас ему исполняется пятьдесят один год) Григорий Алфеев (тогда еще он носил мирское имя) оставляет консерваторию и совершает постриг в монашество.

Дальнейший путь его идет в русле церковной карьеры. Недолгое пастырское служение в сельском храме в Литве, которому предшествовало заочное обучение в Московской духовной семинарии и академии. После аспирантуры и получения степени кандидата богословия он преподает там различные религиозные дисциплины – искусство проповеди (гомилетику), догматическое богословие, древ-

негреческий язык. Что касается языка, то он полиглот, – свободно владеет тремя европейскими и древними языками. Всем этим он пользуется в своей дальнейшей исследовательской и переводческой деятельности.

В Оксфорде он работает под руководством известного православного богослова и становится доктором философии. В это же время он пишет свои известные богословские труды: «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие», выдержавшее девять изданий в России и переведенное на четырнадцать языков; монографии, посвященные жизни и учению отцов церкви; исследование «Христос – победитель ада» и другие работы. Идет и иерархический рост – игумен, епископ, архиепископ, самый молодой митрополит в русской церкви.

Развиваются и его межцерковные связи. Он управляет рядом зарубежных епархий, возглавляет представительство РПЦ при европейских международных организациях в Брюсселе, участвует во всех встречах Евросоюза с религиозными деятелями Европы. И, наконец, в 2009 году становится председателем отдела внешнецерковных связей РПЦ, своего рода министром иностранных дел церкви. Ранее вплоть до своего избрания патриархом этот пост занимал Кирилл.

Такая стремительная церковная карьера может объясняться многообразными талантами и разносторонней эрудицией молодого иерарха, в чем ему не могли отказать даже недруги, но и поддержкой патриарха Кирилла, с которым Иларион связан многолетними тесными отношениями. Можно предположить, что патриарх видит в умном, обладающим европейскими связями митрополите олицетворение либерально-реформаторского начала, которое надо поддерживать в противовес влиянию консервативных кругов, с которыми также необходимо считаться.

Деятельность Илариона, как богословская, так и дипломатическо-административная вызывает неприязнь этих консервативных кругов. В чем только не обвиняют митрополита его оппоненты – в близости к католицизму и новом экуменизме, в умалении и искажении святоотеческого наследия и снисходительности к древним ересям.

Конечно же, не обходят критики Илариона и тему происхождения митрополита, усматривая в нем едва ли не главную причину его

религиозного вольномыслия. Вот как завершает свою статью «Антицерковные концепции», представляющую собой свод прегрешений митрополита, православный журналист Андрей Рогозянский.

«Конечно же, во Христе нет ни эллина, ни иудея. Однако, когда речь заходит о митрополите Иларионе и подобном ему священноначалии, то здесь стоит отметить эту самую национальность, которая появляется всегда в эпицентре любых церковных, политических и общественных перипетий. Назвать митрополита Илариона братом во Христе – не повернется язык у многих думающих православных.

Настоящая фамилия митрополита – Дашевский (по отцу). Во всей своей деятельности Иларион проявил себя не как православный пастырь, а как политик-дипломат, активнейший сторонник унии с католичеством. То есть в лице этого влиятельного и многоталантливого иерарха, поощряемого самим патриархом Кириллом, мы видим активнейшего двигателя апостасии (отступничества) в православии. И одной из основных причин такой его устремленности можно предположить его еврейское происхождение. Ибо существует множество других примеров такой же «реформаторской» деятельности клириков еврейского происхождения (начиная с отца Меня), так что это примечательное явление не случайно и не может быть просто замолчано под стыдливым предлогом «политкорректности» или из опасения быть обвиненным в так называемом «антисемитизме», оно нуждается в честном откровенном анализе и объяснении».

Вот такие страсти кипят в русской православной церкви...

Вадим Лурье и другие. До сих пор мы говорили о священниках еврейского происхождения, весьма известных как в своих церквах, так и в секулярном мире. И Люстиже, и Меня, и Илариона можно считать христианскими лидерами своего общества. Теперь же речь пойдет о пастырях менее заметных, но не менее ярких и подчас бросающих вызов христианскому истеблишменту.

В 1982 году двадцатилетний студент-химик Ленинградского университета Вадим Лурье принял крещение в православие. Что побудило этого молодого еврея к такому шагу, сказать трудно. Но то, что человек он был незаурядный и склонный к духовным исканиям, подтверждают последующие факты его биографии.

Кроме химфака, он учился на филологическом факультете того же университета, изучал древнегреческий, сирийский, эфиопский и другие древние языки, что было важно для его дальнейшей работы, не имеющей отношения к химии. Он стал патрологом (патрология – учение об отцах церкви), церковным историком, византинистом, философом, автором книг «Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте», «История византийской философии», «Русское православие между Киевом и Москвой», защитил докторскую диссертацию по философии.

Но помимо занятий наукой он ведет богослужебную деятельность, на протяжении многих лет является членом петербургского прихода храма святой Елизаветы (имеется в виду великая княгиня Елизавета Федоровна, канонизированная Русской православной церковью). Здесь он принимает монашеский постриг под именем Григория. А когда настоятеля храма Александра Жаркова трагически убивают (убийцу, как и в случае с Александром Менем, не нашли), становится настоятелем этого храма в сане игумена.

Между тем приход еще при Жаркове переходит под юрисдикцию русской православной церкви за рубежом, которая еще в двадцатые годы прошлого века отделилась от московского патриархата, считая, что он поработен большевистским режимом. Соответственно на территории России возникает катакомбная потаенная церковь, разделяющая позицию зарубежной. Наследницей катакомбной стала полагать себя Российская православная автономная церковь, куда затем переходит приход храма святой Елизаветы во главе со своим настоятелем.

Как видите, в центре всех этих перипетий стоит вопрос о подчиненности церкви мирской власти, весьма болезненный и сейчас, когда речь идет об отношениях московского патриархата с путинским режимом.

Казалось бы, игумен Григорий обретает себя в близкой ему по духу независимой церкви, но тут его подводит пытливость характера и страсть к исследованиям. Он с увлечением занимается историей религиозного движения имяславцев, афонских монахов, утверждавших, что Бог незримо присутствует в божественных именах. Это движение в начале прошлого века было признано русским православием еретическим. Но научная увлеченность

со стороны Григория этим движением дала повод обвинить его в ереси и лишить сана, что в свою очередь привело к расколу среди автономистов.

Два епископа, поддержавших игумена, вместе с ним создали новую религиозную организацию под названием «Архиерейское совещание русской православной автономной церкви», рукоположив Григория в епископы и избрав его председателем.

Другого священника автономной церкви зовут **Михаил Викторович Ардов**. Он сын известного советского писателя-юмориста Виктора Ардова (настоящая фамилия Зигберман) и актрисы Нины Ольшевской, ближайшей подруги Анны Ахматовой, сводный брат знаменитого артиста Алексея Баталова.

Детство и юность его прошли в элитарной литературной среде, в квартире на Ордынке, где часто жила великая русская поэтесса. Окончив факультет журналистики МГУ, Михаил занимался литературной поденщиной и вдруг в почти тридцатилетнем возрасте окрестился и стал дьяконом в церкви на Ордынке. Прослужив в этом храме 13 лет, он был в 1980 году рукоположен в священники и начал службу в сельских приходах Ярославской и Московской областей.

В 1993 году он совершил ту же трансформацию, что и Григорий Лурье – вышел из юрисдикции Московского патриархата и перешел в Русскую зарубежную церковь.

А затем Ардов вслед за митрополитом Валентином Русанцовым, в епархии которого служил, ушел в раскол, стал протоиереем возглавляемой Валентином автономной церкви, являясь настоятелем храма Святых царственных мучеников на Головинском кладбище, что на северо-западе Москвы. Он не оставляет литературной деятельности, написал книжку «Заметки кладбищенского попа» (видите, какая самоирония – назвать себя попом), ряд мемуарных сочинений.

А вот другой сельский поп – **Георгий Михайлович Эдельштейн**. Он родился в семье со смешанными польско-еврейскими корнями и как некоторые другие персонажи нашего рассказа крестился в 20-летнем возрасте, что не помешало ему окончить педагогический институт и стать со временем доцентом и заведующим кафедрой иностранных языков.

С юных лет его томила мечта стать священником, он 23 года добивался рукоположения, обращался к разным архиереям в разных городах, просил принять на любое церковное послушание. В ответ слышал, что нет вакансий, а потом поясняли, что уполномоченный по делам религии никак не велит таких рукополагать, особенно если с высшим образованием. А тут еще и еврей, то есть человек с неспокойным характером.

Лишь в 1979 году, когда Эдельштейну было 47 лет, епископ Курский Хризостом, один из самых либеральных иерархов РПЦ, рискнул рукоположить «неспокойного доцента с подозрительной фамилией». Об этом отец Георгий позднее поведал в своих «Записках сельского священника».

Ему дали глухой сельский приход с полуразрушенным храмом на границе Курской и Белгородской областей, а потом перевели под Кострому, где он до сих пор и служит.

А что касается характера, так он у него и правда беспокойный. Еще будучи мирянином, он участвовал в диссидентском движении, подписывал письмо протеста против подавления властью прав и свобод верующих. Так что немудрено, что ему столько лет отказывали в рукоположении в священники.

Интересно, как в этом религиозном контексте складывалась судьба его сына Юлия Эдельштейна, нынешнего спикера израильского кнессета, а до того занимавшего разные министерские посты в Израиле. Как пишет его отец, Юлий был крещен в православную веру, ходил в церковь, но в 1979 году был арестован отец Дмитрий Дудко, к которому он был близок. Не выдержав кагэбешного нажима, этот священник покаялся по телевидению, что произвело такое ужасное впечатление на Юлия, что он даже, по словам отца, упал в обморок. И после этого обратился в иудаизм, изучил иврит, ходил в синагогу, вскоре был арестован, получил срок и едва не погиб в лагере на лесоповале. В конце концов его отпустили в Израиль, где он сделал политическую карьеру, основав вместе с Щаранским партию «Исраэль ба алия», которая затем вошла в «Ликуд».

Когда он в первый раз избирался в кнессет, его спрашивали – правда ли, что его отец православный священник и еврей ли он. Когда его спросили об этом в пятый раз, он сказал, что готов расстегнуть штаны и доказать свое еврейство.

Как странно распоряжается судьба. Георгий Эдельштейн дружил с Менем, и у обоих этих православных священников еврейского происхождения сыновья – министры. Только у одного израильский, а у другого – российский.

Последний герой нашего рассказа – отец **Александр Геронимус**, священник и богослов. Биография его типична для христианского неофита. Москвич, выпускник мехмата МГУ, кандидат физ-мат наук, он лет до тридцати вел обычную жизнь московского интеллигента. Что побудило его принять крещение и поступить в духовную семинарию, сказать трудно. Видно, был какой-то духовный импульс. Во всяком случае отец Александра Юрий Геронимус (я знал его), ученый-математик был человек безрелигиозный.

В 34 года Александр Геронимус был рукоположен в священники тем же архиепископом Хризостомом, который рукополагал Эдельштейна, и отправился в сельский храм в Белгородской области.

Его богословские интересы (а протоиерей Геронимус был кандидатом богословия) сосредотачивались на проблеме исихазма – христианского мистического мировоззрения, составлявшего основу православного аскетизма. К тому же, будучи математиком и философом, он не отказывался ни от науки, ни от веры, стремясь к оправданию науки в глазах веры и веры в глазах науки.

К сожалению, он рано умер, едва перевалив через 60-летний рубеж.

Почему православие? Мы рассматривали труды и судьбы семерых христианских священников еврейского происхождения. Можно было бы расширить этот круг, рассказать об отце Илье Лимбергере, настоятеле православного храма в Штутгарте, сыне моего старого друга Анатолия Лимбергера, отце Якове Кротове, ведущем передачу «С христианской точки зрения» на радиостанции «Свобода» и о других иереях, в чьих жилах течет еврейская кровь.

Но уже раскрытые биографии позволяют нам сделать некоторые выводы, увидеть общность судеб и характеров этих людей, общность подхода к своему религиозному служению.

Многие из них крестились в достаточно осмысленном зрелом возрасте, а затем обретали себя в священстве. И опять-таки, по-

вторю, почему не в иудаизме, к которому, казалось бы, их должно было толкать происхождение? Но напомним, что в Советском Союзе они жили в безрелигиозной среде и обращение к религии, будучи формой протеста против атеистического диктата, можно было рассматривать как своего рода политический протест. Православие представлялось им наиболее близким, открытым для их восприятия учением, которым пропитана близкая им русская культура.

Иудаизм с его языком и ритуалами был далек от их духовного мира, их интеллектуальных притязаний. Нужно было проделать огромную образовательную работу, чтобы проникнуть в его сущность, понять его глубину. Нельзя забывать еще и то обстоятельство, что христианство имеет свою немалую притягательность, это столетиями разработанное глубокое религиозное учение.

Между тем, придя в православие, наши неофиты сохраняли в себе ощущение протеста, в какой-то мере реализуя его в обретенной религии. А высокий интеллектуальный уровень, которым они, как правило, обладали, заставлял их не просто выполнять свои священнические обязанности, но и заниматься богословием, исследовать истоки веры, писать, проповедовать более глубоко, чем это делали обычные священники.

Посмотрите на иерархов, о которых шла речь выше, что ни священник, то богослов, блестящий проповедник, писатель, диссидент, искатель истины нетрадиционным путем. Таков Мень, таков Лурье, да и Люстиже, бросающий вызов традиционным воззрениям католицизма своим отношением к иудаизму.

Придя в христианство, эти люди вносили в него дух вольномыслия, либерализма, экуменических поисков, что не могло не вызывать сопротивления консервативных кругов. И понятно, что эти охранительные круги, которым изначально присущ антисемитизм, усматривали в позициях христианских неофитов еврейскую угрозу.

Думается, что еврейский национальный характер и в самом деле играл определенную роль в этой ситуации. Но ведь этот национальный характер в свое время породил христианство. Можно понять изумление простодушной прихожанки епископа Луки, узнавшей, что ее Бог еврей.

И в заключение нашего разговора – анекдот. Еврей приходит

к раввину со своей бедой: сын крестился. Раввин его утешает: что поделаешь, у их Бога те же проблемы.

Вот и у нас, евреев, те же проблемы.

Михаил Румер-Зараев – бывший москвич. Ныне живет в Берлине. Член Союза писателей Москвы. Работал в различных газетах и журналах – «Московской правде», «Сельской жизни», «Огоньке», «Веке». Его перу принадлежат несколько художественных и документальных книг. Публикует прозу и публицистику в ряде российских литературных журналов.

Он – член редсовета журнала «Времена».

Семен РЕЗНИК

**ЭТА КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ:
НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ И ЕГО ВРЕМЯ**

От автора

Сто лет назад на планете обитало 2 миллиарда человек, и больше половины из них страдало от недостатка пищи. Сейчас население Земли 7,5 миллиарда, и оно продолжает расти, но никто не говорит об угрозе всеобщего голода. Если где-то возникает такая угроза, то по локальным причинам: из-за стихийных бедствий или военных действий, не позволяющих наладить снабжение. В глобальном масштабе человечество теперь больше страдает от переизбытка, чем от недоедания. И при этом в сельском хозяйстве занята небольшая часть населения – в наиболее развитых странах не больше одного-двух процентов.

Эти поистине чудесные достижения стали возможны благодаря развитию сельскохозяйственной науки.

Сотни и тысячи ученых разных специальностей вносили и вносят в нее крупный вклад, но общепризнанным лидером, центральной фигурой и в значительной мере олицетворением этих достижений является Николай Иванович Вавилов (1887-1943).

В этом году исполняется 130 лет со дня его рождения. Этот юбилей будет широко отмечать научная общественность России и всего мира, и я очень рад, что моя новая книга о Вавилове появится в юбилейном году.

Один из эпиграфов к ней – слова самого Николая Ивановича: «Жизнь коротка, проблем без конца, и стоит забирать всё». Таким было его кредо, его «философия бытия».

50 лет назад, когда я писал мою первую книгу о Вавилове, я, конечно, сознавал, что жизнь его, оборванная в 55 лет, была недолгой. Но когда я начинал работу над ней, мне было 25. То, что я понимал

умом, я не чувствовал сердцем, как чувствую теперь, когда я уже почти на четверть века пережил моего героя. Еще рельефнее вырисовывается передо мной грандиозность того, что он успел сделать за свой насильственно укороченный век.

Великий ученый, отдававший всего себя тому, чтобы «накормить человечество», был заморен голодом в тюремном каземате. Такое невозможно вообразить, но жизнь создает куда более драматичные сюжеты, чем самое буйное воображение.

Вавилов был не только гениальным ученым, отважным путешественником, организатором науки, главой крупнейшей в мире школы биологов-растениеводов; он не только мужественно противостоял мракобесию и пошел на костер за науку. Он был еще совершенно уникальным тружеником. Передать все это в живом художественном повествовании, базирующемся на строго выверенных фактах; показать жизнь и судьбу Вавилова в калейдоскопе исторических событий, во взаимодействии с судьбами и характерами его учителей и учеников, друзей и недругов, – такова задача этой книги.

Предлагаю вниманию читателей главу, посвященную заключительному, самому трагичному этапу жизни Н.И. Вавилова.

ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

Глава из новой книги

1.

Местом эвакуации для Всесоюзного института растениеводства (ВИР) был определен город Красноуфимск на Урале. Туда надлежало вывезти людей, оборудование, коллекции растений.

Семенной материал хранился частью в здании Института, в металлических коробках, которыми были уставлены сотни погонных метров стеллажей, а полевые коллекции – в Пушкине и в Павловске.

Не могло быть и речи о вывозе всех хранившихся в Институте материалов: для этого не было ни рабочей силы, ни транспортных средств. Отобрали сто тысяч образцов, по 20-50 граммов семян каждого образца. Аккуратно, чтобы не повредить, уложили в маленькие, тщательно запечатанные пакетики, затем в двойные ящики – всего пять тонн груза.

Эшелон, к которому был прицеплен вагон с этим грузом, вышел из Ленинграда 26 августа 1941 года и тут же застрял на перегруженных путях. За четверо суток не одолел и 50 километров. 30 августа германские войска захватили узловую железнодорожную станцию Мга. Дальше на восток пути не было, эшелон вернули в Ленинград.

«Более шести месяцев вагон находился на запасных путях или перегонялся с места на место из-за усиленной бомбежки железнодорожных путей». Его пришлось разгрузить и перевезти ящики обратно в здание ВИРа.

Часть образцов сотрудники увезли в Красноуфимск со своими личными вещами: в чемоданах, мешках, рюкзаках. Для этого было отобрано 20 тысяч образцов – по пятьдесят, сто, двести зернышек каждого.

Основная коллекция осталась в осажденном Ленинграде. Ее надо было охранять, сохранять живой, невредимой, чтобы семена не потеряли всхожесть.

«В первые месяцы войны научный сотрудник Абрам Яковлевич Камераз строил под Вырицей оборонительные укрепления. Каждый свободный час он проводил в Павловске. Раздвигал и задвигал шторы, устраивал клубням южноамериканского картофеля искусственную ночь. Европейские сорта собирали в поле уже под сильным артиллерийским огнем. Взрывной волной опрокинуло Камеразу с ног. Поднялся. Продолжал работу»¹.

Надвигалась зима. Образцы картофеля перевезли в Основное здание ВИРа, спрятали в подвале. Камеразу призвали в армию, отправили на фронт. Сохранность коллекции картофеля обеспечивали сотрудники отдела клубнепосевов, О.А. Воскресенская и В.С. Лехнович.

Вадим Степанович жил на улице Некрасова, на работу привык ездить на трамвае, но в блокадном Ленинграде трамваи не ходили. Пешего хода было полтора часа в один конец.

Блокадный паек – 250 граммов хлеба для работающих, 125 для иждивенцев, но и этого иногда не выдавали по несколько дней. Сколько людей погибло от голода в ленинградскую блокаду, известно весьма приблизительно: от 850 тысяч до 1,5 миллиона.

¹ А. Борин. Подвиг 13 ленинградцев. К 125-летию Николая Вавилова // «Новая газета», 23.11. 2012.

Морозы в ту зиму были особенно лютыми. Надо было каждое утро топить в подвале печку, чтобы температура не опускалась ниже двух градусов по Цельсию: картофель гибнет при минусовой температуре. Полтора часа туда, столько же обратно. Через много лет Лехнович рассказывал журналисту А. Борину:

«Ходить было трудно... Да, невыносимо трудно было вставать, руками-ногами двигать... А не съесть коллекцию – трудно не было. Нисколько! Потому что съесть ее было невозможно. Дело всей жизни, дело жизни моих товарищей...» И после паузы: «Пожалуйста, не пишите только о нашем самопожертвовании. Это неправда». – “Как неправда?” – “Вот так, неправда. Наша работа нас спасла”. – “В каком смысле?” – “В самом прямом. В блокаду люди погибали не только от снарядов и голода. От бессмысленности своего существования некоторые тоже, случалось, погибали. Мы это видели. Если же мы выжили, то во многом благодаря нашей работе. Нашему интересу жить”»².

Но не все смогли спастись благодаря интересу жить.

«Из ленинградской группы умерли от голода 41/42 гг.: Родина Лидия Михайловна – ответственный хранитель коллекции овса, младший научный сотрудник отдела зерновых культур, Иванов Дмитрий Сергеевич – ответственный хранитель коллекции риса, заведующий секцией риса отдела крупяных культур, Щукин Александр Гаврилович – ответственный хранитель коллекции арахиса, младший научный сотрудник отдела технических культур, Крейер Георгий Карлович – ответственный хранитель лекарственных растений, заведующий секцией лекарственных растений, кандидат наук, Гейнц Георгий Викторович – ответственный хранитель книжных фондов ВИР, заведующий библиотекой ВИР. Всего умерло этой зимой более 30 вировцев»³.

Под их охраной были тонны, десятки тонн сельскохозяйственных культур. К ним не прикасались.

Спасать коллекции надо было от голодающих людей и от полчищ крыс, нападавших на все съестное. Прогрызть металлические коробки крысы не могли, но они наловчились спихивать их с полок. При ударе об пол крышки отскакивали, семена высыпались...

² А. Борин. Ук. соч. «Новая газета», 2012.

³ И. Лоскутов. Ук. соч.

Чтобы крысы не могли сдвинуть легкие коробки, их приходилось связывать по четыре-пять вместе. Сделать пять-шесть-десять таких связок – пустяк, но счет шел на десятки тысяч... Изможденные голодом научные работники, доктора и кандидаты наук снимали коробки с полок и увязывали, снимали и увязывали... Подымать обратно на полки не было сил... Их штабелями укладывали в проходах, заполнили 28 комнат...

...На Западе были уверены, что вавиловская коллекция погибла.

В журнале «Nature» профессор Дарлингтон написал в 1945 году: «Обезумевшие от голода ленинградцы съели знаменитую коллекцию».

«Когда он после войны посетил наш институт, Николай Родионович [Иванов] поинтересовался, как можно было написать такую ужасную вещь, не убедившись в ее правдивости. Дарлингтон сослался на сообщение по радио, которое он сам слышал. Действительно, трудно понять, что коллекции могли сохраниться, когда люди умирали от голода»⁴.

По осторожной, скорее заниженной оценке международных экспертов стоимость Вавиловской коллекции ресурсов культурной флоры составляет 8 триллионов долларов, причем ее стоимость неуклонно растет.

Когда Вавилов открыл центры происхождения и затем их обследовал в своих экспедиционных походах по пяти континентам, растительность в этих районах была примерно такой, как тысячи лет назад.

Не то теперь. Технический прогресс проник в самые отдаленные и изолированные уголки планеты. Там поднялись многоэтажные жилые дома, промышленные предприятия, пролегли автомобильные трассы. Посевные площади сокращаются, их засевают завозными высокопродуктивными сортами. Многие из форм, которые собирал Вавилов, утрачены, их остается все меньше. Сохраня-

⁴ К.В. Иванова, Р.Х. Макашова. Николай Родионович Иванов // В кн.: Сратники Николая Ивановича Вавилова, СПб., 1994, с. 191-192.

ются они только в коллекции ВИРа, в других подобных коллекциях. Потому нет им цены.

Чтобы предотвратить дальнейшее обеднение, а то и уничтожение генофонда растительных ресурсов планеты, на норвежском острове Шпицберген создано всемирное зернохранилище. Директор ВИРа имени Н.И. Вавилова Николай Иванович ДЗЮБЕНКО:

«Это мировой генный банк, созданный на Шпицбергене в 2008 году по решению ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). По сути это бункер, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте. Это единственное в мире хранилище, которое может выдержать самые мощные земные катаклизмы, типа ядерного взрыва или последствия падения астероида. Собственно, за это его и назвали в шутку Хранилищем Судного дня, или Апокалипсиса»⁵.

В этом крупнейшем зернохранилище мира содержится 850 тысяч образцов семенного материала – дубликаты поступили из 60 генбанков мира. Представлена и коллекция ВИРа: 12 тысяч образцов зерновых и зернобобовых культур. Но это только 3 процента от 325 тысяч образцов. «Наше хранилище – четвертое в мире по количеству собранных образцов»⁶.

При Вавилове оно было первым. За то, чтобы оно таковым оставалось, многие ученики Вавилова в ленинградскую блокаду отдали свои жизни.

Это не называлось самопожертвованием.

«Малое хочется соединять с великим, в этом смысл малого и его интерес и для этого за малое в науке можно отдать жизнь». (Н.И. Вавилов)

«Если бы я умер у нее на службе, что особенного я совершил бы тогда, что сделал бы сверх того, что я просто должен был сделать?» (И.Г. Фихте)

2.

Приговор был окончательный, обжалованию не подлежал...
Но еще оставался шанс – просить о помиловании.

⁵ Интервью Проф. Н.И. Дзюденко газете «Московский комсомолец».

⁶ Там же.

Прошение Н.И. Вавилова в Президиум Верховного Совета датируется тем же числом, что вынесенный ему приговор: 9 июля 1941. Николай Иванович указал также время: 20 часов⁷.

Тогда же, по-видимому, подали прошения Карпеченко, Говоров, Бондаренко, Паншин, Запорожец, судимые и приговоренные к смерти в тот же день...

Окончательного решения своей участи Николай Иванович ожидал уже не на Лубянке – там содержались подследственные, – а в Бутырской тюрьме.

Это была самая большая тюрьма в Москве: пересыльная, следственная, расстрельная – всякая.

С Бутыркой переплетаются судьбоносные повороты российской истории, она сплошь должна быть увешана мемориальными досками.

Тюремный замок был воздвигнут при Екатерине Второй по проекту знаменитого архитектора М.Ф. Казакова – на месте острога, стоявшего здесь с незапамятных времен. В одной из четырех башен Бутырки томился в цепях и отсюда был отправлен на казнь Емельян Пугачев.

Л.Н. Толстой навещал в Бутырке политэка Егора Лазарева (прототип Набатова в романе «Воскресенье»), ознакомился с тюремным бытом, прошел с группой этапников до Николаевского вокзала, чтобы описать все это в романе. В годы кровавого заката империи здесь томились революционеры разных мастей, от эсера Ивана Каляева, убившего великого князя Сергея Александровича, и анархиста Нестора Махно до «железного» Феликса Дзержинского и мимолетной революционерки Екатерины Сахаровой – первой жены Николая Вавилова.

В советские годы население украсилось букетом имен. Тюремный быт описан Варламом Шаламовым, Евгенией Гинзбург, Александром Солженицыным, другими, не столь заметными эками.

В. Шаламов: «В “собачниках” Бутырской тюрьмы стены по-

⁷ Суд палача: Николай Вавилов в застенках НКВД. Биографический очерк. Документы // Составители Я.Г. Рокитянский, Ю.Н. Вавилов, В.А. Гончаров // М., Academia, 1999, С. 517.

крыты зелеными стеклянными плитками, не оставляющими следов карандаша, гвоздя. В тюремной уборной и умывальной стены из желтых плиток – на них тоже нельзя писать. Нельзя писать и в бане – бутырская баня, где каждый стирает свое белье, – превосходная баня. И стены и скамейки покрыты метлахскими плитками. Но дверь, деревянная дверь, обита железом, и это единственный почтовый ящик на всю тюрьму. Надписи коротки: АБЗ-5. Это не название лампы для телевизора. Это – судьба человека. Александр Борисович Зарудный – 5 лет. Тюремная дверь дает ответ на важный, очень важный вопрос. Баня ведь обслуживает и этапный корпус – пересылку, бывшую тюремную церковь, где собираются все получившие приговоры, все осужденные, не успевшие еще уехать».

Такова была Бутырка в первую половину 1937 года, но вряд ли многое изменилось ко второй половине 1941-го. В камеры, рассчитанные на 20-25 человек, напихивали по 60-80 узников. Скудность, духота, вонь. Почти каждый день появлялись новички. Они полны надежд и иллюзий: они не такие, они попали сюда по ошибке, через день-два их выпустят. У осужденных другие иллюзии: они с нетерпением ждут отправки на этап. Шаламов – повторник. Он уже отведал Гулаговского лиха. Он знает, что торопиться некуда: в лагере будет не лучше.

В. Шаламов: «Тюремный быт не изменился с двадцать девятого года. По-прежнему к услугам арестантов была удивительная бутырская библиотека, единственная библиотека Москвы, а может быть, и страны, не испытывавшая всевозможных изъятий, уничтожений и конфискации, которые в сталинское время навеки разрушили книжные фонды сотен тысяч библиотек; от этих изъятий и уничтожения, производившихся посмертно, пахло дымом фашистских костров. Но бутырской тюремной библиотеки это не касалось. <...> По правилам библиотеки полагалась одна книга на десять дней. В камере было шестьдесят – восемьдесят человек. Конечно, в десять дней прочесть восемьдесят книг нельзя. Практически книг было неограниченное количество».

Шаламов пишет о своеобразной тюремной демократии. В каждой камере эки сами выбирали старосту. Формальной власти у старосты не было – она держалась его личным авторитетом. В камере теснятся самые разные люди, все постоянно вместе, нервы на-

пряжены до предела, «и староста должен уметь предупредить конфликты – это штука болезненная, заразная, развивается как цепная реакция».

Староста «должен обеспечить порядок в уборке камеры, в раздаче обеда, покупок в тюремном магазине. Следить, чтобы шум споров, волнений не превысил какого-то условного градуса, уровня, за которым – конфликт с тюремным начальством. <...> Послеобеденное время всегда отводилось на “лекции”. Каждый человек может рассказать для других что-либо интересное всем. Историка, педагогу, ученому – и книги в руки. Но простой слесарь, побывавший на Днепрострое, может рассказать много любопытного, если соберется с мыслями. Вася Жаворонков, веселый машинист из Савеловского депо, рассказывал о паровозах, о своем деле – и это было интересно всем»⁸.

Можно не сомневаться, что лекции Н.И. Вавилова сокамерники слушали, затаив дыхание. В духоту переполненной камеры врвался морозный воздух заснеженных перевалов, жаркое дыхание пустынь, диковины чудесного острова Формоза, аромат абиссинского кофе... Думаю, Вавилов и сам увлекался своими рассказами, на миг-другой снова становился «человеком глобуса»... Тем тяжелее было возвращаться к смраду тюремной параша, загустевшего пота замурованных тел, к мертвящему дыханию расстрельного приговора...

3.

Прошением о помиловании Николай Иванович отсрочил окончательное утверждение приговора. Но недолгой была та отсрочка.

Казалось бы – идет БОЛЬШАЯ ВОЙНА. Танковые колонны противника стремительно продвигаются вглубь страны, германские самолеты бомбят города, мосты, железнодорожные станции... Надо эвакуировать людей, вывозить технику, скот, зерно, учреждения. Проводить мобилизацию, обучать новобранцев, формировать воинские части, переводить промышленность на военные рельсы...

*Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой
С фашистской силой темною, с проклятою ордой.*

⁸ <http://shalamov.ru/library/16/19.html>

В президиуме Верховного Совета члены политбюро, другие высшие чины государства. У каждого из них невпроворот дел – срочных, важнейших, от них зависит ход войны, жизнь тысяч и тысяч людей, судьба государства. А приговоренные к высшей мере сидят за решеткой, никуда не денутся – с их ходатайствами о помиловании можно и подождать.

Ан, нет! Для власти Советов внутренний враг всегда был опаснее внешнего. Прощение Вавилова Николая Ивановича рассмотрено в кратчайшие сроки. Решение принято 26 июля.

«Ходатайство о помиловании Вавилова Н.И. **отклонить**»⁹.

В книге Ю.Н. Вавилова «В долгом поиске» приведена фотокопия сверхсекретной справки, в которой, в алфавитном порядке, перечислены члены Президиума Верховного Совета, проголосовавших за это **отклонение**: Бадаев А.Е., Буденный С.М., Горкин А.Ф., Каганович Л.М., Калинин М.И., Маленков Г.М., Москатов И.Г., Николаева К.И., Сталин И.В., Шкирятов М.Ф.

Некоторые из них проголосовали по телефону, но Сталин, Калинин, Маленков, Шкирятов присутствовали и голосовали лично. Более важных забот через месяц после начала гитлеровского нашествия у них не было.

Видимо, в тот же день были утверждены приговоры Карпеченко, Говорову, Паншину, Запорожцу, Бондаренко... В следующие два дня, 27 и 28 июля, на знаменитом полигоне «Коммунарка», были расстреляны Александр Степанович Бондаренко, Антон Кузьмич Запорожец, Георгий Дмитриевич Карпеченко, Леонид Ипатьевич Говоров. Вероятно, и Паншин – о нем точных сведений не имею.

Такая же участь ожидала Н.И. Вавилова...

Его не расстреляли ни 27-го, ни 28-го, ни в следующие дни...

Надеяться было не на что... Каждый день мог стать последним...

На шестой день его вдруг вызвали из камеры.

На расстрел?..

Непохоже: на расстрел вызывали не так.

Куда? Зачем? К кому?..

⁹ Суд палача, С. 516-517.

Его привели к уполномоченному наркома внутренних дел Л.П. Берии: тот приехал в Бутырку для встречи с Н.И. Вавиловым. Уполномоченный Берии – так он представился. Точное его имя неизвестно – предположительное назовем ниже. Он сказал, что нарком Берия от себя возбудил ходатайство о помиловании Вавилова, ему будет дарована жизнь, он будет работать по специальности...

Эту благую весть (первая добрая весть со дня ареста!) Николай Иванович получил 1 августа. 8-м августа датировано его Заявление на имя Берии. Написано в Бутырской тюрьме, камера № 49. Из него мы и знаем о содержании разговора с уполномоченным.

Вавилов сообщал, что хотел бы «сосредоточить работу на задачах, наиболее актуальных для данного времени, по моей специальности – растениеводству»:

«1) Я бы мог закончить в течение полугода составление “Практического руководства для выведения сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям”.

2) В течение 6-8 месяцев я мог бы закончить при напряженной работе составление “Практического руководства по селекции хлебных злаков применительно к условиям различных районов СССР”.

[3] Мне также близка область субтропического растениеводства, включая культуры оборонного значения, как тунговое дерево, хинное дерево и др., а так же растения, богатые витаминами»¹⁰.

Об этом он, видимо, говорил *уполномоченному*; ему предложили изложить то же самое письменно, чтобы у Берии была под рукой *шпаргалка*.

Значит, формальная отмена *высшей меры* – вопрос дней!

Но... Заявление ушло – в пустоту!

Проходили дни, недели, месяцы...

4 октября его вдруг перевозят на Лубянку, а 5-го вторично вызывают к уполномоченному. Тому надо знать, что академик Вавилов думает о войне – уж не сочувствует ли врагам отечества?.. А как он относится к фашизму?.. Что может сделать полезного для победы?..

Уполномоченный удаляется, узника возвращают в камеру. Про-

¹⁰ Суд палача, С. 518.

ходит еще десять томительных дней. Его в третий раз вызывают к уполномоченному. Теперь разговор вполне конкретный:

«Мне было заявлено 15-го октября, что мне будет представлена полная возможность научной работы как академику и что это будет выяснено окончательно в течение 2-3 дней»¹¹.

Благая весть подтверждена! Леденящее дыхание смерти отступило... Впереди любимая работа. Пусть за колючей проволокой, с часовыми на вышках; пусть общая камера вроде бутырской; пусть он долго еще не увидит близких. Но он – будет работать!! Это – как заново родиться, как заново жить!!

4.

Через три часа тюрьму подняли по тревоге.

Сборы с вещами были недолги. Узников вывели, выстроили, воронков не хватало, но подали машины с грузовыми фургонами.

В ту ночь, как оказалось, вывозили не только узников Лубянки, но всех московских тюрем: Бутырской, Лефортовской, Таганской...

Наутро в Москве началась паника.

... Десятилетиями информация о том черном октябрьском дне 1941 года скрывалась, пряталась, подавлялась, охранялась как строжайшая государственная тайна. Кое-что стало известно в постсоветские времена.

С утра оказалось, что станции метро закрыты, троллейбусы не ходят, предприятия не работают, большинство магазинов закрыто, улицы запружены автомобилями, набитыми скарбом: то удирало начальство разных уровней. Оно раньше рядовых граждан узнало о внезапном решении ГКО (Государственного комитета обороны) «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы».

Правительству, генеральному штабу, военным академиям, наркоматам, заводам и фабрикам, иностранным посольствам надлежало немедленно улепетывать из столицы. Мосты, станции и линии метро, предприятия, которые нельзя было вывезти, было велено за-

¹¹ Суд палача, С. 520.

минировать, рабочим и служащим выдать зарплату за месяц вперед и по пуду муки или зерна.

«В эти дни, по неполным данным Военной прокуратуры Москвы, оставили свои рабочие места около 780 руководящих работников; ими было похищено почти полтора миллиарда рублей, угнано сто легковых и грузовых автомобилей»¹².

Андрей Кудряшов, автор строго документированной работы «Паника в Москве», с негодованием пишет о руководителях предприятий, побросавших свои рабочие места и спешно сжигавших партбилеты. Но рыба тухнет с головы. Кудряшов приводит докладную записку о том, что в здании ЦК партии не осталось «ни одного работника ЦК ВКП (б), который мог бы привести всё помещение в порядок и сжечь имеющуюся секретную переписку». «Всё хозяйство оставлено без всякого присмотра. Оставлено больше сотни пишущих машинок разных систем, 128 пар валенок, тулупы, 22 мешка с обувью и носильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, несколько бочек сельдей, мяса и других продуктов. В кабинетах аппарата ЦК царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы взломаны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе и секретная, директивы ЦК ВКП (б) и другие документы. Вынесенный совершенно секретный материал в котельную для сжигания оставлен кучами, не сожжён. В кабинете товарища Жданова обнаружены пять совершенно секретных пакетов...»¹³

В такой обстановке невольно запаникуешь.

«Застава Ильича. Отсюда начинается шоссе Энтузиастов. По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся к шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривают их по земле. Раздаются возгласы: “Бей евреев!” Вот появилась очередная автомашина. В кузове, на пачках документов, сидит сухощавый старик, рядом красивая девушка. Старика вытаскивают из кузова, бьют по лицу, оно в крови. Де-

¹² Андрей Кудряшов. Паника в Москве // <http://www.specnaz.ru/article/?1965>

¹³ Там же.

вушка заслоняет старика. Кричит, что он не еврей, что они везут документы...»¹⁴.

А вот свидетельство тогдашнего десятиклассника (впоследствии художника) Льва Ларского:

«Атакующие лезли друг на друга, врывались в кузова и выбрасывали оттуда оборонявшихся как мешки с картошкой. Но только захватчики успевали усесться, только машины пытались тронуться, как на них снова бросалась следующая волна... Ей-богу, попав впоследствии на фронт, я такого отчаянного массового героизма не наблюдал...»¹⁵

Из публикаций о «черном октябре» 1941 года явствует, что ГКО во главе с товарищем Сталиным, а за ним и вся вертикаль власти, оставили Москву, всех ее обитателей и всё, что в ней находилось, на произвол судьбы. Это не совсем верное впечатление. Не всё и не всех власти предоставили самим себе. О ком они заблаговременно позаботились, так это об узниках тюрем. Внутренний враг ни при каких обстоятельствах не должен был достаться внешнему врагу!

5.

Об эвакуации по железным дорогам дает представление короткая запись в дневнике Сергея Ивановича Вавилова от 9 августа 1941 года. Он был эвакуирован из Ленинграда вместе с ГОИ (Государственным оптическим институтом). Ехал «по-барски, в академическом эшелоне, в мягком вагоне». Вот что он записал:

«Десять дней волочения из Северной Пальмиры в вонючую грязную Казань. Через Ярославль, Рыбинск, Муром. Сначала ж.д. пути, усеянные немецкими злыми и систематическими воронками, кой-где разбитыми составами, затем грязные, забитые поездами станции вроде Мурома, где стояли 1 ½ суток, погрязая в помойной яме не чистящихся путей и собственного навоза. <...> В пути ис-

¹⁴ Андрей Кудряшов. Паника в Москве // <http://www.specnaz.ru/article/?1965>

¹⁵ Цит. по: Леонид Млечин. Черный октябрь // <http://www.novayagazeta.ru/society/48918.html>

полнилась годовщина исчезновения Николая. О войне ничего толком не знаем. Завтра собираюсь в Йошкар-Олу. До чего еще убога Россия!»¹⁶

Остается довообразить, как эвакуировали его брата – не в мягком вагоне, а в товарняке, набитом до отказа зэками, на военно-тюремном пайке, при полной неизвестности, куда и как долго их будут везти.

Если Николаю Ивановичу удалось протиснуться к зарешеченному окошку под потолком закупленного вагона, он мог понять, что поезд идет по той самой дороге, по которой он, с выводком учениц, в таких же теплушках двигался 20 лет назад в противоположном направлении, с Востока на Запад...

В Саратов потом ездил бесчисленное число раз – дорога занимала сутки.

В вагоне он сразу же раскрывал портфель, вынимал стопку книг, журналов, рукописи. Либо доделывал свою незаконченную статью, либо редактировал чьи-то статьи, либо просматривал библиотечные новинки, чтобы не отставать, всегда быть «на уровне глобуса». Сутки пробегали незаметно.

Теперь его везли под конвоем, в товарняке, набитом такими же бедолагами...

Путь длился две недели. Поезд больше стоял на заброшенных полустанках. Двери задраены, люди задыхаются, обливаются потом, должны соблюдать полную тишину. Снаружи на вагонах крупные надписи: СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ. Никто не должен догадываться, что спрятано под этим таинственным словом.

Годом раньше, в июле 1940-го, тем же «крутым маршрутом» проследовала Евгения Гинзбург. Правда, ее путь был более дальний, длился больше месяца. О том, как зэки страдали от скученности и жажды, поведано в ее «Крутом маршруте». Выдавали по одной кружке воды в день – не только для питья, но и на все прочие нужды: умыться, вымыть ложку... Горячей пищи не полагалось; сухой

¹⁶ Вавилов С.И. Дневники, 1909-1951 // «Научное наследство», т. 35, Книга 2, М., «Наука», 2012, С. 126

паяк выдавался заранее на все дни пути, хотя никто не знал, как долго он продлится...

В октябре жара не так мучила как в июле, но скученность и духота были невыносимы.

...Поезд прибыл в Саратов 29 октября.

По воспоминаниям надзирателя тюрьмы В.П. Игнатьева, «когда пригнали этап, мы его не в камерах, а во дворе разместили, там где обычно заключенных выгуливали. Женщин и мужчин – всех вместе. Ведь тогда из Москвы и рецидив, и политических – всех выгребали. Под открытым небом держали несколько суток. Вавилова запомнил сразу... Стоял как-то в стороне ото всех. Хоть и обросший был, одежда потрепанная, башмаки рваные, а все-таки ото всех сразу своей интеллигентностью выделялся.

...Держали суток трое, не меньше. Хорошо еще дождя не было. Но ужасно холодно. Осень. Грязи и сырости без дождя хватало, а на третий день снег пошел... Но во дворе это еще рай был. Когда начали заталкивать в камеры, вот тут-то началось... Запихивал толчком, как в трамвай переполненный, лишь бы двери закрыть. Потому что в камеру, предположим одиночку, заталкивали по десять-двенадцать человек»¹⁷.

Трудно поверить, что в массе прибывавших ээков надзиратель Игнатьев выделил и запомнил Н.И. Вавилова. Но обстановка, дуваю, им обрисована верно.

Как Николай Иванович переносил эти тяготы? Надо думать, что при его физической выносливости, закалке путешественника и немалом уже тюремном опыте ему было легче, чем многим другим узникам.

6.

Удар пришел оттуда, откуда он не ждал. Казалось бы, ко всему был готов, но этого не ожидал. В бумагах, прибывших с ним в саратовскую тюрьму № 1, не было никакого следа того, о чем с ним трижды беседовал уполномоченный. Ни ходатайства наркома Бе-

¹⁷ Цит. по: Рокитянский. Я.Г. Голгофа Николая Вавилова // Суд палача, С. 102, со ссылкой на: Амосин А. «Волга», 1991, № 2, С. 145.

рии о помиловании, ни решения по этому ходатайству, ни намерения использовать его по специальности...

«ВАВИЛОВ осужден Военной Коллегией Верховного Суда к ВМН, более никаких данных не имеется. Следствие вела по его делу следственная часть Г.Э.У. НКВД СССР. По прибытию в Саратовскую тюрьму з/к ВАВИЛОВ был заключен в камеру для приговоренных к ВМН, где и находится до настоящего времени»¹⁸.

Такова Справка начальника тюрьмы младшего лейтенанта госбезопасности Кунина. Даты нет. По-видимому, она была приложена ко второму заявлению Н.И. Вавилова на имя Берии – от 25 апреля 1942 года. Имя Кунина больше нигде не встречается: в последующих документах начальник тюрьмы – старший лейтенант госбезопасности Ирашин. Есть в Справке Кунина еще одна очень важная строка – для Вавилова судьбоносная:

«На запрос в 1-й Спецотдел НКВД СССР последний ничего не ответил».

Когда был направлен запрос? Почему на него не ответили?

Об этом можно узнать из другой Справки – помощника начальника 1-го спецотдела НКВД Подобедова:

«Приговор исполнением приостановлен. ВАВИЛОВ Н.И. зачислен за 4-м Управлением НКВД СССР тов. Судоплатовым».

Вот как! Запрос из Саратова был послан в 1-й спецотдел, но там никаких данных о заключенном Вавиллове не имелось, ибо он числился за 4-м Управлением.

Запрос был оставлен без ответа, а Вавилов *оставлен* в камере смертников.

М.А. Поповский: «Вавилов попал в корпус номер три, где содержали наиболее крупных общественных и политических деятелей. В 1941-42 годах в третьем корпусе сидели: вождь венгерской революции Бела Кун, редактор “Известий” Ю.И. Стеклов, один из старейших коммунистов, основатель и первый директор Института Маркса-Энгельса академик Д.Б. Рязанов, философ и литературовед,

¹⁸ Суд палача, С. 521. Стиль и знаки препинания сохранены.

директор Института мировой литературы академик И.К. Луппол, писатель Михаил Левидов и много других коммунистов и некоммунистов такого же ранга»¹⁹.

Откуда эти сведения? А ниоткуда. Еще одна сказка Шахерезады.

О том, что Ю.И. Стеклов был расстрелян в сентябре 1941 года в Орле и никогда не был в Саратовской тюрьме, мы упоминали. Бела Кун в Саратове тоже никогда не был, его расстреляли в Москве 29 августа 1938 года. Д.Б. Рязанов, впервые арестованный в 1931 году, был сослан в Саратов, там был в 1937 арестован вторично и расстрелян в январе 1938 года. Писатель Левидов, известный в основном книгой о Джонатане Свифте, был арестован в июне 1941 года, расстрелян 5 мая 1942-го; сведений о месте его гибели я не нашел. Только академик Луппол действительно был в Саратове, в той же камере смертников, что и Вавилов.

Иван Капитонович Луппол был моложе Вавилова на одиннадцать лет. У него была боевая биография. Сражался против Колчака на Востоке, против поляков на Западе, бил беляков на Кавказе. Политработник Красной Армии, член партии с 1920 года. Окончил МГУ, потом Институт красной профессуры. Работал в Институте Маркса и Энгельса, в журнале «Революция и культура», в других изданиях. Вскрывал идеализм и реакционную сущность высланных философов: Бердяева, Лосского, Франка. Написал «правильную», то есть марксистскую, биографию Дени Дидро. В его активе была также книга «Ленин и философия». В философских дискуссиях 20-х годов был «диалектиком», то есть вместе с М.А. Дебориным громил «механицистов» и вместе с ним попал в «меньшевиствующие идеалисты». Как ни странно, для Луппола это не имело последствий: в 1933 году он стал членкором, в 39-м – академиком. А в феврале 1941-го был арестован и доставлен на Лубянку.

То ли его следователь был круче А.Г. Хвата, который вел дело Вавилова, то ли Луппол был слабее Николая Ивановича, но дело его провернули сравнительно быстро. Судила та же Военная Коллегия Верховного Суда – днем раньше Вавилова. Приговор – высшая мера. Исполнение приостановлено.

¹⁹ М.А. Поповский. Дело академика Вавилова // 1983, С. 201-202.

Что же известно о пребывании Н.И. Вавилова и И.К. Луппола в камере смертников Саратовской тюрьмы № 1?

К сожалению, меньше, чем неразгаданных загадок²⁰.

Тюремная пайка, и раньше обрекавшая узников на полуголодное существование, в войну была настолько урезана, что не давала возможности выжить. (В. Шаламов только в тюрьме узнал, что пайка – слово женского рода!) От голодной смерти спасал тюремный ларек и продуктовые посылки из дома. Но смертники были лишены ларька, переписки, посылок... Рацион питания обрекал на истощение, цингу, медленное умирание. Приговор к высшей мере приводился в исполнение, хотя и не выстрелом в затылок...

7.

Но ведь Вавилону обещано сохранение жизни! Сам Берия ходатайствовал о пересмотре приговора! Почему же в бумагах, пришедших в Саратов, никакого следа о том не было?

О ходатайстве Берии известно из двух заявлений Н.И. Вавилова на его имя: от 8 августа 1941 года и от 25 апреля 1942-го. В том его трижды заверял уполномоченный Берии.

Но ходатайства Берии не обнаружено. Не исключаю, что у него было такое намерение, но, осторожно прощупав ХОЗЯИНА, он понял, что с этим лучше не возникать. Или просто забыл о благом намерении, а уполномоченный забыл напомнить.

Забот-то у обоих было выше головы.

Вместе с решением ГКО об эвакуации Москвы НКВД получил сверхсекретное задание: заминировать в столице стратегические объекты, чтобы в случае чего их взорвать. П.А. Судоплатов вспоминал:

«На тот случай, если немцам удастся захватить город, наша бригада заминировала в Москве ряд зданий, где могли бы прово-

²⁰ М.А. Поповский приводит свидетельство еще одного узника камеры смертников, И.Ф. Филатова, который умер в 1944 году, но перед смертью сообщил много подробностей некоему Г. Лозовскому, а тот более 20 лет спустя пересказал их М. Поповскому.

В этом двойном пересказе слишком много нелепостей, мы на нем не останавливаемся.

даться совещания высшего немецкого командования, а также важные сооружения как в столице, так и вокруг нее. Мы заминировали несколько правительственных дач под Москвой (среди них, правда, не было дачи Сталина). С нашим молодым сотрудником Игорем Щорсом, поступившим на службу в НКВД в 1940 году, Маклярский и я провели инструктаж, снабдили его документами и устроили на работу главным инженером водного хозяйства в пригороде Москвы, недалеко от сталинской дачи. В случае занятия этого района немцами ему надлежало использовать системы водопровода и канализации для диверсий и укрытия агентов. В результате бомбардировок часть водопроводных труб оказалась поврежденной, и это мешало нормальной подаче воды на дачу Сталина. Щорс руководил ремонтными работами, которые вели сотрудники охраны, аварию удалось быстро ликвидировать за три часа. Его наградили орденом «Знак Почета», но получить эту награду он не смог, так как она была присвоена человеку, чьи документы Щорс использовал для устройства на работу, а в то время нельзя было раскрыть его настоящее имя»²¹.

Хотя имя уполномоченного нигде не названо, но, по предположению В.А. Гончарова, это был Судоплатов. Пробыть «Знак почета» для секретного сотрудника, чье имя нельзя называть, ему было важнее, чем судьба всемирно известного академика.

Второе заявление Н.И. Вавилова на имя Берии было послано через восемь с половиной месяцев после первого. Из канцелярии наркома НКВД оно было переслано в Первый спецотдел, и возвращено со справкой: Вавилов Н.И. находится не под их опекой: он «зачислен за 4-м Управлением НКВД СССР тов. Судоплатовым»²². Когда об этом было доложено Берии, он начертал: «Тов. Меркулов переговорите со мной». Резолюция замнаркома Меркулова: «Тов. Судоплатов доложите т. Берия. Переговорите со мной».

Красноречивы даты резолюций на Заявлении Н.И. Вавилова от

²¹ См. П.А. Судоплатов. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы // М., 1997. http://militera.lib.ru/memo/russian/sudoplatov_pa/index.html

²² «Суд палача», С. 552.

25 апреля. Справка пом. начальника 1-го спецотдела Подобедова – 19 мая. Переслана в секретариат наркома 21 мая. Резолюция Берии – 31 мая. Меркулова – 9 июня. Никакой срочности – обычная бюрократическая волокита.

13 июня направлена бумага В.В. Ульриху – председателю военной коллегии Верховного суда: «В виду того, что осужденные [Луппол и Вавилов] могут быть использованы на работах, имеющих серьезное оборонное значение, НКВД СССР ходатайствует о замене им высшей меры наказания заключением в исправительно-трудовые лагеря НКВД сроком на 20 лет каждого». Подписал замнаркома Меркулов, исполнитель (так значится!): начальник 1-го спецотдела НКВД А.Я. Герцовский²³.

23 июня Президиум Верховного Совета постановил: академикам Вавилову и Лупполу заменить ВМН на 20 лет лишения свободы...

Тут новый виток вопросов, на которые нет ответа.

Ведь уполномоченный (скорее всего Судоплатов) почти годом раньше говорил Вавилову, что ходатайство о его помиловании возбуждено Берией и не сегодня-завтра будет официально утверждено. Почему же потребовалось новое ходатайство, и оно подписано не Берией, а его заместителем Меркуловым?

Если первого ходатайства не было, то уполномоченный, трижды приехавший в тюрьму беседовать с Вавиловым, ему врал. Тогда – с какой целью?

На ум приходят разные соображения, выскажу то, которое мне кажется хотя и не очень вероятным, но все же более правдоподобным, чем другие.

П.А. Судоплатов еще до войны и особенно после ее начала был занят созданием разведывательной сети в Германии и других странах, и ему остро не хватало «квалифицированных кадров». В своих мемуарах он уверял и, конечно, ставил себе в заслугу, что под этим соусом ему удалось, с согласия Берии, вытащить из тюрем и лагерей некоторых вычищенных чекистов. Но людей все равно не хватало. Познакомившись с делом Н.И. Вавилова, он должен был обратить внимание на его обширные международные связи, многочислен-

²³ «Суд палача», С. 523.

ные зарубежные поездки, знание иностранных языков. Потому и потребовал, чтобы политзэка, числившегося, как и было положено, за Первым спецотделом, передали в ведение его Четвертого управления. Приходил с ним беседовать, чтобы прощупать на предмет его пригодности для агентурных спецзаданий. Мнимое ходатайство Берии о помиловании было предлогом для этих прощупывающих бесед. Убедившись в непригодности академика Вавилова к шпионской работе, он потерял к нему интерес и забыл о нем. Если так, то ходатайство Берии об отмене ВМН было выдумкой Судоплатова.

Но вот решение об отмене ВМН действительно принято и направлено в Саратов. Есть расписка Вавилова в том, что ему об этом объявлено. Датирована 4 июля 1942 года.

Итак, 20 лет лагерей... Страшно подумать... Но – все познается в сравнении. Для двух смертников то была истинно благая весть!

Луппола перевели в общую камеру, затем отправили в Мордовский лагерь. Там он скончался 26 мая 1943 года...

О том, что Вавилова тоже перевели из камеры смертников, косвенно свидетельствовал академик П.К. Ощепков (1908-1992).

Ощепкова – специалиста по радиотехнике и радиолокации – первый раз арестовали в 1937 году, приговорили к пяти годам лагерей за «троцкизм». В декабре 1939 года освободили, но 1 июля 1941-го взяли вторично – «за принадлежность к антисоветской организации». Снова пять лет.

В Саратовской тюрьме «судьба свела “неблагонадежного” изобретателя с ученым-биологом, академиком Николаем Ивановичем Вавиловым. Даже там, в тюрьме, они вели беседы о круговороте энергии в природе, рассуждали о возможностях управления этим процессом»²⁴.

Приговор Ощепкова был «детским», в камеру смертников его посадить не могли, значит, и Вавилов уже не был в камере смертников.

В Саратовской тюрьме Ощепков получил письмо от академика А.Ф. Иоффе:

²⁴ Василий Голотюк. Он работал на «оборонку» даже в «шарашке» // Военно-промышленный курьер, 2008, 9 июля. № 27 (243).

«Сейчас, как и тогда, я уверен в Вашей невинности и сделаю все, что в моих силах, чтобы это доказать».

Доказать Иоффе ничего не смог, но Ощепкова вскоре перевели в Свердловскую «спецлабораторию», то есть в шарагу.

8.

Но если Вавилова после отмены высшей меры перевели в обычную камеру, то стали выводить на прогулки. Обеспечили мылом (в камере смертников он был лишен мыла). Лечили от цинги (он был болен цингой). Расширили доступ к библиотеке (в камере смертников доступ был ограничен). А самое главное: он мог теперь написать близким, сообщить где находится, получать письма, посылки, какие-то деньги для тюремного ларька!.. Пусть немного, совсем чуть-чуть, ибо пользование ларьком было строго лимитировано. Но все же, все же, все же... От этого чуть-чуть снова зависела – ЖИЗНЬ.

Но...

Он умирал еще полгода. Близкие ни одного письма от него не получили.

Елена Ивановна обивала пороги НКВД и других учреждений, молила влиятельных, как ей казалось, ученых замолвить словечко. Ее принимали по-разному: с состраданием и сочувствием, с грубой жестокостью, с испугом. Никто помочь не мог... Она пыталась выяснить его местонахождение – безуспешно. Она посылала продуктовые посылки в НКВД в надежде, что они будут пересылаться по назначению – все они бесследно исчезали в кошечьем зазеркалье.

Какие-то сведения до нее все же доходили. В основном ложные.

С.И. Вавилов записал в дневнике 13 октября 1941-го (за два дня до этапирования Николая Ивановича в Саратов): «Сегодня узнал из письма Е.Н. о печальной и мрачной участи Николая. Страшно и грустно безгранично». Похожая запись 9 декабря: «Опять письмо от Елены Ивановны со страшными подробностями о Николае. <...> Сделать ничего нельзя, и так бессмысленно дико и обидно до последнего атома»²⁵.

²⁵ С.И. Вавилов. Дневники, кн. 2. С. 132, 136.

Дмитрий Николаевич Прянишников считал, что что-то сделать можно.

Он добился приема у Берии. Помогло то, что жена Берии была его аспиранткой. Прянишников объяснил, кто такой Вавилов, обрисовал его вклад в науку и практику, просил разобраться в его деле. Берия выложил перед ним протоколы «признательных» показаний Николая Ивановича. Прянишников читал и все больше мрачнел. Твердо сказал:

– Не верю! Не поверю до тех пор, пока он сам мне этого не скажет.

Из Алма-Аты, куда была эвакуирована кафедра Прянишникова, он телеграммой выдвинул Н.И. Вавилова на Сталинскую премию, подчеркнув огромную практическую пользу собранной им мировой коллекции. Акт отчаяния и безоглядного мужества. В списке кандидатов на премию имя Вавилова, конечно, не появилось.

9.

...Заболел Николай Иванович 19 января 1943-го. Только 24-го, к концу дня, к нему пришла фельдшерица. Измерила температуру – 39,6 С⁰. Хрипы в легких указывали на крупозное воспаление. В записке начальнику тюрьмы Ирашину она предложила госпитализацию. Проставила время: *17 часов*.

Вечером Николая Ивановича доставили в тюремную больницу. Состояние определили как тяжелое.

25-го у постели сошлись старший санинспектор Турецкий, начальник санчасти Тверитин, врач Тальянker. Консилиум почему-то возглавлял начальник тюрьмы Ирашин. (Может быть, врачи были зэками, потому требовался надсмотрщик??)

Температура теперь была невысокой, 37,3⁰С. Больной жаловался на общую слабость. *Осмотром установлено: истощение, кожные покровы бледные, отеки на ногах. Диагноз: Дистрофия, отечная болезнь.*

В истории болезни, подписанной врачом Степановой, подробнее: «Жалобы больного: жар, боли в груди, кашель, одышка, понос три раза в день, плохой аппетит, сильная слабость. Болел 7 дней. Объективные признаки болезни – язык обложен, живот мягкий, со-

стояние тяжелое, больной ослаблен, истощен, кожа бледная. В легких справа в нижней доле дыхание с бронхиальным оттенком, тоны сердца глухие. В прошлом болел малярией».

Поставили банки, дали таблетки, назначили 2-й стол (??), молоко.

Было поздно...

26 января 1943 года, в 7 часов утра, Николай Иванович Вавилов скончался.

30 января был составлен акт судебно-медицинской экспертизы. Его почему-то оказалось недостаточно: **5-м февраля** датировано «Заключение» о смерти Н.И. Вавилова.

В обоих документах в пункте первом причиной смерти названа пневмония. О дистрофии и истощении не упомянуто. Оба документа подписаны одним и тем же лицом, но в первом случае это Судебно-медицинский эксперт Резаева, а во втором Старший судебно-медицинский эксперт Резаева. Уж не получила ли она повышение за политически правильное заключение о смерти Вавилова.

Горькой насмешкой в обоих документах выглядит второй пункт: «Смерть ненасильственная»²⁶.

P.S. Книга готовится к печати в Москве, в издательстве «Захаров».

Издательство объявило предварительную подписку по сниженной цене. Подробнее о подписке можно узнать здесь: <https://planeta.ru/campaigns/vavilov>

Надеюсь, что книга появится в книжных магазинах многих городов – не только России, но и русского зарубежья.

Заказы можно будет направлять и автору: s.reznik2005@gmail.com

²⁶ Документы о последней болезни и смерти Н.И. Вавилова получены Ф.Х. Бахтеевым в 1967 году в архиве Саратовской тюрьмы. Фотокопии тогда же были переданы автору. Первая публикация: С. Резник. Дорога на эшафот, 1983, С. 119-127.

Семен Резник (1938, Москва) – писатель, историк, журналист. С 1982 года живет в США. Работал в редакциях серии «Жизнь замечательных людей», журнала «Природа», журнала «Америка», русской службы «Голоса Америки».

Автор 18 книг. В их числе научно-художественные биографии Н.И. Вавилова, И.И. Мечникова, В.О. Ковалевского, В.В. Парина, Г.С. Зайцева, исторические романы «Хаим-да-Марья», «Кровавая карусель», историко-документальные повествования: «Красное и коричневое», «Раствление ненавистью», «Вместе или врозь?», «Выбранные места из переписки с друзьями».

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

ВОИТЕЛЬ ЗА ПРАВДУ

Памяти моего отца

В ноябре 2017 года исполняется 125 лет со дня рождения академика-почвоведов Ивана Владимировича Тюрина – ученого с мировым именем. Судьба определила его заниматься краеугольным камнем почвоведения, да, пожалуй, и всего естествознания – учением о гумусе – связующем звене между живым и неживым. Он предложил методы познания этого уникального природного объекта. Как сказал лауреат Нобелевской премии академик Л.Д. Ландау, “метод важнее открытия, ибо правильный метод исследования приводит к новым, еще более ценным открытиям”. А само познание гумуса продолжается и до сегодняшнего дня. Оно, как и жизнь, бесконечно ...

День рождения отца мы праздновали 2 ноября. И всегда готовили пельмени. По его собственному рецепту. Он и лепил их сам, уютно устроившись у большого обеденного стола, на котором мать раскатывала тесто. В нашей семье эта традиция сохранилась до сей поры. Я любила ему помогать, и мне нравилось у него учиться. Когда он рисовал, я пристраивалась рядом, и он тогда привез мне из Чехословакии акварельные краски. Когда я захотела фотографировать, он отдал мне свой «Кодак». Потом подарил мне вечное перо. Мы вместе лепили пельмени и вместе расписывали к Пасхе яйца. После пятого класса, вместо «практики» на пришкольном участке, я месяц проработала на его опытной станции в Снегирях.

Официальная биография повествует, что И.В. Тюрин родился 21 октября 1892 года (по старому стилю) в деревне Верхние Юшады Мензелинского уезда Уфимской губернии. Это не совсем верно. В Верхних Юшадах его крестили, поскольку там была ближайшая церковь, а появился он на свет пятым, предпоследним ребенком Влади-

мира Ивановича и Анастасии Васильевны Тюриных, в доме своих родителей, одиноко стоявшем посреди арендуемого ими земельного надела в 217 десятин недалеко от маленького селения Нижний Тимерган. К концу XIX века из-за истощения почв и сильного падения цен на зерно хозяйство пришло в упадок, и от аренды пришлось отказаться.

В 1899 году семья переехала в Мензелинск, где Владимир Иванович приписался к мещанскому обществу города и получил в пользование мещанский земельный надел. После его скоропостижной кончины в 1901 году на руках у Анастасии Васильевны осталось четверо несовершеннолетних сыновей (старшая дочь Полина (р. 1879) уже была замужем, а сын Александр (р. 1882) учился в Богородицком сельскохозяйственном училище). Ивану было девять лет, его младшему брату Петру пять.

Закончив в 1912 году с отличием Самарское среднее сельскохозяйственное училище, Иван поступил в Петровскую (ныне Тимирязевскую) сельскохозяйственную академию. В 1916 году, добровольно прервав учебу и пройдя шестимесячный ускоренный курс в Сергиевском артиллерийском училище в Одессе, отец ушел на фронт Первой мировой войны в чине прапорщика. Участвовал в Брусиловском прорыве, был контужен, но остался в строю. Осенью того же года к нему присоединился младший брат Петр, и дальше они воевали в одном дивизионе. Войну отец завершил в 1918 году подпоручиком и кавалером трех орденов Св. Анны (4 ст. с надписью «За храбрость», 3 ст. с мечами и бантом, 2 ст. с мечами) и ордена Св. Станислава 2 ст. с мечами. Был представлен к званию поручика и к Георгиевскому оружию, но получить ни того, ни другого не успел. (Успешно развалив тыл, захватившие в ноябре семнадцатого власть большевики навязали России Брестский мир и вышли из войны. А фронт в 1917 году стоял крепко). Вернувшись в Академию, Иван закончил ее в 1919 году.

Еще студентом отец начал научно-исследовательскую работу по почвоведению у академика В.Р. Вильямса, а по органической химии у профессора – впоследствии академика – Н.Я. Демьянова. Чтобы попасть в лабораторию к Демьянову, надо было выдержать своеобразный экзамен. Демьянов требовал, чтобы опыты с реактивами производились... во фряке, и посадившего на фряк пятно в ученики

не брал. Фрачной пары у отца, естественно, не было, и он взял ее напрокат. Экзамен он выдержал на «отлично».

Отец вообще отличался необыкновенной аккуратностью и пунктуальностью. Об этом можно судить по его бисерному, но абсолютно понятному почерку, по его изобилующим деталями акварелям, по тому как он рассчитывал время, чтобы никуда не опоздать, по составляемому им на текущий день списку дел, которые надо было сделать, по тому как он брился. Рано начав лысеть, он стал бриться наголо, но у него была настолько красивая форма головы, что это его не только не портило, но даже придавало ему определенный, никому более не присущий шарм...

Природа наделила его щедро и не одним талантом. Он мог стать музыкантом, художником, фотографом, столяром-краснодеревщиком. Он и был всеми ими: играл на виолончели и сам сделал скрипку; писал акварелью; фотографировал (в его коллекции была добрая дюжина фотоаппаратов разных поколений) и сконструировал увеличитель, который позволял работать как с узкой, так и с широкой пленкой; антикварную мебель в квартире ремонтировал сам, никому не доверяя. По приезду на дачу, сбросив костюм, бежал к верстаку. Да и стихи время от времени писал – с оговоркой, что если всерьез этим займется, то почвоведение сильно пострадает. А оно и было главной его страстью.

После окончания Академии он работает в двух казанских ВУЗах, организует кабинет и лабораторию почвоведения в Институте сельского хозяйства и лесоводства, создает кафедру почвоведения с музеем и лабораторией в Университете, параллельно ведет научно-исследовательскую работу, ездит в экспедиции по Татарии и Чувашии. В 1927 году принимает участие в 1-м Международном почвенном конгрессе в США (об этом путешествии сохранился детальный отцовский отчет в виде дневника и двух альбомов с фотографиями, которые я бережно храню), в 1929 году знакомится с работой почвенных институтов в Германии, Голландии и Англии.

В 1929 году, будучи в Англии, отец познакомился и подружился с шотландским почвоведом Вильямом Оггом, которому впоследствии был пожалован титул сэра. Они родились в один день (Огг годом раньше). Отец пробыл на ферме Огга более двух месяцев, а его дружба с сэром Вильямом (как мы его всегда называли в семье)

продолжалась до кончины отца. Переписка двух ученых то затухала, то возобновлялась в зависимости от внешних событий и внутренней обстановки в СССР. После смерти Сталина сэр Вильям приехал в Москву с визитом и обедал у нас. Мне было 5 лет. Когда приходили гости, родители всегда сажали меня за стол, чтобы приучать к этикету. А тут вообще уникальный случай представился, тем более, что я занималась английским языком и уже говорила на нем довольно сносно. Обычно я вела себя непринужденно, а тут почему-то оробела и за обедом не произнесла ни слова. Отец поглядывал на меня с укоризненной улыбкой, а сэр Вильям всячески старался меня ободрить. В конце концов я залезла под стол и, успокоившись, подала голос. Завязавшаяся между нами беседа завершилась хохотом всех присутствующих.

В 1964 году сэр Вильям приехал в Москву в последний раз. Естественно, был и у нас с мамой (в сопровождении «переводчицы»), а потом, избавившись от нее, пригласил нас в ресторан «Националь» на ланч, где мы могли пообщаться без ее «присмотра». В 1971 году он пригласил меня в гости в Шотландию. Я была студенткой 4-го курса МГУ и подспудно чувствовала неосуществимость этой затеи, но решила все-таки попытаться. Как ни странно, все инстанции (партком, местком и т. п.) в университете я прошла без труда и получила все необходимые бумаги. Дальше был ОВИР (все частные приглашения оформлялись там), и тут произошла осечка. Дело мое было принято, но потом все откладывалось и откладывалось. Как на грех, в это время из Великобритании были высланы 140 работников советского посольства и торгпредства, замешанные в шпионском скандале.

В Шотландию я не поехала.

С 1921 года рядом с отцом была его первая жена и преданная помощница, Елизавета Ивановна (урожденная Кулеш). Вместе они прожили 24 года, из Казани переехали в Ленинград, где отпраздновали выход «Курса почвоведения» и присуждение отцу в 1935 году степени доктора геолого-минералогических наук по разделу почвоведение, в декабре 1941 года были эвакуированы из блокадного города в Красноярск и вернулись в свою чудом уцелевшую и благодаря заботе своей «домоправительницы», бывшей монахини Варвары

Борисовны, неразоренную квартиру в Лесном в конце 1944 года. А в начале июня 1945 года Елизавета Ивановна ушла из жизни, не оставив потомства.

Спустя пару месяцев отец отправился в командировку на базу Академии наук на Кольском полуострове, где встретил свою вторую любовь, 27-летнюю сотрудницу базы, Галину Михайловну Савченко, которая в декабре стала его женой.

Их почтовый роман насчитывает 101 письмо. И почти на каждом стоит штамп: «просмотрено военной цензурой». Впрочем, молодых влюбленных это не особенно заботило, о своих чувствах они говорили прямо и открыто. Получив от Галюси долгожданное признание, Джонни отплясывал в парке польку, о чем тут же, в ответном письме ей и повествовал. Когда же Галюся начала по его настоянию готовиться в аспирантуру, он «для практики» писал ей по-немецки ...

После избрания отца членом-корреспондентом Академии наук СССР в декабре 1946 года, его все более настойчиво стали уговаривать занять пост директора Почвенного института. Возглавлявший в то время институт академик Леонид Иванович Прасолов начал сдавать и стремился передать свои обязанности «в испытанные и надежные руки». Отец, заведовавший двумя кафедрами почвоведения в Ленинграде – в Лесотехнической академии и в Университете – имевший свою лабораторию и преданных сотрудников, покидать Ленинград не хотел; кроме того, он понимал, что его переезд в Москву может оказаться «слишком дорогим» для Академии: ведь ему в этом случае полагалась квартира. Да и ряда сотрудников он лишиться не мог, а получить в Москве жилье и для них было почти невозможно.

Переписка с Прасоловым продолжалась до начала 1949 года, обе стороны стояли на своем и не сдавались. И тут, следом за прасоловским (от 2 января) пришло письмо от коллеги – академика Бориса Борисовича Полынова.

«Дорогой Иван Владимирович! Все мы (единогласно) обсудив положение в институте, пришли к заключению, что в это трудное время выручить нас и институт можете только Вы – если Вы согласны взять на себя руководство институтом. Ваше решение теперь

особенно необходимо, так как именно теперь легко решить вопрос и об квартире. Дорогой мой Иван Владимирович, ради Бога не отказывайтесь – это для нас единственный выход из тяжелого положения – поймите, что надо в полном смысле этого слова спасти науку от «Квислингов».

Под «Квислингами» подразумевались лысенковцы.

Отец пришел в Почвенный институт в 1930 году старшим почвоведом и с тех пор последовательно занимал на своем научном пути должности руководителя лабораторией биохимии почв, научного консультанта и заведующего почвенно-биологической лабораторией. В 1934 году, когда Институт вместе со всей Академией переехал из Ленинграда в Москву, отец, будучи в это время также заведующим кафедрой почвоведения в Лесотехнической академии, в столицу не переехался.

Возможно, переезд в Москву и неучастие в 3-м Международном почвенном конгрессе в Оксфорде (1935 г.) спасли отца от ареста в 1937 году, постигшего ряд сотрудников института, в том числе тогдашнего его директора Б.Б. Полынова, которого перед этим почти силой заставили согласиться на эту должность. А через два месяца, 11 мая 1937 года, он был арестован и провел в Лубянской тюрьме и «Крестах» без малого два года. Своей вины как «английского резидента» он не признал и был освобожден вместе с уцелевшими (многие были расстреляны) в процессе следствия почвоведом в конце марта 1939 года в так называемую «бериевскую оттепель».

Именно уговоры Бориса Борисовича в конце концов сломили трехлетнее сопротивление отца переехать в Москву и стать директором института. Обстановка в нем мало отличалась от времен десятилетней давности. Чтобы читателю было понятно, о чем идет речь, мне придется вернуться на пару лет назад.

В 1946 году Почвенный институт праздновал 100-летие основоположника школы почвоведения Василия Васильевича Докучаева. В следующем, 1947 году вышла в свет приуроченная к юбилею монография последователя Докучаева, доктора с.-х. наук, профессора А.А. Роде «Почвообразовательный процесс и эволюция почв». На этот фундаментальный труд приспешники малограмотного «народного» академика Т.Д. Лысенко, взявшие, по сути, еще в 30-е

годы курс на уничтожение биологической науки, не замедлили обрушиться.

19 марта 1948 года в газете «Социалистическое земледелие» была опубликована статья со знаковым заголовком: «Пора покончить с пропагандой реакционных течений в почвоведении». Роде не только обвинили в принижении роли «корифеев русского почвоведения и особенно выдающегося советского почвовед-академика-большевика В.Р. Вильямса», но (о, ужас!) «в рекламировании работ «Брэдфильда, Келлога и других иностранных, особенно американских ученых ...» Все обвинения не имели под собой ни малейшего основания, но старт был задан.

Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года уничтожила генетику и изрядно потрепала биологическую науку. Вместе с А.А. Роде к числу активных «вейсманистов-морганистов» были причислены и лишены права преподавания в вузах академик В.Н. Сукачев, профессор С.В. Зонн, профессор Д.А. Сабинин и другие. Заменявший на посту академика-секретаря Отделения биологических наук изгнанного Л.А. Орбели, пособник Т.Д. Лысенко А.И. Опарин, пользуясь своим влиянием в ЦК КПСС и президиуме АН, прибрал под свое «опекунство» и Почвенный институт.

Отец, избранный в 1946 году членом-корреспондентом АН и награжденный орденом, пользовался заслуженным уважением и, кроме того, славился своим дипломатическим талантом отстаивать истину в самых жестких условиях. Неудивительно, что выбор пал именно на него. И он отстоял – и институт, и в конечном счете – судьбу отечественного почвоведения.

В июне 1949 года постановлением Президиума Академии наук отец был назначен директором Почвенного института и вступил в должность 8 июля. До получения ордера на квартиру отец, по его шутивому высказыванию, два года жил в вагоне поезда «Красная стрела». Я родилась, когда он был в Москве.

(По жестокой иронии судьбы из этой квартиры 29 января 1949 года увели на смерть академика-биохимика Якуба Оскаровича Парнаса, арестованного по делу Еврейского антифашистского комитета).

Под руководством отца институт быстро «пошёл в гору». За десять лет количество сотрудников увеличилось вдвое, прибавились

лаборатории, одну из которых, почвенно-биологическую, возглавлял он сам, институт получил несколько опытных баз и само здание в результате надстройки значительно расширилось.

Здесь я еще раз вернусь к судьбе А.А. Роде, которого отцу удалось отстоять вместе с институтом. В 1950 году он направил Алексея Андреевича научным руководителем нового Джаныбекского стационара на границе России и Казахстана (Роде оставался им до своей кончины в 1979 г.), а в 1952 году поручил ему создать и возглавить в Почвенном институте единственную в стране лабораторию гидрологии почв.

К великому сожалению, другого блестящего ученого – физиолога растений Дмитрия Анатольевича Сабина отцу спасти не удалось. Он хотел взять его в свой институт, но на это требовалась санкция Опарина. Тот отказал. Спустя некоторое время Сабинин застрелился. Вслед за ним покончила с собой его талантливая ученица и подруга моей матери Ирина Рупчева.

С чем отцу пришлось иметь дело в Москве, лучше всего рассказывают записки моей матери, которые она делала «по свежим следам», намереваясь в будущем облечь их в книгу воспоминаний. Книги, к сожалению, не получилось, но даже на основании записок ясно вырисовывается обратная сторона «благополучной» жизни ученого.

«В 1947 или 48 г. была сессия АН в Ленинграде. В Кировском театре оперы и балета давали в нашу честь какой-то балет. В перерыве все прохаживались или стояли и смотрели на публику в большом зале – нарядном и красивом. Опарин со свитой обходил круг. Я с Ив. Вл. стояла в первом ряду. Кое-кому проходящий Опарин милостиво подавал руку. Ни мне, ни Ив. Вл. он руки не подал. После чего Ив. Вл. сказал: неужели ты думаешь, что с ним в Москве будет просто?! Просто не было. На заседаниях Лысенко цапался с Ив. Вл., нервная система которого разрушалась. Каждый вторник настроение было испорчено».

«Ив. Вл.-чу предложили заняться знатным полеводом из Курганской области Терентием Мальцевым. Однажды Мальцев приехал в Почвенный институт, где надо было его встретить, принять и выслушать. Народу собралось много. Был корреспондент какой-то газеты. Я поехала на эту встречу с большим интересом. Любопыт-

но было послушать знаменитого полевода и посмотреть, как Ив. Вл. справится с такой нелегкой задачей. «Зачем ты едешь?» – спросил Ив. Вл. – «А где же еще я увижу такой спектакль?» – вопросом на вопрос ответила я.

Ив. Вл. рассказал собравшимся о знатном полеводе, потом попросил аудиторию похлопать знатному полеводу, а потом дал ему слово. Зрелище было жалкое. Нескладный Мальцев с большими грехами на душе (в 1937 г. отправил на тот свет наилучших агрономов Курганской опытной станции), стоя на сцене, размахивал руками, широко разводя их в стороны, и говорил, что о почвоведении услышал впервые только тогда, когда попал в кремлевскую больницу и там кто-то принес ему старинную книгу о почве. Остальное повторять стыдно. Сейчас он в почете. Его часто показывают по телевизору. Смотреть на него неприятно. Он весь ежится, корчится, извивается, точно на страшном Суде».

В 1952 году две монографии отца были выдвинуты Ученым советом Почвенного института на соискание Золотой медали им. В.В. Докучаева, присуждаемой Президиумом АН СССР. «Набитый подлость» профессор С.С. Соболев направил президенту Академии А.Н. Несмеянову заявление, присовокупив к нему так называемое «Постановление собрания профессоров, преподавателей и студентов лесохозяйственного факультета Московского лесотехнического института по вопросу о влиянии леса на плодородие почв». В «Постановлении» обосновывалось «реакционное» содержание учебника «Курс почвоведения» И.В. Тюрина. Это был гнусный пасквиль. Учебник предлагалось изъять из студенческих библиотек.

Вот что вспоминал коллега и соратник отца, профессор С.В. Зонн: «В тяжелое время лысенковской экспансии и инсинуаций в биологических науках почвоведение попало в орбиту нападок на лучших представителей докучаевского почвоведения, в том числе и на И.В. Тюрина. Будучи директором Почвенного института, он всячески стремился сохранить его творческий коллектив, умело нейтрализовывал страшный по своим последствиям разгром почвоведов и достиг успеха. Он локализовал подрывную деятельность С.С. Соболева, возглавлявшего кампанию по дискредитации научной деятельности антилысенковцев, в том числе и самого И.В. Тюрина.

Все это не могло не отразиться на его творчестве и, в частности, на переиздании учебника. Я как один из живых и пострадавших участников этой эпопеи с радостью могу все же сообщить, что учебник И.В. Тюрина не был изъят и Золотая медаль им. В.В. Докучаева была ему присуждена единодушно, правда, спустя семь лет – в 1960 г.».

Учебник считается классическим до сих пор.

В 1953 году отца избрали академиком АН СССР, в 1956 – Польской Академии, а в 1957 году – АН ГДР. Он много ездил и по стране, и за рубеж. В 1956 году возглавлял советскую делегацию на 6-м Международном почвенном конгрессе во Франции, а в 1960 году – на 7-м в США. Он был известен и уважаем в мировом научном сообществе. Во время визита в Индию отец вместе с академиком-астрофизиком В.А. Амбарцумяном был приглашен на завтрак к премьер-министру страны Джавахарлалу Неру. Третьим гостем был принц Филипп, супруг английской королевы Елизаветы II ...

Кто мог тогда подумать, что вскоре после этого его любимый институт передадут из Большой Академии в Министерство сельского хозяйства (ВАСХНИЛ). По меткому замечанию академика В.А. Энгельгардта, у Отделения биологических наук отрезали ноги и заставили танцевать в беспочвенной обстановке.

Партийное руководство и правительство СССР при Хрущеве приняли постановление, в соответствии с которым из Академии наук были переданы в различные отраслевые министерства и ведомства 92 учреждения. Это составило почти половину всех научных учреждений АН СССР и одну треть численного состава ее сотрудников. Было полностью ликвидировано Отделение технических наук. На Академию возлагалось руководство теоретическими исследованиями в области естественных и общественных наук в стране, и в то же время АН освобождалась от отраслевой научно-технической тематики. Почвоведение выпало из разряда фундаментальных наук о Земле, а Почвенный институт был причислен к категории «отраслевых» и оказался в числе жертвенных ягнят.

Возглавлявший в то время Академию и защищавший ее незблемость академик-биолог А.Н. Несмеянов вынужден был уйти в отставку. На смену ему пришел математик М.В. Келдыш ...

Из записок моей матери:

«Александр Николаевич Несмеянов симпатизировал Ив. Вл-чу. В роковую пятницу 1961 года, когда были подписаны бумаги о передаче Почвенного института в Министерство с.х., Ив. Вл. вернулся из больницы и, сняв пальто, немедленно позвонил Несмеянову. Александр Николаевич взял трубку и поведал И.В., что он находится в кабинете Президента (М.В. Келдыша) последние 15 минут и что помочь Ивану Владимировичу ничем не может. Ив. Вл. поблагодарил его за то внимание, которое Несмеянов всегда оказывал ему и его делу. После разговора Ив. Вл все ходил из гостиной через столовую в кабинет и обратно, мы как мышата каждый в своей норе сидели тихонько. Наконец Ив. Вл. сказал: «Какая разница, где работать...»

Академику М.В. Келдышу, судя по всему, судьба отечественного почвоведения была глубоко безразлична. Замечательный институт, жемчужина (по словам академика С.И. Вольфковича) был обречен на деградацию.

Этот удар подкосил отца, но не сломил, и институт он не оставил, несмотря на предложение академика Н.Н. Семенова (бывшего в ту пору академиком-секретарем Отделения химических наук) «забрать почвенно-биологическую лабораторию» и перейти к нему под крыло в Институт химической физики. Вместо заманчивой возможности сбросить с себя тяжкую ношу директорства и заняться «чистой наукой», он в очередной раз посвятил себя спасению института.

В 1961 году, когда Почвенный институт был особенно известен и у себя на родине, и за рубежом, вице-президенту Академии наук, академику А.В. Топчиеву (который был нашим соседом по дому и симпатизировал отцу) очень хотелось устроить аудиенцию Ивана Владимировича с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Отец размышлял несколько дней и отказался от такой «чести». Судя по всему, больше дорожил своей собственной.

Десятью годами ранее отец точно так же не почел за «честь» пополнить ряды КПСС. С присущим ему чувством юмора он (будучи невысокого роста) тактично отказался: «прошу прощения, не до-рос», чем обеспечил себе относительную независимость и избавил

себя от необходимости сжигать драгоценное время на партийных собраниях.

Весной 1962 года отец начал готовиться к поездке в Новую Зеландию. Но осуществиться этому уже дано не было. Неправильно поставленный диагноз и вытекающее из него «лечение» спровоцировали стремительное развитие настоящей болезни¹. На рассвете 12 июля он скончался.

В конце июля на заседании Всесоюзного общества почвоведов был утвержден список мероприятий по увековечиванию его памяти, в связи с чем в Совет министров было направлено соответствующее ходатайство. Там было четыре пункта: издать труды, присвоить имя И.В. Тюрина основанной им кафедре почвоведения в Казанском университете, соорудить памятник на могиле за счет государства и установить мемориальную доску на здании Института. Первое (через тернии) и третье удалось пробить практически сразу. Доску – спустя полвека – установили 5 декабря 2012 г. В этот же день состоялись и первые в истории Института Тюринские чтения, приуроченные к 120-летию со дня рождения ученого. Казанская кафедра до сей поры остается безымянной. Да и что можно ожидать от нынешних руководителей Университета, если даже мемориальный зал Н.Н. Лобачевского был ими уничтожен ради нового зала заседаний ...

Посмертному изданию трудов отца и отечественная, и мировая наука обязана его вдове и моей матери, Галине Михайловне Тюриной. Преодолев мышиную возню, затеянную его недругами и даже некоторыми недавними сподвижниками, которые всячески этому препятствовали, она проделала поистине титаническую работу, собственноручно собрав и отредактировав все тексты. Подключила она к этой работе и меня. Приобретенный редакторский опыт позднее очень мне пригодился.

Почему академик Е. Н Мишустин, член редакционно-издательского совета АН и талантливый ученый, автор многократно переизданного учебника по микробиологии и впоследствии Герой Социалистического Труда, всячески препятствовал посмертному изданию отцовского научного наследия и особенно последнему сборнику статей, объясняет очередная записка матери:

«Я обратилась к В.В. Егорову² за помощью при издании книги «Баланс азота в дерново-подзолистых почвах», включенной в план изданий Института. На это последовал откровенный ответ: «Я портить отношения с Мишустиним из-за Ив. Вл. не буду». Владимир Константинович Михновский, исполнявший после смерти Ив. Вл. обязанность заведующего лабораторией, отправил к Мишустину сотрудницу лаборатории для выяснения ситуации. Тот цинично заявил: «Пока моя работа не выйдет из печати, этой работе (Баланс азота...) света не видать». Тем не менее, работа эта (сборник статей сотрудников лаборатории Ив. Вл.) вышла в свет раньше книги Мишустина, наделала много шума».

О постыдной роли еще одной «соратницы» отца М.М. Кононовой в увековечивании памяти своего учителя свидетельствует следующая запись:

«Румынский почвовед Константин Дмитриевич Кирица общался в Почвенном институте с Ив. Вл., Алексеем Андреевичем Роде, М.М. Кононовой. Когда в Румынии по советским методам, а м.б. и указаниям начали на склонах гор рубить леса, К.Д. вместе с коллегами написал бумагу с разъяснением, почему этого делать нельзя. Он отсидел 14 месяцев в одиночной камере, а потом был награжден высшим орденом республики. Ив. Вл. написал ему дружеское письмо. Кирица долго потом твердил, что такое не забывается. В свой приезд в Москву летом 1963 г. Константин Дмитриевич обращался к М.М. Кононовой с просьбой принять участие в сотрудничестве по переводу работ Ив. Вл. на английский язык. Ответа он не получил, был удивлен и озадачен и все задавал вслух вопрос: «В чем же дело?»

А дело было в том, что Кононова в это время организовывала перевод на английский и другие языки своих собственных трудов. «Конкуренция» с учителем ей была не нужна. По меткому замечанию моей матери, Кононова была многоликой: совесть для дома, сотрудников, общества, партии и т.д.

На этой грустной ноте заканчивать свое повествование мне бы не хотелось, и поэтому я сделаю маленькое лирическое отступление.

Отец любил своих братьев, особенно меньшего – Петра, ставшего ихтиологом (в шутку называл его рыбоведом) и старшего – Александра, известного лесоведа, с которым его связывали и на-

учные интересы. Предметом дипломной работы отца было «Исследование почв в Брянском опытном лесничестве», которым в 1910-е годы заведовал Александр. Основным материалом был собран им в лесничестве в 1915 году, когда он был приглашен туда в качестве практиканта. Забавно, что отец заведовал кафедрой в Лесотехнической академии – бывшем Лесном институте, который Александр Владимирович закончил в 1909 году и впоследствии от предложенной ему там другой кафедры отказался. В 1943-44 гг. братья вместе работали во Всесоюзном институте лесного хозяйства в г. Пушкино и даже жили в одном доме. Наши семейные сборы у «дяди Саши и тети Кати» всегда были праздником. Александр Владимирович Тюрин пережил младшего брата на 17 лет.

Научная библиотека отца, насчитывавшая более 2000 книг,полнила фонд Сибирского отделения Академии наук. Переписка с отечественными и зарубежными коллегами перекочевала в Архив Академии. В 2004 году, разобрав остатки его архива, я передала большую часть его акварелей, фотографий и рукописей в Центральный музей почвоведения в Санкт-Петербурге, где в 2010 г. была устроена выставка его памяти.

В октябре 2013 г. в Казани состоялась международная конференция «Наследие И.В. Тюрина в современных исследованиях в почвоведении».

В ноябре этого года Почвенный институт будет отмечать 125-летие И.В. Тюрина.

Библиография И.В. Тюрина насчитывает более 250 названий, его вклад в мировую науку наиболее полно освещен его коллегами в 10-м номере журнала «Почвоведение» за 1992 год (к 100-летию со дня его рождения) и освещается по сей день.

Отец никогда не был игроком на ярмарке тщеславия. Он был человеком дела. И то, что его дело живо и делается до сих пор, лучшая награда его памяти.

Марина Тюрина-Оберландер – поэт, прозаик и переводчик.

Член Союза писателей XXI века. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвовед, академика И.В. Тюрина. По образованию филолог-скандинавист. С 2000 года живет в Вашингтоне.

Переводы печатались в «Литературной газете», журналах «Иностранная литература» и других, альманахе «Поэзия», антологиях «Современная датская поэзия», «Современная норвежская поэзия». Книги «На остром рубеже пространства» (Водолей Publishers, 2008 г.), «Музыка слов» (Водолей, 2013 г.).

В 2014 г. на стихи Тюриной-Оберландер вышел альбом романсов и песен «Когда врывается любовь», музыку к которым написал композитор Виктор Агранович.

Она – член редсовета журнала «Времена».

Сильвестров оттолкнул меня.

– Хлам! Рухлядь! – он взмахнул руками, картинно, как актёр в греческой трагедии.

– Муляж! Стал бы я мультяшные взрывы мастерить, если б у меня была хоть одна настоящая ракета! Хоть одна!

Он сорвал со стены дисплей, выдрал провода и начал, как доской, колотить им по столам. Крушил компьютеры, экраны, стекло и пластик летело брызгами.

– Да – злодей! Тиран! Нерон! Сжечь весь мир – да! Лучшего он не заслуживает!

Валерий Бочков

Журналист республиканской газеты «Советская Молдавия» М. Коган очень красочно описал этот эпизод. Из его рассказа выходило, что той девочкой шести-семи лет оказалась та самая беременная женщина, которая годы спустя пришла резать птицу и узнала в Шмуэле-шойхете молодого полица, стрелявшего в ее собаку. Его голубые глаза, как два кусочка льда, вмерзли в ее сердце так, что не забудешь.

Борис Сандлер

Между тем мой друг-философ, бывший диссидент, публиковавший в Сам- и Тамиздате труды, за которые мог получить до пяти лет лагерей, сегодня из своего безопасного западного далека призывает своих российских коллег уняться, не раскачивать лодку, обуздать свою патологическую страсть ниспровержения и посочувствовать пахану-капитану, взвалившему на себя труднейшую и неблагодарнейшую роль арбитра между трюмом и верхней палубой.

Владимир Фрумкин

Епископ Лука, он же знаменитый хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий рассказывает, как после проповеди к нему обратилась пожилая прихожанка с вопросом: «Так если дева Мария была еврейка, стало быть и Иисус был еврей?» Видимо, ее мучили сомнения: как же так, распятый евреями Христос – сам еврей. Как это может быть?

Подивившись такому невежеству, епископ развеял сомнения своего простодушного духовного чада.

Михаил Румер-Зараев

Был ход вещей уже разгадан.
Народ молчал и предвкушал.
Великий вождь дышал на ладан,
Хотя и медленно дышал.

Но власть идей была упряма
И понимал уже народ,
Что ладан вместо фимиама
Есть, несомненно, шаг вперед.

Д. Аминадо

